АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА—1976

СОДЕРЖАНИЕ

В. З. Панфилов (Москва). Категории мышления и языка. Становление и развитие категории качества 3

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

А. С. Мельничук (Киев). Философские корни глоссематики 19
Ж. Ж. Варбот (Москва). Вариантность суффиксальной структуры в однокоренных славянских именах и реконструкция праславянского лексического фонда 33
В. В. Акуленко (Харьков). Лексические интернационализмы и методы их изучения 50

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

М. Н. Боголюбов (Ленинград). Арамейская надпись из Таксилы . . . 64
Х. Шустер-Шевц (Лейпциг). Язык лужицких сербов и его место в семье славянских языков 70
В. М. Алпатов (Москва). О соотношении исконных и заимствованных элементов в системе японского языка 87
З. Г. Абдуллаев (Махачкала). Соотношение категориальных свойств даргинского глагола 96
Б. Б. Талибов (Махачкала). Редукция согласных в лезгинских языках 106

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

І. А. Меновщиков (Ленинград). *J. Rischel.* Topics in West Greenlandic phonology 117
Д. И. Эдельман (Москва). *H. Berger.* Das Yasin-Burushaski (Werchikwar) 122
Я. Г. Сулейманов (Махачкала). *К. З. Чокаев.* Морфология чеченского языка 125
М. А. Кумахов (Москва). «Адыгейско-русский словарь» 129

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки 133
Указатель статей, опубликованных в журнале «Вопросы языкознания» в 1976 г. 138

© Издательство «Наука»,
«Вопросы языкознания», 1976 г.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1976

В. З. ПАНФИЛОВ

КАТЕГОРИИ МЫШЛЕНИЯ И ЯЗЫКА. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА

Под категориями мышления, или логическими категориями, имеются в виду «*наиболее общие, основные понятия и существенные определения объекта познания; они выражают универсальные, высшие формы обобщения бытия и познания*» [1]. К числу логических категорий относятся категории материи; качества, количества и меры; пространства и времени; сущности и явления; формы и содержания; причины и действия, необходимости и случайности; всеобщности, особенности и единичности; абстрактного и конкретного; логического и исторического; системы и структуры и некот. др. По определению В. И. Ленина, категории мышления представляют собой «ступеньки выделения, т. е. познания мира, узловые пункты в сети, помогающие познавать ее (природу.— *В. П.*) и овладевать ею» [2].

Вся познавательная деятельность человека, направленная на объективную действительность, так же как и ее результаты, осуществляется в форме логических категорий. Логические категории, будучи отражением основных закономерностей объективной действительности, обнаруживают тесную взаимосвязь друг с другом, что является отражением взаимосвязи всех явлений объективной действительности. Степень взаимосвязанности этих категорий различна, в связи с чем логические категории группируются в «гнезда», в которые объединяются наиболее тесно связанные друг с другом категории. Такие «гнезда», например, образуют категории: вещь — свойство — отношение [3]; качество — количество — мера; пространство — время и др.

В частности, говоря об отношении категории качества и количества, Ф. Энгельс отмечал, что «... количество и качество соответствуют... друг другу взаимно и обоюдосторонне» [4].

Исследование истории развития человеческого познания и, в частности, категорий мышления представляет собой одну из важнейших задач марксистско-ленинской философии, ее теории познания и диалектики. «История мысли с точки зрения развития и применения общих понятий и категорий логики — voilà ce qu'il faut! (вот, что нужно!)» [5]. При этом В. И. Ленин указывал, что история языка, а также история отдельных наук, умственного развития ребенка и животных составляют те области, «из коих должна сложиться теория познания и диалектика» [6].

И исторически, т. е. с точки зрения последовательности их становления и развития, и логически, т. е. с точки зрения последовательности

---

[1] См.: А. Г. Спиркин, Происхождение сознания, М., 1960, стр. 329.
[2] См.: В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 29, стр. 85.
[3] См.: В. З. Панфилов, Роль естественных языков в отражении действительности и проблема языкового знака, ВЯ, 1975, 3.
[4] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 20, стр. 385.
[5] В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 29, стр. 159.
[6] Там же, стр. 314.

их применения в процессе познания современного человека, между категориями мышления существует определенная зависимость. Так, В. И. Ленин писал: «Сначала *мелькают* впечатления, затем выделяется *нечто*,— потом развиваются понятия *качества* # (определения вещи или явления) и *количества*. Затем изучение и размышление направляют мысль к познанию тождества — различия — основы — сущности versus явления,— причинности etc. Все эти моменты (шаги, ступени, процессы) познания направляются от субъекта к объекту, проверяясь практикой и приходя через эту проверку к истине (= абсолютной идее)»[7].

Иначе говоря, категория качества, предшествуя категории количества по началу своего формирования в процессе исторического развития мышления человека, вместе с тем выступает и как начальный этап познавательной деятельности человека, направленной на какой-либо предмет или явление объективной действительности. В самом деле, познание может быть направлено на количественную определенность каких-либо объектов только после того, как они выделены из окружающей действительности как качественно определенные. В процессе установления количественной определенности этих объектов мышление на определенных этапах своего развития[8] приобретает способность отвлекаться от их качественной определенности, рассматривая их как качественно однородные объекты. Однако предварительным условием выделения их как объектов, подлежащих определению с количественной стороны, является их выделение как отдельных предметов, имеющих свои границы, а это возможно только при условии установления их качественной определенности.

Из существующих определений категории качества представляется наиболее адекватным следующее: «Качество — это определенность объекта, составляющая внутреннее основание всех его изменений. Качество есть то, благодаря чему предмет на протяжении какого-то времени является тождественным самому себе предметом, в той или иной степени отличным от других предметов и с коренным изменением чего он перестает быть таковым — становится другим предметом»[9]. В приведенном определении фиксируются две существенные черты качественной определенности: 1) будучи качественно определенным, один предмет отличается от других предметов, благодаря чему предметы отграничиваются друг от друга и между ними существует отношение различия; 2) будучи качественно определенным, тот или иной предмет сохраняет тождество с самим собой и при некоторых претерпеваемых им изменениях; различие предмета на различных этапах его развития фиксируется в познании только благодаря тому, что на каждом из них он является качественно определенным. Понимаемая таким образом качественная определенность предмета составляет онтологическое основание формально-логического закона тождества[10].

Дискуссионным продолжает оставаться вопрос о соотношении категорий *качество* и *свойство*. При всем этом не вызывает, однако, сомнения тот факт, что познание качественной определенности предмета совершa-

---

[7] Там же, стр. 301.

[8] См.: В. З. Панфилов, Категории мышления и языка. Становление и развитие категории количества в языке, ВЯ, 1971, 5.

[9] См.: А. Г. Спиркин, указ. соч., стр. 340.

[10] См.: В. З. Панфилов, Взаимоотношение языка и мышления, М., 1971, стр. 86—87. Тесная связь существует и между другими категориями мышления, с одной стороны, и логическими формами и законами мышления, с другой. Она была выявлена прежде всего в трудах Канта и Гегеля, а затем и в последующей философской традиции. См.: В. Н. Борисов, Уровни логического процесса и основные направления их исследования, Новосибирск, 1967, стр. 174—181.

ется лишь в процессе выявления отношений данного предмета к другим предметам окружающей человека действительности и что исторически человек постигал то или иное качество посредством сравнения одного предмета с другим, о чем, в частности, убедительно свидетельствуют языковые данные об историческом развитии названий конкретных качеств.

*

Качественная характеристика предмета или действия, или состояния в той или иной форме получает выражение во всех языках. Во многих языках качественные признаки предметов выражаются посредством значительного слоя лексики, составляющего особый грамматический разряд слов — часть речи прилагательное, а качественные признаки действия или состояния — посредством особого лексико-грамматического разряда другой части речи — наречий, а именно, качественных наречий. Типичными представителями такого рода языков являются, например, индоевропейские языки. Прилагательные и качественные наречия выделяются также и в других генетических группировках языков — в тюркских, тунгусо-маньчжурских, финно-угорских, некоторых палеоазиатских и др. Однако по своему составу, по своим грамматическим свойствам и тому месту, которое они занимают в системе частей речи, эти грамматические разряды слов в различных языках не представляют собой чего-то однородного. Так, например, в русском языке часть речи прилагательное составляют: 1) качественные прилагательные, обозначающие качество предмета, могущее проявляться с различной степенью интенсивности (типа *желтый*, *высокий* и т. п.); 2) относительные (включая притяжательные) прилагательные, обозначающие свойства предмета через его отношение к другому предмету или действию (ср.: *медный*, *деревянный*; *волчий*, *отцов*; *висячий*, *отопительный*). С некоторыми изменениями та же картина наблюдается и во многих других индоевропейских языках. В отличие от этого в тюркских языках лексико-грамматический разряд относительных прилагательных не получил сколько-нибудь значительного развития: в этих языках совсем нет притяжательных прилагательных и есть лишь небольшое количество относительных прилагательных. Вместо этого свойство предмета по принадлежности и в большинстве случаев его свойство по отношению к другому предмету в тюркских языках выражается существительным, выступающим в функции определения к другому существительному в так называемой изафетной конструкции типа башк. *тимер юл* «железная дорога», букв. «железо дорога» [11].

Иной в сравниваемых языках оказывается и грамматическая характеристика общих для них качественных прилагательных. Если в русском языке качественные (как и относительные) прилагательные в порядке согласовательной функции с определяемым существительным получают грамматические показатели рода, числа и падежа, то в тюркских языках качественные прилагательные, сочетаясь с определяемыми ими существительными по способу примыкания (а не согласования, как в русском языке), не получают показателей падежа и числа, которые свойственны существительному как части речи. Вместе с тем в тюркских языках оказываются более сильно развитыми, чем в русском языке, те формы качественных прилагательных, которые выражают количественную характеристику интенсивности выражаемых ими признаков. Если в русском языке различаются формы трех степеней сравнения — положительная, сравнительная и превосходная, то в тюркских языках наряду с ними

[11] См.: Ф. Т. Исхаков, Имя прилагательное. Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков, ч. 2 — Морфология, М., 1956, стр. 155—156; Н. К. Дмитриев, Грамматика башкирского языка, М.— Л., 1948, стр. 79—80.

существуют формы интенсива, которые «выражают наличие усиленного свойства или качества в том или ином предмете, без сравнения данного предмета с другим, имеющим то же самое качество и свойство» [12]. Характерно при этом, что одним из способов выражения интенсивности качества, т. е. наличия его в большой мере, является удвоение прилагательного, что находит аналогии в использовании способа удвоения существительных для выражения множественного числа.

При всех возможных различиях прилагательных и существительных в таких языках, как индоевропейские, тюркские и др., прилагательное в этих языках обнаруживает близость к существительному и другим именным частям речи, а не к глаголу. Однако во многих других языках слова со значением качества занимают совсем иное положение в системе частей речи, чем в указанных языках. В ряде языков Юго-Восточной Азии слова, обозначающие качественные признаки, по своим грамматическим свойствам тяготеют не к именам, а к глаголам. В индонезийском языке специалистами среди полнозначных слов выделяются существительные и предикативы, а последние состоят из трех подклассов: переходные глаголы, непереходные глаголы и прилагательные. При этом между существительными и предикативами устанавливается различие по их синтаксической функции и сочетаемости с отрицательным и служебными словами, а также по их лексическому значению [13].

На типологически аналогичных основаниях в кхмерском языке выделяются те же два больших класса знаменательных слов — имена и предикативы. Последние в свою очередь подразделяются на глаголы, модальные глаголы, качественные глаголы и прилагательные. При этом, поскольку прилагательные в отличие от остальных разрядов предикативов характеризуются как отсутствием некоторых собственно глагольных грамматических значений (завершенного вида, будущего времени), а также некоторых форм и конструкций (инфинитива, пассивной конструкции), так и своими специфическими чертами (они могут в отличие от глаголов удваиваться), они рассматриваются внутри этого класса как особая часть речи [14]. На субстантивы и предикативы подразделяются неслужебные слова в языке чжуан. В последние наряду с глаголами и местопредикативами также включаются прилагательные [15].

Бо́льшую близость к глаголу, а не к имени обнаруживают слова со значением качества также в таких языках, как японский, китайский, корейский, тайский, вьетнамский и качинский. Специалисты по этим языкам или включают слова с качественными значениями в состав глагола как части речи, или, выделяя их в отдельную часть речи прилагательное, объединяют их с глаголами в более широкий класс знаменательных слов-предикативов [16].

[12] Ф. Т. Исхаков, указ. соч., стр. 165.

[13] См.: Н. Ф. Алиева, В. Д. Аракин, А. К. Оглоблин, Ю. Х. Сирк, Грамматика индонезийского языка, М., 1972, стр. 108—109.

[14] См.: Ю. А. Горгониев, Грамматика кхмерского языка, М., 1966, стр. 111—113.

[15] См.: А. А. Москалев, Грамматика языка чжуан, М., 1971, стр. 102—107.

[16] См.: М. Киэда, Грамматика японского языка, I, М., 1958, стр. 60—72, 129—132, 235—267 (такого рода решение этого вопроса дается уже в японских грамматиках XVIII в.); А. А. Драгунов, Исследования по грамматике современного китайского языка, М.— Л., 1952, стр. 10—11, 159—160; Ю. Н. Мазур, Корейский язык, М., 1960, стр. 60—61; Ф. В. Мальков, Сходство и различия предикативных прилагательных и глаголов в корейском языке, сб. «Корейский язык», М., 1961, стр. 149—181; Л. Н. Морев, Об объеме категории глагола в тайском языке, сб. «Языки Китая и Юго-Восточной Азии», М., 1963, стр. 34—42; Н. В. Станкевич, О границах категории прилагательного во вьетнамском языке, «Уч. зап. ЛГУ», 305 — Языки народов Востока, 12, 1961, стр. 43—49; Е. В. Пузицкий, Качинский язык, М., 1968, стр. 82—83.

Если в большинстве из указанных языков, характеризующихся незначительным развитием синтетических средств, слова с качественным значением сближаются с глаголами прежде всего на основе общности синтаксической роли (самостоятельное функционирование в качестве предиката без участия связки) и сочетаемостных свойств, то в нивхском языке, в котором синтетические средства выражения грамматических значений весьма развиты, слова, соответствующие русским качественным прилагательным, сближаются с глаголами по своим морфологическим категориям, что и дало основание рассматривать их не как особую часть речи, а как один из лексико-грамматических разрядов глаголов — качественные глаголы [17]. Так, в нивхском языке качественные глаголы, как и собственно глаголы (некачественные глаголы), характеризуются такими глагольными категориями, как залог, вид, время, наклонение, и имеют ту же самую систему форм (финитные, причастную, деепричастные и инфинитивную). Общими у качественных и некачественных глаголов являются также формы выражения количественной модификации действия и выделительная форма. Вместе с тем внутри глагола как части речи качественные глаголы выделяются в особый лексико-грамматический разряд, так как характеризующие их глагольные категории и формы имеют некоторые специфические черты по сравнению с таковыми же у некачественных глаголов в том, что касается соответствующих грамматических значений и способов их выражения [18]. В частности, некоторым глагольным категориям качественных глаголов свойственна своего рода «дефективность», выражающаяся в том, что некоторые частные значения этих грамматических категорий и некоторые способы их выражения возможны только у некачественных глаголов — это касается категорий наклонения и вида [19]. Некоторые отличия между качественными и некачественными глаголами отмечаются также и в области словообразования. При наличии указанных различий между этими двумя лексико-грамматическими группировками глаголов в области морфологии общими для них являются общеграмматическое значение действия и синтаксические функции. Итак, нивхские слова, обозначающие качественные признаки и соответствующие русским качественным прилагательным типа *красный*, *большой*, *длинный* и т. п., будучи глаголами, обозначают качественные признаки как действия, как процесс, протекающий во времени. Иначе говоря, в нивхском языке слова типа *паолад'*, *пилд'*, *кылд'* и т. п. соответственно означают «быть красным», «быть большим», «быть длинным» и т. п. Такого же рода глаголы, обозначающие качественные признаки, обнаруживаются и в некоторых других языках народов СССР. Так, например, в одном из самодийских языков — ненецком — выделяются следующие глаголы: *няръя(сь)* «быть красным», *париде(сь)* «быть черным», *нгамняла(сь)* «быть вкусным», *мебець* «быть могучим», *ныхыць* «быть сильным», *сядоць* «быть красивым», *мерець* «быть быстрым» и т. п. [20]. Mutatis mutandis это же может быть сказано и о значениях соответствующего разряда слов в тех языках Юго-Восточной Азии, в которых они также в той или иной степени больше тяготеют к словам, обозначающим действия, чем к словам, именующим предметы.

---

[17] См.: В. З. Панфилов, Грамматика нивхского языка, ч. 2, М.— Л., 1965, стр. 11.

[18] Там же, стр. 11, 64—89.

[19] См.: Г. А. Отаина, Слова со значением качества в нивхском языке, ВЯ, 1976, 3, стр. 112—116.

[20] См.: Н. М. Терещенко, Материалы и исследования по языку ненцев. М.— Л., 1956, стр. 174—175.

Таким образом, в современных языках слова, обозначающие качественные признаки предметов, в системе частей речи занимают различное положение: в одних языках (индоевропейские, тюркские и др.) они характеризуются именными чертами, в других языках (многие языки Юго-Восточной Азии, нивхский и др.) по своим грамматическим свойствам они тяготеют не к имени, а к глаголу. Степень их близости к имени или глаголу в указанных языках оказывается также различной (ср., с одной стороны индоевропейские и тюркские языки, а с другой стороны, нивхский язык и те языки Юго-Восточной Азии, в которых прилагательные и глаголы объединяются в более широкий разряд предикативов). Это позволяет говорить о наличии двух основных тенденций в развитии слов с качественным значением: в одном случае они сближаются со словами, обозначающими предметы, в другом — со словами, именующими действия. Очевидно, что возможность развития этого разряда слов в том или другом направлении коренится в самой природе их лексических значений. Л. П. Якубинский, основываясь на исследовании истории развития этого разряда слов в древнерусском языке, отметил эту двойственную природу слов, обозначающих качественные признаки. Он писал: «Качественные прилагательные обозначают такой признак или свойство предмета, который можно условно назвать подвижным признаком или свойством, в том смысле, что признак или свойство, обозначаемое качественными прилагательными, может содержаться в предмете в большей или меньшей степени, может возникать в нем или исчезать в известной постепенности; в связи с этим именно стоит наличие степеней сравнения у качественных прилагательных (относительные их не имеют), а также соотнесенность их с глаголами; ср. *красный — краснее, краснеть*; *белый — белее, белеть*; *добрый — добрее, добреть* и т. п. ; при относительных прилагательных соотнесения с глаголами нет; глаголы вроде *каменеть, деревенеть* стоят при прилагательных относительных, употребляемых в значении качественных. . . . В связи с этим следует особенно подчеркнуть соотнесенность качественных прилагательных с категорией времени: *стол (есть) красный* — это подлинное н а с т о я щ е е в р е м я, так как рядом с ним может стоять п р о ш е д ш е е — с т о л *был красным*. . . (но полинял, постепенно потерял свой признак красноты) и б у д у щ е е — *стол будет красным* (когда я его покрашу)» [21]. И далее: «Качественное прилагательное бесспорно связано многими нитями с предикатом-сказуемым и одной из его категорий — к а т е г о р и е й в р е м е н и; с предикатом связывают качественные прилагательные признаки, связывающие его с глаголом, этим предикатом по преимуществу, типичным для славянских языков предикатом» [22].

Эта близость слов, обозначающих качественные признаки и действия (или состояния), наглядно проявляется, в частности, в том, что в нивхском языке есть немало таких глаголов, которые обозначают и качество, и соответствующее действие, а также качество и состояние. Так, например, в нивхском языке к первой группе глаголов относятся: *qанад'* «быть белым» и «побелеть»; *кэтрад'* «быть веселым» и «веселиться»; *полмд'* «быть слепым» и «ослепнуть»; *умд'* «быть злым» и «злиться, сердиться»; *q'орд'* «быть богатым» и «разбогатеть»; *нуγид'* «быть первым» и «опережать; идти впереди»; *чолад'* «быть бедным» и «обеднеть»; *hыймд'* «быть старым» и «постареть»; *т'эзд'* «быть слабым» и «ослабнуть»; *чомсомуд'* «быть молчаливым» и «молчать» и целый ряд других.

---

[21] Л. П. Я к у б и н с к и й, История древнерусского языка, М., 1953, стр. 218.
[22] Там же, стр. 219.

Ко второй группе глаголов относятся: *вуквукуд'* «быть темным» и «темно»; *куγыд'* «быть просторным» и «просторно»; *отайд'* «быть тесным» и «тесно»; *тыкт'* «быть теплым» и «тепло»; *т'ыд'* «быть далеким» и «далеко»; *ћон'оɥад'* «быть просторным» и «просторно»; *лэоɥд'* «быть скользким» и «скользко» и некот. др.

Наконец, есть группа глаголов, которые совмещают лексические значения качества, действия и состояния, например: *к'унуд'* означает «быть светлым», «рассветать», «светиться», «светло»; *ҥыд'* означает «быть темным», «темнеть», «темно».

Вместе с тем следует отметить, что некоторые из таких глаголов имеют общие основы и с существительными (например, слово *к'унуд'* имеет общую основу со словом *к'уну* «рассвет; утренняя заря») и что в нивхском языке вообще выделяется значительный слой существительных и глаголов, находящихся друг к другу в отношении конверсии [23]. Этим самым обнаруживается, что качественные и некачественные глаголы имеют определенные связи также и с именами. Что касается способов выражения свойств предмета по его отношению к другому предмету, то здесь в нивхском языке на первый план выступает имя существительное. В нивхском языке совсем нет относительных прилагательных (включая притяжательные). В соответствующих случаях употребляется имя существительное в абсолютном падеже, выступающее в синтаксической функции определения, например: *выт' ху* «железная стрела», букв. «железо стрела»; *ытык рыф* «отцовский дом», букв. «отец дом» и т. п. Выступая в функции определения, имя существительное не становится прилагательным и, сохраняя свое общеграмматическое значение предметности, в свою очередь может получать определения, например: *н'ыҥ ытык рыф* «нашего отца дом», букв. «мы отец дом» [24]. В этом отношении нивхский язык сближается с тюркскими языками, в которых к именам относятся также и слова, обозначающие качественные признаки.

Вместе с тем следует отметить, что в нивхском языке отсутствие относительных прилагательных восполняется словообразовательными средствами, когда названия тех или иных свойств образуются путем словосложения двух компонентов, одним из которых является существительное, для которого это свойство является наиболее характерным, а в качестве второго выступают глаголы со значениями «быть похожим на что-либо», «быть многочисленным чем-либо» и др. Поскольку вторым, ведущим компонентом такого сложного слова выступает глагол, то и все сложное слово является глаголом. Приведем несколько групп таких сложных глаголов:

I. *q'эдҥалад* «быть хитрым, лукавым» (*q'эд* «лиса», *ҥалад'* «быть похожим»), *qанҥалад'* «быть бессовестным» (*qан* «собака» + *ҥалад'*), *чҥайҥалад'* «быть красивым» (*чҥай* «картина» + *ҥалад'*), *ҥ'āрҥалад'* «быть зловредным» (*н'āр* «крыса» + *ҥалад'*).

II. *к'ысҥард'* «быть счастливым, везучим» (*к'ыс* «счастье», *ҥард'* «быть жирным»), *чэмҥард'* «быть с крупными чертами лица» (*чэм* «черты лица» + + *ҥард'*), *к'идорҥард* «быть сутулым» (*к'идор* — не этимологизируется).

III. *п'лыҥгвалад'* «быть пепельного цвета» (*п'лыҥг* «зола», *валад'* «быть похожим по цвету»), *наγвалад'* «быть бледно-кремового цвета» (*наγи* «рыбьи молоки» + *валад'*), *н'лайзвалад'* «быть зеленым» (*н'лайз* «зелень» + *валад'*), *пилаалсҥаоɥйооɥвалад'* «быть цвета шиповника; быть розовым» (*пилаалс* «шиповник», *ҥаоɥйооɥ* «цветок» + *валад'*), *члывалад'* «темно-голубой» (*члы* «небо» + *валад'*), *эврдвалад'* «быть желтым» (*эврд* «трут» + *валад'*), *тымвалад'* «бордовый» (*тым* «клюква» + *валад'*) и др.

[23] См.: В. З. Панфилов, Грамматика нивхского языка, ч. I, М.— Л., 1962, стр. 69—71.

[24] Подробнее см.: там же, стр. 34, 128—129.

IV. *т'ылабалн'убарад'* «быть синим» (*т'ыла* «далекий», *бал* ~ *пал* «гора», *н'у-д'* «смотреть», *-барад'* «быть подобным чему-либо»), *пулкс'ытийбарад'* «быть честным, справедливым» (*пулкс* «жолудь», *п'ыт-т'* «расколоться», *-барад'* «быть подобным чему-либо») и др.

V. *пын'хпаркт'* «быть жидким» (*пын'х* «похлебка», *-паркт'* ~*-варкт'* ~ ~ *-баркт'* «содержащий что-либо, имеющий что-либо»), *онгиваркт'* «быть густым» (*онги* «гуща» + *варкт'*), *нгарваркт'* «быть кровянистым» (*нгар* «кровь» + *варкт'*), *пуспаркт'* «быть сорным» (*пус* «сор» + *паркт'*), *чахпаркт'* «быть водянистым» (*чах* «вода» + *паркт'*), *к'утиваркт'* «быть дырявым» (*к'ути* «дыра; отверстие» + *варкт'*), *т'омбаркт'* «быть маслянистым» (*т'ом* «жир» + *баркт'*) и др.

Следует отметить, что в качестве первого компонента такого рода сложных качественных глаголов может выступать и глагольная основа:

I. *хэзбингрд'* «быть сговорчивым» (*хэз-д'* «говорить», *пингрд'* «быть дешевым, быть доступным»), *умбингрд'* «быть раздражительным» (*ум-д'* «сердиться» + *пингрд'*), *тобингрд'* «быть плаксивым» (*то-д'* «плакать» + + *пингрд'*) и др.

II. *валт'мангд'* «быть лживым» (*валт'т'* «лгать» + *мангд'* «быть сильным, могучим»), *вамангд'* «быть драчливым» (*ва-д'* «драться» + *мангд'*); ср. *доцамангд'* «быть умным, хитрым», где первым компонентом является существительное *доца* «ум» [25].

Отсутствие относительных прилагательных теми или иными способами восполняется и в других языках. Так в упоминавшемся уже выше ненецком языке при помощи словообразовательных суффиксов от существительных образуются особые существительные, которые указывают на соответствующее свойство предмета: 1) уподобительные существительные с суффиксом *-раха/-лаха*, например: *нибяраха* «подобный игле; иглоподобный»; *сармикарха* «похожий на волка; волкоподобный»; *падяраха* «подобный желчи; зеленый»; *сюнраха* «подобный пару; голубой» и т. п.; 2) существительные со значением обладания соответствующим предметом с суффиксом *-савэй/-завэй/-цавэй*, например: *тосавэй* «с крылом, крылатый»; *лхавэй* «с костью; костлявый»; *нэсавэй* «с женщиной; с женой; женатый»; *тэсавэй* «с оленем; оленный» и т. п.; 3) существительные со значением обладания соответствующим предметом во множестве с суффиксом *-лянгг*, например: *пэлянгг* «каменистый», *хойлянгг* «гористый», *пэдарлянгг* «лесистый», *сарёлянгг* «дождливый» и др.; 4) существительные со значением нахождения в соответствующем месте или промежутке времени с суффиксами *-хы/-гы/-кы*, *-ы*, *-нгы-*, *-ний*, *-ий*, например: *вархы* «находящийся на берегу», *вынггы* «находящийся в тундре», *тангы* «летний» и т. п. [26].

Таким образом, способы выражения категории качества в современных языках по своей языковой природе оказываются весьма различными, хотя и существуют некоторые общие тенденции, проявляющиеся в значительном количестве языков.

*

Возникновение и развитие специфически человеческого, т. е. абстрактного, обобщенного мышления, совершалось в процессе практической деятельности человека. Решающую роль в этом, в частности, играла его трудовая деятельность. В процессе общественно-трудовой деятельности происходило формирование и категорий человеческого мышления и в том числе таких, как качество, количество и т. д. В ходе ее человек познавал и использовал не только такие качества вещей, которые им присущи от

[25] См.: В. З. Панфилов, Грамматика нивхского языка, ч. 2, стр. 30—31; Г. А. Отайна, Качественные глаголы в нивхском языке. АКД, Л., 1972, стр. 10.
[26] См.: Н. М. Терещенко, указ. соч., стр. 158—161.

природы, независимо от его деятельности, но и создавал новые качества, ранее не присущие соответствующим природным объектам, как, например, при изготовлении орудий труда, воздействии при помощи орудий труда на объекты его трудовой деятельности и т. д.

Предметы окружающей действительности как отдельные объекты в виде образов восприятия и представления выделяются уже на чувственной ступени познания, что проявляется в так называемом опредмечивании ощущений, в такой особенности восприятия, как его цельность. Этот этап развития чувственного познания свойствен не только человеку, но и высшим животным. Этап чувственно-наглядного отражения действительности сам по себе не мог привести к возникновению языка, так как образы восприятия и представления, будучи результатом воздействия на органы чувств предметов окружающей действительности, не нуждаются в языковых формах своего существования и выражения. Язык возникает как средство осуществления и существования абстрактного, обобщенного мышления. Поэтому словесные обозначения предметов, их качеств, действий и т. п. могли возникнуть лишь в связи с формированием соответствующих понятий, хотя бы и самых элементарных.

Можно предполагать, что возникающие словесные обозначения первоначально употреблялись для обозначения как предмета, так и действия и, что, следовательно, возникновение различий между именами и глаголами есть позднейшее явление [27]. Проявления такой первоначальной неотдифференцированности имени и глагола в той или иной степени обнаруживаются во всех языках. В языках со слабой степенью синтетизма и агглютинативной техникой соединения морфем в составе слова границы между частями речи как грамматическими классами слов вообще оказываются слабо выраженными. Во-первых, в языках этого типа значительное число знаменательных слов выступает в функциях, свойственных различным частям речи, т. е. по терминологии некоторых авторов, является поливалентным. По этой причине лексический состав этих языков разбивается лишь на частично не пересекающиеся грамматические классы слов, т. е. объемы этих классов слов, если употреблять здесь логическую терминологию, являются частично перекрещивающимися. Во-вторых, в этих языках части речи слабо противопоставляются друг другу по своим морфологическим признакам — имеющиеся здесь различия в основном относятся к области

[27] Ср.: W. W u n d t, Völkerpsychologie. Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache, Mythus und Sitte, II — Die Sprache, Tl. 2, Leipzig, 1922, стр. 8—9. В. Вундт отмечает здесь, что на определенных этапах развития языка были нечеткими не только границы между прилагательными и существительными, но и между именем в целом и глаголом и что в некоторых современных языках слово одновременно обладает именным и глагольным значением. Тем не менее он полагает, что, поскольку процесс или состояние, как и свойство, может мыслиться только в связи с понятием о предмете как их носителе, имя является первичным. Однако едва ли есть основания думать, что существовал такой этап в развитии мышления, когда оно оперировало только понятиями о предметах, так как эти последние не могут быть образованы без учета их свойств и тех процессов и состояний, которые ими претерпеваются.

В процессе исторического развития человеческого познания и мышления логические категории, отражающие какие-либо взаимосвязанные и взаимообусловленные черты объективной действительности, также формируются во взаимной связи друг с другом — как «гнездо» категорий. Но в этом «гнезде» одна из категорий оказывается основной, тогда как другие категории формируются лишь в зачаточном состоянии и только в дальнейшем процессе познания получают полное развитие» (см.: В. Н. Б о р и с о в, указ. соч., стр. 183). В «гнезде» категорий в е щ ь (предмет) — с в о й с т в о (и в том числе действие) — о т н о ш е н и е такой основной категорией является первая из них. Однако и на ранних этапах ее формирования она предполагает, хотя бы и в зачаточном состоянии, остальные категории этого «гнезда». Поэтому можно думать, что на постулируемых этапах развития языка слова наряду с предметными значениями как основными выражали также и сопутствующие значения о свойствах (включая и действие).

несинтаксического формообразования, причем это последнее по сравнению с языками синтетического типа в них также весьма слабо представлено. Поэтому при выделении частей речи в этих языках значительная роль отводится синтаксической функции слов и их сочетаемостным свойствам. В-третьих, в языках этого типа наблюдается значительно меньшее количество случаев расхождения между общеграмматическим и лексическим значениями слова, чем в языках с развитым синтетизмом (ср. русск. *красота* — лексическим значением которого является качественный признак, а общеграмматическим — предметность; *бег* — лексическим значением которого является действие, а общеграмматическим — предметность и т. п.), и лексическое (вещественное) значение слова в языках первого типа играет большую роль в определении его грамматической природы, чем в языках второго типа [28].

Хотя в языках синтетическо- или полисинтетическо-агглютинирующего типа границы между частями речи и, в частности, между именами и глаголами оказываются более четкими, однако, и в них обнаруживается немало объединяющих их признаков. В этих языках благодаря весьма развитому синтаксическому и несинтаксическому формообразованию части речи более четко отграничиваются друг от друга по своим морфологическим свойствам и в них в отличие от аналитическо-агглютинирующих языков нет сколько-нибудь значительного слоя лексики, которая является полифункциональной. Однако в этих языках наблюдается значительное количество случаев, когда слова, принадлежащие к разным частям речи, имеют общие основы и, следовательно, отличаются друг от друга только формообразующими парадигмами. Так, наличие общих именных и глагольных основ отмечается в финно-угорских, тунгусо-маньчжурских, тюркских, палеоазиатских, кавказских и некоторых других языках этого типа. В. И. Лыткин, указывая, что в ряде финно-угорских языков «основы отдельных имен и глаголов совпадают» и к тому же в них возможны и такие случаи «когда бессуффиксная форма может использоваться одинаково и как форма глагола, и как имени, ср. в *fagy* „мороз“ и „морозит“, *les* „засада“ и „караулит“», рассматривает эти случаи как следы доуральской неразделенности имени и глагола, которые получили дифференциацию лишь в прауральском языковом состоянии [29]. Значительное количество общих глагольных и именных основ, т. е. основ, находящихся в отношении конверсии, зафиксировано в тюркских языках [30]. Существенно при этом, «что в древнетюркском языке глагольно-именных основ больше, чем в современных языках, и что по мере приближения к нынешнему состоянию их количество постепенно уменьшается» [31]. В связи с этим высказывается предположение, «что в тюркском праязыке почти любой первичный корень обозначал и предмет и действие-состояние, т. е. был синкретичным» [32]. При такой постановке вопроса можно говорить о значительной близости между древним состоянием синтетическо-агглютинирующих языков и современным состоянием аналитическо-агглютинирующих языков. Значи-

---

[28] См., например: Н. Н. Коротков, Основные особенности морфологического строя китайского языка (Грамматическая природа слова), М., 1968, стр. 375—398; Ю. А. Горгониев, указ. соч., стр. 100—116; А. А. Москалев, указ. соч., стр. 102—107, и др.

[29] См.: «Основы финно-угорского языкознания (вопросы происхождения и развития финно-угорских языков)», М., 1974, стр. 214.

[30] См.: J. Deny, Grammaire de la langue turque (dialecte osmanli), Paris, 1921, стр. 539; Б. М. Юнусалиев, Киргизская лексикология, I, Фрунзе, 1959, стр. 67 и сл.; А. М. Щербак, К вопросу о происхождении глагола в тюркских языках, ВЯ, 1975, 5.

[31] А. М. Щербак, указ. соч., стр. 19.

[32] Там же, стр. 22.

тельное количество общих именных и глагольных основ зафиксировано в эскимосском языке [33]. В нивхском языке, в отношении которого данные внутренней реконструкции позволяют говорить о том, что некогда он был языком аналитическо-агглютинирующего типа, количество общих именных и глагольных основ весьма велико и есть основания предполагать, что ранее их было еще больше [34]. К ним, например, относятся: *ны* «дело», *ны-д'* «делать», *к'ыр* «голод» и *к'ыр-д'* «голодать», *т'ыи* «сон» и *т'ыи-д'* «сниться», *к'уну* «заря; рассвет» и *к'уну-д'* «быть светлым, прозрачным» и мн. др.

О первоначальной неотдифференцированности имени и глагола, по-видимому, свидетельствует и тот факт, что и при наличии развитого синтаксического и несинтаксического формообразования у имен и глаголов, некоторые из таких форм оказываются для них общими или характеризуются промежуточными именными и глагольными чертами. Так, например, в нивхском языке форма множественного числа, вопросительные формы, формы выражения неопределенности и формы выражения эмоций образуются у имен и глаголов посредством одних и тех же грамматических показателей; отмечаются единичные случаи, когда видовым показателем законченного действия оформляются существительные; форма изъявительного наклонения глагола на *-д'* обладает рядом именных особенностей и т. д. и т. п. [35].

Весьма показательны в этом отношении также материалы эскимосского языка. В этом языке любое имя, выступая в функции сказуемого, присоединяет глаголообразующий суффикс и получает соответствующее глагольное оформление, например, *юк* «человек», *юг-у-к'* «он есть человек» [36].

Итак, по-видимому, с известной долей вероятности можно предполагать, что на первоначальных этапах развития языков одно и то же слово употреблялось как для обозначения предмета, так и для обозначения действия. При этом, правда, остается открытым вопрос о том, все ли слова обладали этим свойством полифункциональности или необходимо допустить и существование таких слов, которые по самому характеру своего лексического значения не могли быть полифункциональными. Во всяком случае бесспорно, что дифференциация имени и глагола есть первый этап формирования грамматических классов слов.

Если говорить о позднейших этапах грамматической дифференциации словарного состава языков, то здесь общепринята точка зрения, согласно которой слова, обозначающие качественные признаки, возникают на основе слов, обозначающих предметы. Эта точка зрения развивалась прежде всего специалистами по индоевропейским языкам. А. А. Потебня сформулировал ее следующим образом: «Различие между существительным и прилагательным не исконно. Прилагательные возникли из существительных, т. е. было время, оставившее в разных индоевропейских языках более или менее явственные следы и доныне, когда свойство мыслилось только конкретно, только как вещь» [37]. По мнению К. Бругмана, прилагательных не было в праиндоевропейском и они начали возникать в индоевропейских языках в результате адъективации существительных [38]. Рассматривая про-

[33] См.: Г. А. Меновщиков, Грамматика языка азиатских эскимосов, ч. 2, Л., 1967, стр. 16—20.

[34] См.: В. З. Панфилов, Грамматика нивхского языка, ч. 1, стр. 68—71.

[35] См.: В. З. Панфилов, Грамматика нивхского языка, ч. 2, стр. 12—13, 111—113 и др.

[36] См.: Г. А. Меновщиков, указ. соч., стр. 24 и сл.

[37] А. А. Потебня, Из записок по русской грамматике, III., М., 1968, стр. 69.

[38] См.: K. Brugmann, B. Delbrück, Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, II, Tl. 2, Strassburg, 1911, стр. 653; см. также: В. М. Жирмунский, Происхождение категории прилагательных в ин-

блему возникновения прилагательных в связи с формированием понятий о качественных признаках. Л. П. Якубинский писал: «Имя прилагательное есть часть речи, обозначающая свойства-признаки предметов. Оно развивается на основе синтаксической категории определения. Естественно, что предпосылки развития определения (прилагательного) создаются лишь по мере того, как говорящие научаются выделять те или иные свойства предметов, сравнивая эти предметы между собой, познавая один предмет через другой. ... Так как свойства предметов раскрываются через другие предметы, то первоначально названия тех или иных свойств — это не что иное, как название предметов, которые с точки зрения говорящих являются преимущественными носителями этого свойства или признака... Отсюда ясно, что на первоначальном этапе развития определения нет и не может быть речи об особой категории слов, выражающих признаки предметов,— выразителем свойств является та же грамматическая категория имен, названий предметов. Отсюда ясно также, что в своем генезисе все прилагательные являются относительными, семантически производными от какого-то названия предмета, через отношение к которому характеризуются другой или другие предметы» [39]. Точка зрения, согласно которой между существительными и прилагательными существует глубокая генетическая связь, имеет серьезные фактические и теоретические основания. Правда, в этом случае, по-видимому, было бы более правильным говорить не о формировании прилагательных на основе существительных, а о первоначальном синкретизме имени, в результате позднейшей дифференциации которого возникают и существительные, и прилагательные. Такого рода подход к решению этой проблемы можно усмотреть у А. А. Потебни, который, отмечая, что «различие между существительным и прилагательным в языке, доступном наблюдению, в историческое время уменьшается по направлению к прошедшему», вместе с тем указывал, что «в существительном в том же направлении от нас увеличивается атрибутивность» [40]. В этой связи он, в частности, обратил внимание на то, что «изредка, преимущественно в простонародн. и стар. языках, встречаются степени (сравнения.— *В. П.*) от сущ.» [41] (*бережѣе* «ближе к берегу» и т. п.). Л. П. Якубинский отмечает, что «в ряде случаев сравнительная степень прилагательного формально образуется не от прилагательного, а от соответствующего существительного: *ниже* образовано от *низ'ъ* (*низje*), а не от *низъкъ* (было бы *низъче*)...» [42]. Здесь можно сослаться также и на нивхский язык, в котором в единичных случаях формы выражения количественной модификации действия, свойственные в нем качественным и некачественным глаголам, изредка образуются от существительных, например, *hэман'аχ* «старуха», *hэман'аχ-йо* «староватая женщина» [43].

О первоначальном синкретизме существительных и прилагательных свидетельствуют следующие языковые данные: 1) во многих языках отмечаются случаи, когда один из омонимов обозначает предмет, а второй — качественный признак или то или иное полисемантичное слово указывает

доевропейских языках в сравнительно-грамматическом освещении, ИАН ОЛЯ, 1946, 5; С. Д. Кацнельсон, Историко-грамматические исследования. I. Из истории атрибутивных отношений, М.— Л., 1949, стр. 141—277; «Сравнительная грамматика германских языков», IV, М., 1966, стр. 11—15.

[39] Л. П. Якубинский, указ. соч., стр. 210.

[40] А. А. Потебня, указ. соч., стр. 37. Вместе с тем А. А. Потебня полагал, что прилагательные образовались от существительных (см. там же, стр. 59—60).

[41] Там же, стр. 37.

[42] Л. П. Якубинский, указ. соч., стр. 211.

[43] Ф. Брюно обратил внимание на то, что даже в современном французском языке степени сравнения могут быть образованы одинаковым образом от прилагательных, наречий и существительных (см.: F. Brunot, La pensée et la langue, Paris, 1936, стр. 682—694).

и на предмет, и на качественный признак. Так, например, в татарском языке такими омонимами или полисемантичными именами являются: *күк* «синий; голубой» и «небо»; *кара* «черный» и «чернила»; *ачы* «горький; кислый» и «яд, зелье, отрава»; *җылы* «теплый» и «тепло» (нареч.); «тепло» (сущ.), «нагрев»; *суык*, а также *салкын*, означающие «холодный; морозный» и «холод; мороз» и т. п.[44]. Такого же рода факты отмечаются в ненецком языке [45] и некоторых других языках; 2) этимологический анализ многих прилагательных обнаруживает их генетическую связь с существительным. При этом, конечно, нужно разграничивать случаи, когда эта связь является результатом первоначального синкретизма имени, от таких случаев, когда прилагательные образованы от существительных; 3) грамматические формы прилагательных индоевропейских языков возводятся к общеименным. «Все форманты,— пишет В. М. Жирмунский,— получившие в дальнейшем значение специфических признаков этой категории, явились результатом позднейшего отбора и спецификации общих именных аффиксов» [46]. Как отмечает Л. П. Якубинский, «глубокая связь между существительными и прилагательными в славянских языках грамматически выражается прежде всего в том, что склонение прилагательных кратких, т. е. древнейшего слоя прилагательных, тождественно со склонением существительных основ на *-о, -а*;...» [47]; 4) в индоевропейских языках широкое распространение имели конструкции типа *жар-птица*, *царь-девица* и т. п., в которых первый член указывал на качественный признак того предмета, который обозначался ее вторым членом, а, как писал А. А. Потебня, «путь от существительного к прилагательному есть атрибутивное употребление существительного» [48]. При этом необходимо отметить, что случаи употребления синкретичного имени то в функции определения, то в функции определяемого следует отграничивать от такого рода случаев, когда существительное может употребляться в функции определения и определяемого при наличии существительных и прилагательных как особых частей речи (как, например, в тюркских языках), или существительных и качественных глаголов (как, например, в нивхском языке).

Генетическая связь существительных и прилагательных, подтверждаемая материалами многих языков, получает свое объяснение в связи с генезисом и развитием категории качества как категории мышления. Выделение того или иного качественного признака одного предмета возможно лишь при его сравнении с другим предметом. Сравнение представляет собой универсальную операцию в процессе человеческого познания в целом [49] и, в частности, оно является необходимой предпосылкой и установления количественной определенности предметов объективной действительности. В процессе выделения того или иного качественного признака предмета в результате сравнения какой-либо из предметов начинает выступать как его наиболее характерный носитель, т. е. как своего рода эталон, с которым отождествляются по соответствующему качественному признаку другие предметы. Поэтому название этого предмета вместе с тем выступает

---

[44] См.: «Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков», ч. 2, Морфология, М., 1956, стр. 144—145; «Татарско-русский словарь», М., 1966, стр. 46 и 464.

[45] См.: Н. М. Терещенко, указ. соч., стр. 163.

[46] «Сравнительная грамматика германских языков», IV, стр. 12.

[47] Л. П. Якубинский, указ. соч., стр. 211.

[48] А. А. Потебня, указ. соч., стр. 62.

[49] Вопрос о роли сравнения в познании специально рассматривается в ряде работ. См., например: Д. П. Горский, Вопросы абстракции и образования понятий, М., 1963; А. М. Плотников, О роли сравнения в процессе образования понятий, «Уч. зап. ЛГУ», 285 — Серия философских наук, 17, 1967; В. И. Бартон, Развитие сравнения в процессе познания, сб. «Философские исследования», Минск, 1970.

и как название того качественного признака, эталоном-носителем которого он является. Следы такого состояния и обнаруживаются во многих языках как явления первоначального синкретизма имени, или омонимии, когда один из омонимов именует предмет, а второй — наиболее характерный для него качественный признак (см. выше, стр. 14—15). На новом этапе языкового развития при наличии сформировавшихся различных именных частей речи та же операция сравнения и выделение предметов-эталонов того или иного качественного признака приводит к тому, что названия соответствующих качественных признаков образуются от соответствующих существительных посредством разнообразных языковых средств (ср., например, образование относительных прилагательных от существительных в русском языке или приведенные выше случаи на образование слов с качественным значением в ненецком языке).

Вместе с тем следует отметить, что именное происхождение качественных обозначений в языках, по-видимому, не является единственно возможным путем их генезиса. Выше уже приводились соответствующие данные по языкам Юго-Восточной Азии и нивхскому языку, которые свидетельствуют о том, что слова, обозначающие качественные признаки в этих языках, обнаруживают тесную связь со словами, обозначающими действия, т. е. глаголами. Так, в нивхском языке, как уже отмечалось, слова-наименования качественных признаков обладают теми же грамматическими категориями и формами, что и слова-наименования действий, и составляют вместе с последними общую часть речи — глагол, внутри которой они образуют лишь особую лексико-грамматическую группировку. Из этого следует, что слова-наименования качественных признаков обнаруживают генетические связи не только с существительными, но и с глаголами. Иначе говоря, если в одной группе языков прилагательное как именная часть речи выделяется из первоначально синкретичного имени, противопоставляемого глаголу, и в дальнейшем продолжает пополняться за счет словообразований от существительных (хотя и не только от них), то в другой группе языков слова-наименования качественных признаков в своем генезисе объединяются со словами-наименованиями действий и образуют с ними одну общую часть речи — глагол (нивхский язык) или, отличаясь от глаголов определенной совокупностью признаков, тем не менее оказываются ближе к нему, чем к имени, и составляют с ним более широкую грамматическую группировку предикатива. Таким образом, после расщепления первоначально синкретичного слова на две отличающиеся друг от друга грамматические группировки слов — имя и глагол — дальнейшее развитие шло различными путями: в одних языках первоначально синкретичное имя, обозначающее и предмет, и качественный признак, послужило источником возникновения существительных и прилагательных как двух самостоятельных именных частей речи; в других языках слова-наименования качественных признаков генетически оказались связанными не с синкретичным именем, а со вторым членом этой первоначальной оппозиции — синкретичным глаголом. Эта первоначальная синкретичность глагола сохраняется в нивхском языке, в котором немалое число глаголов одновременно именуют и качественные признаки, и собственно действие (например: *тузд'* означает «быть холодным» и «остывать»; *χад'* — «быть горьким» и «горчить»; *hок'оqад'* — «быть пустым» и «опустеть»; *hыймд'* — «быть старым» и «постареть»; *чэвчэвод'* — «быть мокрым» и «намокнуть»; *т'эзд'* — «быть слабым» и «ослабнуть» и мн. др.). Существенно при этом, что и образующиеся в дальнейшем прежде всего путем словосложения новые наименования качественных признаков также получают глагольные черты (например: *аγγулд'* «быть скуластым» из *аγ* «скулы», *улд'* «быть высоким»), *к'ыснгард'* «быть счастливым, везучим» (из *к'ыс*

«счастье», *ҥард'* «быть жирным»), *т'лывалад'* «быть голубым» (из *т'лы* «небо», *валад'* «быть какого-либо цвета») и т. п.

Близость слов-наименований качественных признаков к глаголам в языках Юго-Восточной Азии также, по-видимому, связана с первоначальным синкретизмом глаголов в этих языках.

Говоря о двух линиях развития слов-наименований качественных признаков, следует, по-видимому, иметь в виду, что в конкретных языках на различных этапах их развития они обе в той или иной мере могли сосуществовать и та или иная из них могла иметь лишь преимущественное значение. Так, например, в нивхском языке отмечаются случаи, когда качественный глагол и существительное имеют общую основу и можно думать, что качественный глагол образован от существительных (например: *паоҷла* «медь» и *паоҷла-д'* «быть красным»).

Наличие второй линии развития слов-наименований качественных признаков, представленной в нивхском языке и языках Юго-Восточной Азии, дает основание для предположения, что она обусловлена пониманием качественного признака не как статичного, а как процессуального признака. Как уже отмечалось (см. выше, стр. 8), момент процессуальности в понимании качественных признаков в той или иной мере присущ также и носителям тех языков, в которых они обозначаются прилагательными — об этом, в частности, свидетельствует наличие степеней сравнения прилагательных, а также соотносительных прилагательных и глаголов типа *красный — краснеть*.

Понятия об уже абстрагированных от своих предметов-носителей качественных признаках на первых этапах не имели такой степени общности, как в современных языках, т. е. они были более конкретными. Качественные признаки одной и той же природы получали различные названия, если они характеризовали предметы разного рода или были представлены в них с различной степенью интенсивности. По-видимому, пережитки такого состояния сохраняются и в некоторых современных языках. Так, например, в нивхском языке существуют различные названия одного и того же цвета предмета, животного и человека: 1) *вылвылд'* «быть черным» (о предметах), *ыгрд'* «быть черным» (о животных), *пиуд'*, *валвиуд'* «быть смуглым; быть чернокожим» (о человеке); 2) *данад'*, *далоҷалад'* «быть белым» (о предметах), *чанд'* «быть белым» (о животных), *товд'* «быть белым (белокожим)» (о человеке); 3) *паоҷлад'* «быть красным» (о предметах), *пāрд'* «быть красным» (о животных), *валваоҷд'* «быть краснокожим» (о человеке) и др.

Весьма дифференцированно выражается в нивхском языке понятие о равенстве, одинаковости по какому-либо признаку: *варуд'* «быть одинаковым по количеству», *валкрэд'* «быть одинаковым по высоте», *ҥытыд'* «быть одинаковым по возрасту», *ҥызид'* «быть одинаковым по размеру», *раоҷад'* «быть одинаковым по толщине», *рурҥуд'* «быть одинаковым по форме» *ҥыкыд'* «быть одинаковым по длине», *выкыд'* «быть одинаковым по оконечности», *ҥалад'* «быть одинаковым в целом».

Аналогичным образом, слово *тод'* «быть толстым» употребляется, когда речь идет об округлых предметах вроде дерева, а слово *виркырд'* «быть толстым» — когда речь идет о плоскостных предметах вроде доски; слово *кэркэрд'* «быть острым» употребляется, когда речь идет о естественном свойстве, а слово *т'ун'д'* — когда говорится о наточенном ноже и т. п. [50].

Такого рода пережитки первоначальной конкретности качественных названий следует отграничивать от их дифференциации, возникающей во

[50] Богатый фактический материал по качественным глаголам в нивхском языке приводится в кандидатской диссертации Г. А. Отайны «Качественные глаголы в нивхском языке» (Л., 1972).

всех языках вследствие тех или иных практических потребностей (ср., например, детализацию названия цветов в некоторых видах производства — текстильном и т. п.).

Как уже отмечалось, один и тот же качественный признак, но с различной степенью интенсивности проявления также мог обозначаться самостоятельными лексемами. Так, ср. в нивхском: *лавад'* «быть тепловатым», *q'авуд'* «быть теплым», *q'авд'* «быть жарким, горячим». В последующие периоды развития языка на смену этому способу выражения различий в степени интенсивности одного и того же качественного признака приходит грамматический способ — изменение формы одного и того же слова, изменение по так называемым степеням сравнения прилагательных или формы количественной модификации качественного действия (нивхский язык). Вместе с тем можно предполагать, что явления супплетивизма, наблюдаемые в ряде языков при образовании степеней сравнения прилагательных, связаны с предшествующим этапом развития языков, когда различия в степени интенсивности качественного признака фиксировались различием в самих лексемах.

Наибольшей абстрактности развитие категории качества достигает на той ступени, когда выделенные на предшествующих этапах ее развития качественные признаки начинают мыслиться в отрыве от своих носителей, как своего рода самостоятельные сущности, т. е. предметно. Это находит свое выражение в языках в том, что от слов с качественным значением, будь то прилагательные, качественные глаголы или предикативы, образуются существительные, общеграмматическим значением которых как части речи является п р е д м е т н о с т ь. К такого рода существительным относятся абстрактные существительные типа русск. *краснота*, *белизна*, *глубина*, *широта* и т. п. Применительно к тем языкам, которые пережили этап первоначального синкретизма имени, когда одно и то же слово обозначало и предмет, и наиболее характерный для него качественный признак, а затем период формирования прилагательных как особой части речи, возникновение такого рода абстрактных существительных представляет собою своего рода отрицание отрицания, т. е. здесь наглядно демонстрируется один из законов диалектики.

Формирование абстрактных существительных, обозначающих качественные признаки, представляет собой длительный и сложный процесс. В частности, существуют языковые данные, которые говорят о том, что первоначально они имели более конкретные значения. Так, например, в нивхском языке абстрактные существительные типа *вэр-с* «ширина», *кыл-с* «длина», *вэу-с* «глубина» образованы от качественных глаголов *вэр-д'* «быть широким», *кыл-д'* «быть длинным», *вэу-д'* «быть глубоким» при помощи локативного суффикса *-с/-рш*, т. е. первоначально они имели значения соответственно «широкое место», «длинное место», «глубокое место». Более того, существительные, образованные от некоторых качественных глаголов при помощи другого локативного суффикса *-ф*, до сих пор имеют два значения: *вэр-ла-ф* «ширина» и «широкое место»; *ула-ф* «высота» и «высокое место» (*вэр-д'* «быть широким», *ул-д'* «быть высоким») [51].

В этой связи следует также отметить, что в различных языках развитие такого рода абстрактных существительных, обозначающих качественные признаки, не достигло одинаковой степени (ср., например, некоторые палеоазиатские и индоевропейские языки).

[51] См.: В. З. П а н ф и л о в, Грамматика нивхского языка, ч. 1, стр. 43—44, 47.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1976

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

А. С. МЕЛЬНИЧУК

ФИЛОСОФСКИЕ КОРНИ ГЛОССЕМАТИКИ

Глоссематика представляет собой крайнее проявление европейского лингвистического структурализма, стремившегося утвердить понимание языка как абстрактной, идеальной системы чистых отношений. Разработанное Л. Ельмслевом совместно с Х. Ульдаллем в середине 30-х годов глоссематическое учение на протяжении трех десятилетий излагалось в ряде работ Л. Ельмслева и в систематическом виде представлено им в монографии «К обоснованию теории языка» [1]. Несколько отличный вариант глоссематической теории — как общей теории науки в целом — содержится в работе Х. Ульдалля «Основы глоссематики» [2].

К числу активных и относительно последовательных сторонников глоссематики можно отнести лишь нескольких лингвистов, главным образом членов Копенгагенского лингвистического кружка (Х. Х. Сёренсен, С. Ст. Сёренсен, П. Дидерихсен, К. Тогебю, Ф. Дж. Уитфилд). Некоторые другие копенгагенские структуралисты (Э. Фишер-Йоргенсен, Х. Спанг-Хансен) признают не все положения глоссематики или же принимают их с серьезными оговорками. Частично приближались к глоссематике на этапе ее становления структуралистические взгляды В. Брёндаля.

В опубликованных отзывах представителей различных направлений мирового языкознания, в том числе и структуралистов, преобладают отрицательные оценки глоссематической теории в целом или ее отдельных принципиальных положений [3]. Чаще всего повторяется серьезное возражение против главного положения глоссематики о якобы чисто формальной природе языка и об абсолютной независимости формы в языке от оформляемой ею субстанции как в плане выражения, так и в плане содержания. Отмечается ряд противоречий в теории Ельмслева, вызванных его стремлением к последовательному проведению этого исходного положения [4]. Многие авторы указывают на бесперспективность разработанной

---

[1] L. Hjelmslev, Omkring sprogteoriens grundlaeggelse, København, 1943; английский перевод: L. Hjelmslev, Prolegomena to a theory of language, Baltimore, 1953; русский перевод: Л. Ельмслев, Пролегомены к теории языка, «Новое в лингвистике», I, М., 1960.

[2] H. J. Uldall, Outline of glossematics, I, TCLC, X, 1, 1957.

[3] См.: B. Siertsema, A study of glossematics. Critical survey of its fundamental concepts, The Hague, 1965; ср. также: О. С. Ахманова, Глоссематика Луи Ельмслева как проявление упадка современного буржуазного языкознания, ВЯ, 1953, 3; В. П. Мурат, Глоссематическая теория, сб. «Основные направления структурализма», М., 1964, и др.

[4] См.: A. Martinet, Au sujet des Fondements de la théorie linguistique de Louis Hjelmslev, BSLP, 42, 1946, стр. 19, 37—38 («Новое в лингвистике», I, стр. 437, 455—456); F. Hintze, Zum Verhältnis der sprachlichen «Form» zur «Substanz», «Studia linguistica», III, 1949, 1, стр. 95—101; C. E. Bazell, [рец. на кн.:] L. Hjelmslev,

Ельмслевом теории, которая, согласно его установке, должна иметь чисто произвольный характер и не может оцениваться с точки зрения ее соответствия конкретным фактам языка. И почти все языковеды признают ее практическую непригодность к исследованию конкретных языков.

Наряду с критическими высказываниями в адрес глоссематики встречаются и одобрительные оценки этого структуралистического направления. Однако единого обоснования таких оценок авторы не дают. Иногда в качестве положительных моментов теории Ельмслева, имеющих значение для дальнейшего развития языкознания, называются применяемые в глоссематике понятия коммутации, катализа, фигуры содержания [5] и некот. др. Но большинство языковедов справедливо считает, что эти понятия либо существовали в науке задолго до Ельмслева и были им лишь несколько иначе определены и использованы (например, понятие коммутации отражает общеизвестное положение о том, что изменение означающего влечет за собой изменение означаемого) [6], либо же являются научно несостоятельными (в частности, понятие фигуры содержания, т. е. простейшего семантического компонента содержания, неразложимого на более простые компоненты и параллельного в этом отношении фонеме как фигуре выражения) [7]. В своей пространной рецензии на книгу Ельмслева «Пролегомены к теории языка», опубликованную в английском переводе, П. Л. Гарвин писал, что ни одно из многочисленных подробных правил процедуры лингвистического анализа, изложенных Ельмслевом, не представляет собой чего-либо нового в мировом языкознании [8]. Подобного мнения придерживается и ряд других лингвистов.

Иногда высказываются утверждения о том, будто глоссематика в последнее время приобретает практическое значение для разработки проблемы машинного перевода [9]. Но говорить о практическом значении какой-либо теории можно лишь в том случае, если ее применение уже дало конкретные результаты. Что же касается глоссематики, то пока речь может идти только о построении абстрактной теории языка, на основании которой можно было бы создавать языки-посредники для машинного перевода [10].

Таким образом, явно преобладающее среди языковедов мнение сводится к тому, что многолетняя разработка глоссематической концепции не принесла языкознанию никаких непосредственных результатов ни теоретического, ни практического характера. Уделяемое этому направлению до сих пор внимание объясняется в первую очередь той ролью, которую оно

Omkring sprogteoriens grundlaeggelse, «Archivum Linguisticum», I, 1949, стр. 91: P. L. Garvin, [рец. на кн.:] L. Hjelmslev, Prolegomena to a theory of language, «Language», 30, 1. 1954, стр. 91—93; B. Siertsema, A study of glossematics, The Hague, 1955 (2-е изд.— 1965, стр. 121—129, 152 и др.); ее же, Further thoughts on the glossematics idea of describing linguistic units by their relations only, «Proceedings of the VIII International Congress of linguists», Oslo, 1958, стр. 143; E. Fischer Jørgensen, [рец. на кн.:] L. Hjelmslev, Omkring sprogteoriens grundlaeggelse, «Nordisk tidsskrift for tale og stemme», VII, 1943, стр. 92; ее же, Form and substance in glossematics, «Acta linguistica Hafniensia», X, 1, 1966, стр. 10—11 и др.

[5] Ср.: H. Chr. Sørensen, The problem of linguistic basic elements, «Acta linguistica Hafniensia», XI, 1, 1967/1968. Ч

[6] См.: Ю. С. Маслов, Основные направления структурализма, «Вопросы общего языкознания» («Уч. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена», 354), Л., 1967, стр. 77—78; B. Schnau, Kritischer Abriss der Glossematik, «Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universität Leipzig. Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe», XII, 1963, стр. 151, и др.

[7] См.: А. Мартине, О книге «Основы лингвистической теории» Луи Ельмслева, «Новое в лингвистике», I, стр. 458—459; P. L. Garvin, указ. соч., стр. 93—94; B. Siertsema, указ. соч., стр. 157—161, и др.

[8] P. L. Garvin, указ. соч., стр. 95.

[9] B. Schnau, указ. соч., стр. 152—153.

[10] Ср.: О. С. Ахманова, Г. Б. Микаэлян, Современные синтаксические теории, М., 1963, стр. 42—43; В. П. Мурат, указ. соч., стр. 167.

выполняет как наиболее последовательное выражение идей структурализма.

И все же сделанный вывод не может стать основанием для того, чтобы полностью отказать глоссематике в каком-либо значении для развития науки о языке. Необходимо признать, что разработанная Л. Ельмслевом и Х. Ульдаллем теория языка в специально-научном плане явилась первой, хотя и во многом неудачной, попыткой последовательного применения к анализу языковой структуры идей математической логики [11] и тем самым в значительной степени способствовала развитию математической лингвистики. С другой стороны, глоссематика представляет определенный интерес и своей отрицательной стороной — как яркий пример обусловленности коренных недостатков научной теории ложными философско-методологическими предпосылками. Именно с этой точки зрения целесообразно рассмотреть истоки философских и методологических принципов глоссематики.

Общеметодологические принципы глоссематики формировались постепенно в течение ряда лет, и в них нашли отражение различные более или менее близкие между собой теории и взгляды.

По словам Ельмслева, его методологические принципы начали оформляться уже на первом этапе его научной деятельности, еще до знакомства с теорией Соссюра в 1925 г. [12]. Однако, как признает сам Ельмслев, наиболее глубокое влияние на формирование глоссематики оказали методологические принципы лингвистической теории Соссюра.

Из сложного комплекса идей, составляющего учение Соссюра о языке, глоссематика восприняла с более или менее значительными видоизменениями различение языка и речи, понимание языка как системы знаков и понимание знака как единства означающего и означаемого, положение о том, что язык есть форма, а не субстанция, и в языке нет ничего, кроме различий, и требование к лингвистике рассматривать язык в самом себе и для себя. Большинство этих идей Соссюра в свою очередь восходит к предшествующим или современным ему лингвистическим и философским концепциям.

Различение языка и речи у Соссюра принято объяснять влиянием позитивистско-идеалистических взглядов социолога Э. Дюркгейма [13]. Действительно, соссюровское понимание языка как социального продукта, пассивно регистрируемого индивидом, и речи как индивидуального акта полностью совпадает с пониманием «социального факта» и «индивидуального акта» у Дюркгейма. Но сходство между Соссюром и Дюркгеймом в данном случае касается только социологического осмысления противоположности языковой системы и речевого акта и вовсе не предполагает, что само различение этих двух аспектов языка заимствовано Соссюром у Дюркгейма. Известно, что эти два аспекта различал уже В. фон Гумбольдт [14]. Связь этих понятий в концепции де Соссюра с теорией Гумбольдта проявляется даже в употреблении Соссюром соответствующих

---

[11] Критический анализ недостатков глоссематической теории в плане использования возможностей математической логики дается в работах: Ю. К. Лекомцев, Основные положения глоссематики, ВЯ, 1962, 4, стр. 96—97; В. П. Мурат, указ. соч., стр. 168—169.

[12] Л. Ельмслев, Метод структурного анализа в лингвистике, в кн.: В. А. Звегинцев, История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях II, М., 1960, стр. 53.

[13] См.: W. Doroszewski, Studia i szkice językoznawcze, Warszawa, 1962, стр. 100—101; E. Hildenbrandt, Versuch einer kritischen Analyse des «Cours de linguistique générale» von Ferdinand de Saussure, Marburg, 1972, стр. 9.

[14] Ср.: Ф. М. Березин, История лингвистических учений, М., 1975, стр. 50, 60, 183.

гумбольдтовских выражений: заявляя, что «в любую минуту язык есть и живая деятельность и продукт прошлого» [15], Соссюр явно имеет в виду утверждение Гумбольдта о том, что «язык есть не продукт деятельности (ergon), а деятельность (energeia)» [16]. Правда, формулировка приведенного положения Гумбольдта может быть понята в том смысле, будто наличие устойчивой системы языка как продукта языкового развития вообще отрицается [17]. Но это не так. «По своей действительной сущности,— говорит Гумбольдт,—язык есть нечто постоянное и вместе с тем в каждый данный момент преходящее» [18]. Понятие системы языка представляется в теории Гумбольдта в двух планах. Во-первых, это понятие содержится в гумбольдтовском определении языка «как совокупности его продуктов», который «отличается от отдельных актов речевой деятельности» [19]. Но данное здесь определение языка допускает и другое понимание — как совокупности текстов, т. е. зафиксированных результатов речевых актов на данном языке, принадлежащих по существу к плану речи. С большей определенностью понятие системы языка обнаруживается в том виде, который оно получило у Гумбольдта под названием «внутренняя форма языка». Достаточно сопоставить лишь несколько из тех признаков, которыми Гумбольдт характеризует понятие внутренней формы языка, чтобы увидеть, что речь идет именно об абстрактном научном понятии языковой системы. «Постоянное и единообразное [20] в этой деятельности духа,— пишет Гумбольдт,— возвышающей артикулированный звук до выражения мысли, взятое во всей совокупности своих связей и систематичности, и составляет форму языка... Характерная форма языка зависит от его мельчайших элементов, и, с другой стороны, каждый из этих элементов тем или иным и не всегда ясным образом определяется языком... По самой своей природе форма языка, в противоположность материи, есть восприятие отдельных элементов языка в их духовном единстве» [21]. Нет никаких принципиальных различий между приведенной характеристикой внутренней формы у Гумбольдта и общим пониманием языковой структуры в современном языкознании. Именно эти характеристики нашли свое отражение в соссюровском понятии языка как устойчивой системы, все элементы которой обусловлены их взаимными связями.

В отличие от Брендаля, допускавшего применение к языковой системе (структуре) дюркгеймовского понятия «социального факта» [22], Ельмслев освободил разработанное Соссюром понятие языка как системы от его социологического аспекта, придав этому понятию более абстрактный и «имманентный» характер. Тем самым в глоссематику не были включены связи, соединявшие соссюрианское понятие языка с социологическим учением Дюркгейма, и поэтому стала более четкой прямолинейная связь, соединяющая глоссематическое понятие языка через теорию Соссюра с теорией Гумбольдта.

Философское понимание языка в глоссематике определяется воспринятым Ельмслевом через Соссюра от Гумбольдта идеалистическим положе-

---

[15] Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики, М., 1933, стр. 34.

[16] В. Гумбольдт, О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человеческого рода, в кн.: В. А. Звегинцев, История языкознания..., I, М., 1960, стр. 73.

[17] Ср.: K. Horálek, Filosofie jazyka, Praha, 1967, стр. 22.

[18] В. Гумбольдт, указ. соч., стр. 73.

[19] Там же, стр. 81.

[20] Ср. аналогичные формулировки копенгагенских структуралистов (Л. Ельмслев, Пролегомены к теории языка, стр. 269, и др.).

[21] В. Гумбольдт, указ. соч., стр. 74, 75, 76.

[22] В. Брендаль, Структуральная лингвистика, в кн.: В. А. Звегинцев, История языкознания..., II, стр. 43.

нием о том, что язык есть форма, а не субстанция. «Если мы сохраним терминологию Соссюра,— писал Ельмслев,— и будем исходить именно из его предположений,— станет ясным, что субстанция зависит от формы в такой степени, что существует исключительно благодаря ей и никоим образом не имеет независимого существования» [23]. Соответствующая мысль у Соссюра формулируется неоднократно и, в частности, следующим образом: «Иначе говоря, *язык есть форма, а не субстанция*... Необходимо как можно глубже проникнуться этой истиной, ибо все ошибки нашей терминологии, все неточные наши характеристики явлений языка коренятся в том невольном предположении, что в лингвистическом феномене есть какая-то субстанциальность» [24]. Это понимание представляет собой лишь незначительное видоизменение мыслей Гумбольдта о природе языка. «Форме,— писал Гумбольдт,— противостоит, конечно, материя, но, чтобы найти материю формы языка, необходимо выйти за пределы языка... Действительная материя языка — это, с одной стороны, звук вообще, а с другой — совокупность чувственных впечатлений и непроизвольных движений духа, предшествующих образованию понятия, которое совершается с помощью языка» [25].

Следует отметить, что идеи Гумбольдта воспринимались в глоссематику, по-видимому, не только в преломлении через концепцию Соссюра, но и непосредственно из первоисточника. Это касается, в частности, наметившегося у Гумбольдта различения двух планов формы в языке, соотносимых с двумя плапами «материи» — звуковой материей и не оформленной в понятия сферой психики [26]. У Соссюра фигурирует вместо этого единое понятие формы, общее для плана идей и для плана звуков. В отличие от Соссюра и следуя Гумбольдту, Ельмслев говорит о противопоставлении формы и субстанции в плане содержания и в плане выражения (стр. 306, 310—314).

Учение Гумбольдта о внутренней форме языка явилось результатом разработки сформулированной уже Гердером проблемы роли языка в духовной жизни общества [27]. Что же касается положения об определяющей роли формы языка по отношению к его материи (субстанции), то оно имеет более глубокие корни в истории идеалистической философии и восходит к хорошо известным взглядам Аристотеля и Платона.

Понимание формы как основной сущности языка получает в глоссематике и более конкретное выражение, заключающееся в сведении языка к системе чистых отношений, именуемых здесь функциями. Связываемые этими отношениями элементы языка объявляются лишенными самостоятельного существования и признаются лишь результатами пересечения пучков отношений. «Зависимости,— писал Ельмслев,— которые наивный реализм рассматривает как вторичные, предполагающие существование объектов, становятся с этой точки зрения первичными, предопределяемыми взаимными пересечениями... Постулирование объектов как чего-то отличного от терминов отношений является излишней аксиомой и, следовательно, метафизической гипотезой, от которой лингвистике предстоит освободиться» (стр. 283). Именно такой подход к языку как к системе чистых отношений, как к реляционному каркасу, является наиболее характерным

---

[23] Л. Ельмслев, Пролегомены к теории языка, стр. 308 (далее стр. этой работы даются в тексте).

[24] Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики, стр. 120.

[25] В. Гумбольдт, указ. соч., стр. 75, 76.

[26] Там же, стр. 83—84 и др.

[27] См.: H. Arens, Sprachwissenschaft. Der Gang ihrer Entwicklung von der Antike bis zur Gegenwart, Freiburg — München, 1955, стр. 104—105.

признаком европейского лингвистического структурализма, в котором глоссематика заняла ведущее место.

Положение о решающей роли отношений в структуре языка Ельмслев унаследовал от Соссюра вместе с его более общим положением об определяющем характере формы в языке. Непосредственную связь этого положения глоссематики с концепцией Соссюра отмечает сам Ельмслев: «Все указывает на то,— говорится в „Пролегоменах",— что Соссюр, который повсюду искал „зависимости" (rapport) и утверждал, что язык есть форма, а не субстанция, признавал первичность зависимостей в языке» (стр. 283)[28]. Представляется лишь несколько излишней та сдержанность, с которой Ельмслев говорит в данном случае о точке зрения Соссюра. На нее не только «все указывает», но сам Соссюр сформулировал ее вполне определенно в следующих словах: «Весь лингвистический механизм вращается исключительно вокруг тожеств и различий, причем эти последние — только оборотная сторона первых». «Подобно концептуальной стороне, и материальная сторона значимости образуется исключительно из отношений и различий с прочими элементами языка». «Все предшествующее приводит нас к выводу, что *в языке нет ничего, кроме различий*. Более того, различие, вообще говоря, предполагает положительные моменты, между которыми оно и устанавливается; но в языке имеются только различия *без положительных моментов*»[29]. Другое дело, что в посмертно изданном тексте «Курса» Соссюра нет последовательности ни в оценке характера соотношения тождеств и различий в языке, ни даже в определении их роли по сравнению с реальными единицами языка, поскольку наряду с утверждениями, подобными только что приведенным, «Курс» содержит и утверждения противоположного смысла, например, о том, что «входящие в состав языка знаки суть не абстракции, но реальные объекты...; их именно и их взаимоотношения изучает лингвистика; их можно назвать *конкретными сущностями* этой науки»[30]. Эта непоследовательность как одно из проявлений незавершенности работы Соссюра не снимает того факта, что Соссюр многократно повторял положение о первичном характере тождеств и различий, т.е. чистых отношений при сопоставлении их с соотносящимися элементами.

Положение о том, будто «научное существование» имеют не объекты, а только их отношения, впервые было введено в лингвистику Соссюром. Вместе с тем, это положение в науке вообще, точнее, в философии, не является новым. Во времена Соссюра оно было особенно характерно для философских взглядов неокантианцев Г. Когена, П. Наторпа, Э. Кассирера, Г. Риккерта, позитивиста А. Пуанкаре и др.[31]. Гносеологической основой такого подхода у всех этих философов было неправомерное перенесение математических понятий, свойственных методам исследования в точных науках, на конкретные объекты исследований. «Реальный предмет, как предмет математической науки,— писал Г. Коген,— имеет свою методологическую основу в математике и, стало быть,— в числе»[32]. При этом понятие о числе сводится у Когена к понятию о функции, т.е. об отношении. Математическое понятие функции, которому Лейбниц придал значение взаимной зависимости между двумя переменными величинами, Коген делает одной из новых логических категорий (стр. 239, 240), под-

---

[28] Ср.: Л. Ельмслев, Метод структурного анализа в лингвистике, стр. 49.
[29] Ф. де Соссюр, указ. соч., стр. 109, 117, 119.
[30] Там же, стр. 105.
[31] Ср. «Современная буржуазная философия», М., 1972, стр. 31—32, 41, 45—46, 54, 97, 98.
[32] H. Cohen, Logik der reinen Erkenntnis, Berlin, 1902, стр. 509 (далее стр. даны в тексте)

водя под нее одновременно категорию причинности (стр. 246). Наряду с этим он вводит категорию системы, которую делает главной категорией природы (стр. 280, 289, 292 и др.). «Только система,— пишет Коген,— способна привести вещь, предмет к завершению, к объединению» (стр. 290; ср. стр. 291). «В системе отношение приходит к своему завершению» (стр. 341). Чтобы уяснить подлинный философский смысл этих положений, необходимо иметь в виду, что действительность существует для Когена только в форме мышления (стр. 12—14, 40, 43 и др.).

В работах Риккерта реальные вещи еще более прямолинейно сводятся к отношениям. Риккерт считает возможным лишь «временно... придерживаться того мнения, что телесный мир состоит из вещей и что эти вещи суть телесные субстанции — носительницы свойств». «Вещи, из которых, согласно логически завершенной теории, только и может состоять телесный мир, фигурируют в науке лишь как пустое нечто (ein leeres Etwas). Собственно говоря, имеют значение лишь те отношения, в которые вступают друг к другу эти вещи». «Разрешение вещи в необходимые отношения, в которых находятся друг к другу ее свойства, соответствует разрешению понятия в суждения» [33]. Одновременно с разложением вещей на отношения Риккерт вводит в свою теорию понятие ценности как основного критерия при выделении одного исторического индивидуума или одной группы индивидуальных свойств из числа других [34].

Признание ведущей роли отношений, а не вещей, в научном понимании действительности было характерно и для А. Пуанкаре. По его мнению, то, что может постичь наука,—«не суть вещи в себе, как думают наивные догматики, а лишь отношения между вещами; вне этих отношений не существует познаваемой действительности» [35]. В ряде случаев Пуанкаре отождествлял действительность с отношениями, которые он, вместе с тем, считал невозможными без их осмысления умом [36].

Большое место отводилось категории отношения в философии раннего неокантианца Ш. Ренувье, отрицавшего в связи с этим кантовскую «вещь в себе», и основателя позитивизма О. Конта, включавшего понятие отношения в само понятие «позитивной» науки [37].

Распространение в философии и науке второй половины XIX в. преувеличенной оценки роли отношений в структуре действительности было обусловлено двумя главными факторами. С одной стороны, категории отношения отводится центральное место в учении о категориях Канта, который считал, что все познание сводится к увязыванию предметов путем определения их взаимных отношений [38]. Как на своего предшественника в истолковании роли отношений на Канта ссылались Коген, Риккерт, Конт и др. [39]. Но в философии Канта понимание роли отношений не имело того ярко выраженного идеалистического характера, который оно получило у неокантианцев.

С другой стороны, непосредственным источником понимания отношений в качестве единственной основы действительности у неокантианцев, как и впоследствии у неопозитивистов, было субъективно-идеалистическое истолкование идей и методов успешно развивавшейся в то время математической логики в качестве единой методологии научного познания мира.

[33] Г. Риккерт, Границы естественно-научного образования понятий. Логическое введение в исторические науки. СПб., 1903, стр. 97, 94, 96.
[34] Там же, стр. 303—315.
[35] А. Пуанкаре, Наука и гипотеза, М., 1904, стр. 3—4.
[36] См.: А. Пуанкаре, Ценность науки, М., 1906, стр. 185—190.
[37] См.: H. Höffding, Der Relationsbegriff, Leipzig, 1922, стр. 10.
[38] Там же, стр. 7—8.
[39] См.: H. Cohen, указ. соч., стр. 185; Г. Риккерт, указ. соч., стр. 96; A. Comte, Discours sur l'esprit positif, Paris, 1844, стр. 20.

Эта связь идеализма с неправомерным расширением сферы применения математики не была чем-то абсолютно новым в истории философии. Подобные идеи выдвигались уже в философии пифагореизма, провозглашавшей число онтологической единицей бытия [40]. Что же касается понимания чистых отношений как ведущего фактора в структуре действительности, то оно явным образом перекликается с идеалистической философией Платона, в которой природа вещей объявляется порождением структуры объективно существующих идей [41].

Если унаследованное глоссематикой от Соссюра различение языка и речи имеет специально-научный, собственно лингвистический характер и, в зависимости от способа его осуществления, может быть полезным для исследования языка, то восходящее непосредственно к тому же источнику положение о том, что язык есть форма, а не субстанция, и связанное с ним утверждение о ведущей роли отношений в структуре языка представляют собой ярко выраженные проявления философского идеализма в языкознании, сводящего лингвистическую теорию к бесплодному фантазированию. Именно в этом заключается важнейшая причина неудачи, постигшей глоссематику как попытку теоретического осмысления языка. Другая причина коренится в неопозитивистской ориентации всего теоретического построения глоссематики.

Наряду с соссюрианством, логический позитивизм является основным источником, из которого был почерпнут ряд определяющих идей глоссематики. На связь глоссематики с логическим позитивизмом, в частности, со взглядами А. Уайтхеда, Б. Рассела и особенно Р. Карнапа, указывает сам Ельмслев [42]. Он же сообщает о широком обмене мнениями, состоявшемся между ним и датскими неопозитивистами Й. Йоргенсеном и Э. Т. Расмуссеном (стр. 269), хотя, по словам Э. Фишер-Йоргенсен, это произошло тогда, когда теория глоссематики в основном была уже разработана [43].

Философия логического позитивизма оказала дополнительное воздействие на утверждение в глоссематике восходящего к Соссюру понимания языковой структуры как сети чистых отношений. Ельмслев писал об этом: «В одной из своих более ранних работ [44] профессор Карнап определил понятие структуры совершенно так же, как я попытался сделать это здесь, т.е. как явление чистой формы и чистых соотношений. По профессору Карнапу, ...каждое научное утверждение должно быть утверждением о соотношениях, не предполагающим знания или описания самих элементов, входящих в соотношения. Мнение Карнапа вполне подтверждает результаты, достигнутые за последние годы языковедением» [45]. Излагаемая Ельмслевом точка зрения Карнапа является прямым продолжением взглядов неокантианцев и позитивистов начала XX в., отразившихся в учении Соссюра.

[40] Ср. «Современная буржуазная философия», стр. 31.

[41] Ср.: Платон, Соч., III, кн. 1, М., 1971, стр. 34—36 («Филеб», 29—31); комментарий А. Ф. Лосева к «Филебу», там же, стр. 563, 571, 572. Ср. также учение Платона об образовании всех четырех первоэлементов мира из одинаковых идеальных треугольников, по-разному соединяемых (там же, стр. 494—499, «Тимей», 53—56). Близость философии структурализма с идеализмом Платона отмечалась неоднократно; см.: В. И. Свидерский, О диалектике элементов и структуры в объективном мире и в познании, М., 1962, стр. 138; B. Trnka, Hjelmslevova teorie jazykové analýzy, «Casopis pro moderní filologii», Praha, 1967, 1, стр. 26, и др.

[42] См.: Л. Ельмслев, Метод структурного анализа в лингвистике, стр. 53—54.

[43] E. Fischer-Jørgensen, Form and substance in glossematics, стр. 4.

[44] Вероятно, имеется в виду работа Р. Карнапа «Логическая структура мира» («Der logische Aufbau der Welt», Berlin — Schlachtensee, 1928), в частности, стр. 3—15, 21.

[45] Л. Ельмслев, Метод структурного анализа в лингвистике, стр. 53—54.

Но влияние философии логического позитивизма проявилось не столько в глоссематическом понимании структуры языка, сколько в принципах построения самой глоссематической теории и в трактовке познавательной роли языка.

Глоссематика была задумана Ельмслевом и Ульдаллем как всеобщая теория языка, приложимая к любому конкретному языку, существующему в действительности или только возможному (стр. 276—277). Однако никакая всеобщая теория языка, претендующая на предсказание «любого возможного текста на любом языке», не может быть гарантирована от того, что в каком-нибудь языке обнаружатся структурные особенности, не предусмотренные ею или же противоречащие ей. В этих условиях Ельмслев и Ульдалль с целью сохранения желаемой целостности и устойчивости своей теории сочли наиболее удобным объявить ее независимой от конкретных данных языкового опыта.

«Теория в нашем смысле,— пишет Ельмслев,— сама по себе независима от опыта. Сама по себе она ничего не говорит ни о возможности ее применения, ни об отношении к опытным данным. Она не включает постулата о существовании. Она представляет собой то, что было названо чисто дедуктивной системой, в том смысле, что она одна может быть использована для исчисления возможностей, вытекающих из ее предпосылок.

...С другой стороны, теория включает ряд предпосылок, о которых из предшествующего опыта известно, что они удовлетворяют условиям применения к некоторым опытным данным. Эти предпосылки наиболее общи и могут поэтому удовлетворять условиям применения к большому числу экспериментальных данных.

Первый из этих факторов мы назовем **произвольностью** теории, второй — **пригодностью** теории. При создании теории необходимо считаться с обоими факторами, но из сказанного следует, что экспериментальные данные никогда не могут усилить или ослабить теорию, они могут усилить или ослабить только ее пригодность» (стр. 274—275).

Легко заметить, что даваемая Ельмслевом характеристика справедлива лишь по отношению к чисто формальным, строго дедуктивным теориям типа математических или логических. Что же касается теорий предметно-содержательных, специально направленных на освещение определенных конкретных сфер действительности, то их прямая зависимость от освещаемых ими опытных данных не подлежит никакому сомнению. Поэтому постулируемая Ельмслевом свобода его теории по отношению к конкретным данным языка возможна лишь в том случае, если эта теория представляет собой формальное исчисление наиболее общих типов отношений в структуре языка, своеобразную алгебру языковой структуры. Рассматриваемая в таком плане, глоссематическая теория Ельмслева обнаруживает двойственный, не вполне определенный характер. С одной стороны, главной целью и непосредственным содержанием глоссематики является именно разработка исчисления внутриязыковых отношений. «В силу своей пригодности,— писал Ельмслев,— работа над лингвистической теорией всегда эмпирична; в силу своей произвольности она связана с исчислением. Исходя из ряда опытных данных, которые по необходимости являются ограниченными..., лингвист-теоретик строит исчисление всех мыслимых возможностей в определенных рамках. Эти рамки он конструирует произвольно: он открывает некоторые свойства, существующие во всех тех объектах, которые люди соглашаются называть языками, чтобы затем обобщить эти свойства и фиксировать их посредством определения. С этого момента лингвист-теоретик сам предписывает..., к каким объектам его теория может применяться, а к каким нет. Затем он строит для всех объектов, природа которых удовлетворяет определению,

общее исчисление, учитывающее все мыслимые случаи. Исчисление, дедуцируемое из установленного определения независимо от какого-либо опыта, создает инструмент для описания и понимания данного текста и языка, на основе которого этот текст построен» (стр. 277—278). Характеристика специальных понятий и процедур, из которых строится разрабатываемое Ельмслевом исчисление, составляет центральную часть его главной работы о глоссематике. Попытку разработки глоссематической алгебры языка, задуманной и как более общий метод изучения других общественных явлений, представляет собой работа Х. И. Ульдалля «Основы глоссематики». «Эта алгебра,— говорится в указанной работе,— была задумана как способ описания (гуманитарного) материала в виде целостной структуры, состоящей из неколичественных функций, структуры законченной и не нуждающейся в привнесении определений, заимствованных из других наук» [46]. Ульдалль признает известную зависимость своей глоссематической алгебры от символической логики, указывая вместе с тем и на некоторые формальные различия между ними [47]. Но различие между глоссематической алгеброй и символической логикой имеет значительно более глубокий характер, чем это представлено у Ульдалля. Символическая логика строит свои высказывания как всеобщие формы мысли, приложимые к любому конкретному содержанию соответствующей структуры, независимо от его природы, между тем как глоссематическая алгебра представляет собой систему высказываний с определенным конкретным содержанием, касающимся только структуры языка и приравниваемых к нему явлений как объекта изучения. Именно это обстоятельство лишает каких-либо оснований провозглашение лингвистической теории, хотя бы даже изложенной в форме исчисления, независимой от опытных данных языка. Однако глоссематическая теория не сводится однозначно к предлагаемым Ельмслевом и Ульдаллем системам исчисления. Как для обоснования целесообразности предлагаемых исчислений, так и для определения их роли в понимании общественных функций языка Ельмслеву понадобилось сформулировать и более общую теорию, отражающую методологические позиции глоссематики по вопросам, касающимся природы и общественной сущности языка. Требование независимости от данных опыта для этой стороны глоссематической теории ничем не может быть оправдано.

Свойственное глоссематике стремление оторвать лингвистическую теорию от конкретных языковых данных отражает общую тенденцию неокантианской и позитивистской философии к превращению научной теории в имманентную систему положений, не рассчитанных на отражение конкретной природы изучаемых фактов действительности. Предпринятая в этом направлении попытка сведения лингвистической теории к исчислению представляет собой крайнее проявление начатой неокантианцами и продолженной позитивистами ложной «математизации» философии и гуманитарных наук, имеющей своей целью устранение из этих научных областей материалистического начала [48].

Приступая к изложению глоссематической теории, Ельмслев высказывает мнение о том, что «теория во всех ее применениях должна обнаружить результаты, согласующиеся с так называемыми (действительными или предполагаемыми) экспериментальными данными» (стр. 271). Это мнение, находящееся в явном противоречии с рассмотренным выше тре-

[46] Х. И. Ульдалль, Основы глоссематики, стр. 414.
[47] Там же, стр. 414—415.
[48] Ср. «Современная буржуазная философия», стр. 31—32, 41, 45—46, 69, 72, 97—98 и др.

бованием независимости глоссематической теории от опыта, является всего лишь последней данью методологической традиции, восходящей к раннему позитивизму. Однако положение о необходимости согласования теории с фактическими данными Ельмслев сразу же практически заменяет тремя методологическими принципами внутритеоретического характера, которые он, как и Ульдалль, считает необходимым при построении теории поставить «во главу всех остальных»: требованиями непротиворечивости, исчерпывающего описания (полноты) и предельной простоты (стр. 272). Следует подчеркнуть, что принцип исчерпывающего описания касается не описываемого объекта во всей его целостности, а только операций в процедуре анализа: «К а ж д а я о п е р а ц и я, в х о д я щ а я в п р о ц е д у р у, д о л ж н а п р о д о л ж а т ь с я и л и п о в т о р я т ь с я д о т е х п о р, п о к а о п и с а н и е н е с т а н е т и с ч е р п ы в а ю щ и м; э т а о п е р а ц и я н а к а ж д о й с т у п е н и д о л ж н а в е с т и к в ы я в л е н и ю н а и м е н ь ш е г о ч и с л а о б ъ е к т о в» (стр. 319; ср. также стр. 352—353). Отдав предпочтение этим трем методологическим принципам имманентно-теоретического плана, занимающим важное место в методологии логического позитивизма, и устранив, по существу, из оснований своей теории принцип зависимости теории от фактических данных, Ельмслев и Ульдалль поставили свою теорию на почву идеализма.

Произведенную таким образом методологическую перестройку устоявшихся принципов построения теории Ельмслев и Ульдалль завершают своеобразным терминологическим оформлением: совокупность принятых ими методологических требований, по существу не имеющих ничего общего с объективным учетом эмпирических данных, они называют «принципом эмпиризма». Странность этого названия вызвала справедливые замечания целого ряда лингвистов, в том числе и непосредственно примыкающих к глоссематике [49]. Сам Ельмслев предлагал это название с некоторыми оговорками и выражал готовность заменить его, «если эпистемологические исследования покажут его неприемлемость». Но название было сохранено, и для этого у глоссематиков имелись определенные основания. Главное из них заключается в том, что Ельмслев, по словам Э. Фишер-Йоргенсен, «отдает предпочтение этому формалистическому определению „эмпирического", чтобы избежать таких метафизических идей, как „истина" и „реальность"» [50]. Таким образом, Ельмслев и Ульдалль в данном отношении до конца удержались на позициях позитивизма, и в частности эмпириокритицизма, прикрывавших эмпирической терминологией свою идеалистическую сущность.

Несостоятельность глоссематического «принципа эмпиризма» отмечали даже представители логического позитивизма [51]. Наиболее слабой стороной этого общего «принципа» является принцип предельной простоты описания. Известно, что в истории развития науки принцип простоты фигурирует уже давно и понимается самым различным образом, однако решающей роли при выработке или принятии новых теорий он никогда не играл [52]. Между тем, Ульдалль делает простоту главным критерием для оценки тео-

---

[49] См.: E. F i s c h e r - J ø r g e n s e n, [рец. на кн.:] L. H j e l m s l e v, Omkring sprogteoriens grundlaeggelse, стр. 84; А. М а р т и н е, указ. соч., стр. 441; B. S i e r t s e m a, указ. соч., стр. 37, и др.

[50] E. F i s c h e r - J ø r g e n s e n, Danish linguistic activity 1940—48, «Lingua», II, 1, 1949, стр. 99.

[51] См., в частности, критические замечания в адрес этого принципа, высказанные датским логиком О. Т. Расмуссеном (B. S i e r t s e m a, указ. соч., стр. 234).

[52] См.: Е. А. М а м ч у р, Проблема выбора теории, М., 1975, стр. 117—167.

рии. «Из простоты,— пишет он,— могут быть выведены все остальные научные идеалы: объективность, последовательность, полнота» [53].

Четких определений того, что следует понимать под простотой описания, в работах Ельмслева и Ульдалля не дается, однако главным показателем простоты результатов описания они считают возможно меньшее количество элементарных единиц, к которым сводится описание языковой системы [54]. Один из наиболее последовательных сторонников глоссематики Х. Спанг-Хансен в специальной статье, посвященной принципу простоты, был вынужден признать: «Если очень трудно, как теоретически, так и практически, решить, в какой степени описание языковых текстов является непротиворечивым и исчерпывающим, то решение о том, какая из нескольких процедур является простейшей, вызывает специальные проблемы. Такое решение должно предполагать... объективный критерий для определения того, что такое простота» [55]. Э. Фишер-Йоргенсен отмечает, что требование максимальной простоты в глоссематике неосуществимо в принципе, так как увеличение простоты в описании языковой системы неизбежно вызывает увеличение сложности в описании текста [56]. Сам Ульдалль признает, что глоссематическое описание отдельного языка никогда не может быть предельно простым с точки зрения данного языка, поскольку дескриптивный аппарат глоссематики рассчитан на наиболее высокую степень сложности, которую только можно предположить в языках [57]. Теоретическая и практическая невозможность последовательного применения принципа простоты к построению общелингвистической теории, не говоря уже о неопределенности самого его содержания, существенным образом дискредитирует глоссематику, в основания которой этот принцип ложится.

Неудачная попытка включения принципа простоты в число трех основных принципов глоссематической теории восходит непосредственно к философии махизма. Простоту научного знания Э. Мах отождествлял с «экономией мышления», которой он отводил решающую роль в процессе познания. Тождественность глоссематического понятия простоты описания понятию «экономии мышления» осознается и зарубежными лингвистами, касающимися этого вопроса. В частности, Ч. Э. Базелл употребляет термин «экономия» в том самом смысле, в котором Ельмслев и Ульдалль употребляют термин «простота». Базелл пишет: «Если критерий коммутации или неизбыточности связан с принципом экономии *инвентаря*, критерий произвольности связан с принципом экономии *объяснения*. Можно, конечно, согласиться, что последний принцип более важен. Если ограничение инвентаря затрудняет объяснение фактов языка, оно более чем бесполезно» [58]. Так схоластическая методология позитивизма, рассчитанная на подкрепление идеалистических установок, вступает в непримиримое противоречие с объективными потребностями развития науки.

---

[53] Х. И. Ульдалль, Основы глоссематики, стр. 416. Правда, сразу же после этого Ульдалль, в согласии с Ельмслевом, ставит простоту в подчинение полноте (исчерпывающему описанию), а полноту — последовательности (непротиворечивости) (там же, стр. 417).

[54] Х. И. Ульдалль. Основы глоссематики, стр. 419.

[55] H. Spang-Hanssen, On the simplicity of description, «Recherches structurales» (TCLC, V), 1949, стр. 61.

[56] E. Fischer-Jørgensen, Remarques sur les principes de l'analyse phonémique, «Recherches structurales», 1949, стр. 225.

[57] Х. И. Ульдалль, Основы глоссематики, стр. 420.

[58] C. E. Bazell, The choice of criteria in structural linguistics, «Linguistics today», ed. by A. Martinet, New York, 1954, стр. 15.

Значительное место в глоссематике занимает проблема объективного статуса языка. С нее начинается работа Ельмслева «Пролегомены к теории языка» и определенным ответом на поставленный в ее начале вопрос эта же работа заканчивается.

Сама постановка вопроса об объективной сущности языка у Ельмслева отличается некоторой предвзятостью. «Язык,— пишет Ельмслев,— настолько глубоко пустил корни в личность, семью, нацию, человечество и саму жизнь, что мы иногда не можем удержаться от вопроса, не является ли язык не просто отражением явлений, но их воплощением — тем семенем, из которого они выросли!» (стр. 264—265). Заключающаяся в этом вопросе мысль через несколько страниц формулируется уже в виде одного из программных положений глоссематической теории: «Лингвистическая теория...,— пишет Ельмслев,— должна искать **постоянное**, не связанное с какой-либо внеязыковой „реальностью", то постоянное, что делает язык языком, каким бы он ни был, и что отождествляет любой конкретный язык с самим собой во всех его различных проявлениях. Когда это постоянное найдено и описано, оно может быть спроецировано на „реальность" вне языка, какого бы рода ни была эта „реальность" (физическая, физиологическая, психологическая, логическая, онтологическая), так что даже при рассмотрении „реальности" язык остается главным объектом, и не конгломератом, но организованным целым с языковой структурой как ведущим принципом» (стр. 269).

Одним из главных средств, рассчитанных Ельмслевом на растворение действительности в языке, является своеобразное толкование в глоссематике понятия знака. Ельмслев отрицает традиционное понимание знака как «знака для чего-то» и, ссылаясь на Ф. де Соссюра и Л. Вейсгербера, отстаивает понимание знака как единицы, основанной на знаковой функции, т. е. отношении солидарности между формой выражения и формой содержания (стр. 305—306). Поскольку и форма выражения и форма содержания понимаются как чисто языковые сущности, не зависящие от каких-либо других сущностей и наличествующие только в силу наличия знаковой функции (т. е. отношения), знак в таком смысле полностью освобождается от роли репрезентатора элементов внеязыковой действительности. Таким образом, содержание знака, основанное на обозначении объективных явлений действительности и их отражений в сознании носителей языка, Ельмслев пытается представить в качестве имманентного свойства самой языковой структуры, не зависящего от обозначаемой действительности. Поскольку знаковость составляет основу специфики языка, тем самым делается решительная, хотя и совершенно несостоятельная, попытка поставить язык в независимое положение по отношению к внеязыковой действительности.

Последний шаг в направлении подчинения действительности языку Ельмслев делает в конечной части своей книги. Здесь он выдвигает подготовленное уже в предыдущем изложении утверждение о необходимости считать объектом исследования лингвистики не только естественный язык, но и любую семиотику, аналогичную языку по выдвинутым Ельмслевом наиболее общим признакам, нисколько не определяющим действительной специфики языка (стр. 361—362). Из других знаковых систем, которые в этом отношении должны быть приравнены к языку, Ельмслев называет народные обычаи, искусство и литературу. Что касается остальных сфер действительности, то их предлагается рассматривать на уровне метасемиологии в качестве подчиненного языковой форме материала языковой субстанции — в плане содержания или в плане выражения, причем в единицах содержания не делается никакого различия между психическими образованиями, отражающими физические объекты, и самими физическими

объектами [59]. «Таким образом,— пишет Ельмслев,— все те сущности, которые на первых этапах при рассмотрении схемы объекта семиотики временно должны были быть исключены как нессмиотические элементы, вводятся вновь в качестве необходимых компонентов семиотических структур высшего порядка. Соответственно мы не находим песемиотик, которые не были бы компонентами семиотик, и на конечном этапе не остается объектов, не освещенных с основной позиции лингвистической теории. Семиотическая структура предстает в качестве такой позиции, с которой могут быть рассмотрены все научные объекты» (стр. 380). На этом идеалистическая процедура завершается: в основу всей материальной действительности кладется языковая форма, понимаемая как система чистых, т. е. идеальных отношений.

При всей очевидности идеалистической ориентации глоссематики Ельмслев прибегает к избитому маневру, пытаясь создать видимость, будто его теорию такие философские вопросы не интересуют (стр. 377—378). Так еще раз используется давно устаревший прием позитивистов, упорно провозглашающих свою в большинстве случаев идеалистическую методологию стоящей якобы в стороне от коренных философских различий.

Таким образом, идеалистическое истолкование взаимоотношений языка и действительности составляет главную общетеоретическую цель основной работы Ельмслева. Именно этой цели подчинены определяющие аспекты содержания работы, и именно таким подчинением идеалистической общефилософской установке объясняется большинство коренных недостатков и противоречий глоссематической теории, дискредитирующих даже те из заложенных в нее идей, которые в другой связи могли бы быть признаны перспективными. Одно из самых существенных отличий идеализма от материализма как раз и заключается в том, что при построении широких научных теорий общеметодологического характера последовательная ориентация на идеализм ведет к извращенному представлению фактов и к пустому расточительству научных сил на создание ложных теорий, между тем как последовательная ориентация на материализм ведет к все более глубокому раскрытию объективно-научных закономерностей изучаемых явлений.

Пропаганда идеализма путем подчинения объективной действительности идеалистически понимаемому языку связана у Ельмслева с соответствующими взглядами логических позитивистов. В частности, понимание языка (в более узком смысле языка логики) как первичной системы по отношению к системе мира является одной из определяющих идей «Логико-философского трактата» Л. Витгенштейна [60]. В своей новой работе «Философские исследования» Витгенштейн решительно опроверг те мысли, которые обосновывались в «Логико-философском трактате». Мысли, изложенные в работе Ельмслева, как и в аналогичных по своему направлению работах других структуралистов, опровергаются самим ходом поступательного развития науки о языке. Как передовой отряд европейского структурализма глоссематика зашла в глубокий тупик, ставший очередным идеалистическим тупиком на длинном всемирноисторическом пути развития науки.

---

[59] Аналогичная точка зрения, совпадающая с отмеченными выше идеалистическими взглядами неокантианцев и восходящая через все этапы развития идеализма к философии Парменида, проводится и в работе Ельмслева «Язык» (L. Hjelmslev, Language. An introduction, Madison — London, 1970, стр. 120).

[60] Ср.: М. С. Козлова, Философия и язык, М., 1972, стр. 128—131.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1976

Ж. Ж. ВАРБОТ

ВАРИАНТНОСТЬ СУФФИКСАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ В ОДНОКОРЕННЫХ СЛАВЯНСКИХ ИМЕНАХ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРАСЛАВЯНСКОГО ЛЕКСИЧЕСКОГО ФОНДА

В практике этимологических исследований всегда ценилась и максимально использовалась возможность анализа вариантных форм лексемы, в частности форм, различающихся вариантами суффиксальной структуры. При этом вариантность как показатель древней членимости служит обычно отправной точкой для поисков производящей основы и первичной мотивации искомой изначальной формы, но далеко не всегда получает истолкование соотношение самих вариантных суффиксальных структур, как, впрочем, и вариантных форм корня [1]. Для этимологического анализа конкретной лексемы по существу даже не имеет принципиального значения разграничение собственно вариантности суффиксальной структуры, предполагающей исходное генетическое единство в одной лексеме, и корреляции в однокоренных образованиях различных суффиксальных элементов. Это разграничение и анализ собственно вариантности суффиксальной структуры в однокоренных именах становятся, однако, необходимыми при постановке вопроса о реконструкции лексики на праязыковом уровне.

Реконструкция праславянского лексического фонда требует в каждом конкретном случае реконструкции суффиксальной праславянской лексемы, во-первых, определения круга тех различий в суффиксальной структуре однокоренных славянских имен, которые могут быть признаны вариантными и объединены в одной словарной статье, и, во-вторых, истолкования хронологических и генетических отношений между этими вариантами (наличие более поздних вариантов и пути их возникновения на базе более ранних, принадлежность поздних вариантов к праславянскому состоянию или истории отдельных славянских языков, параллелизм вариантов и его хронология), что находит отражение и в реконструкции праславянской формы. Соответственно для решения задач реконструкции праславянского словаря представляется актуальным определение структурных и генетических типов вариантности суффиксальной структуры в однокоренных славянских именах.

Редакторы двух новых славянских этимологических словарей [2], ставящих перед собой в качестве одной из задач реконструкцию праславянского лексического фонда, О. Н. Трубачев и Ф. Славский неоднократно подчеркивали, что решение этой задачи выдвигает на первый план проб-

---

[1] Относительно последнего типа вариантности см.: Ж. Ж. Варбот, О возможностях диахронического истолкования морфонологической вариантности в славянских отглагольных именах, сб. «Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов. Варшава, август 1973», М., 1973.

[2] «Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд», под ред. О. Н. Трубачева, 1—М., 1974; 2 — М., 1975; «Słownik prasłowiański», pod redakcją Fr. Sławskiego, I, Wrocław — Warszawa — Kraków — Gdańsk, 1974.

лемы праславянского словообразования [3]. С другой стороны, нельзя не согласиться с теми же авторами, что именно реконструкция праславянского словарного фонда является важнейшей базой и импульсом для изучения праславянского словообразования [4]. Можно думать, что реконструкция праславянской лексики в ее целостности выявит новые вопросы словообразовательного порядка и новые аспекты известных словообразовательных проблем. Одной из таких проблем является вариантность суффиксальной структуры в однокоренных именах.

В исследованиях по славянскому историческому словообразованию при описании отдельных суффиксальных моделей образования имен иногда ставится вопрос о вариантах суффиксов. Из фундаментальных трудов по историческому словообразованию в этом отношении наиболее существенны работы Вондрака [5] и Мейе [6]. Анализ вариантов суффикса подчинен выяснению истории словообразовательной модели, и вопрос о вариантности ставится обычно лишь при наличии значительного количества соответствующих случаев. Однокоренные имена с различными вариантами одного суффикса, составляющие очень небольшую долю материала для каждого словообразовательного типа, редко привлекают внимание авторов. Разумеется, истолкование соотношения подобных однокоренных имен при реконструкции праславянской формы может опираться на полученные при описании соответствующей модели данные. Но в однокоренных именах в виде немногих реликтов могут сохраниться древнейшие типы вариантности суффиксов или недолговечные, не получившие развития типы, ускользающие от внимания при исследовании модели именно вследствие малочисленности фактов или этимологической неясности имен. Этимологизация славянской лексики с ориентацией на реконструкцию праславянского лексического фонда подводит, как уже было сказано выше, к проблеме суффиксальной вариантности именно с позиции однокоренных имен. В этом отношении знаменательно, что в очерке праславянского словообразования, составленном Ф. Славским и предпосланном корпусу словарных статей в первом томе «Праславянского словаря» [7], последовательно отмечается наличие однокоренных имен со структурно близкими суффиксами. Можно также напомнить, что в истории изучения индоевропейского словообразования огромную роль сыграло накопление в индоевропейской этимологии материалов относительно вариантности сонантных суффиксов в однокоренных именах, что послужило базой для реконструкции древнейшей, гетероклитической системы словообразования и словоизменения. Рассмотрение вопросов вариантности суффиксов на материале однокоренных имен имеет также преимущества в функциональном отождествлении формантов и в определении направления их изменений.

Вариантность суффиксальной структуры в однокоренных именах не исчерпывается, однако, вариантностью суффиксов: последняя — лишь один тип вариантности суффиксальной структуры, который не может объяснить всех ее случаев. Значительная роль в появлении вариантности

[3] F. Sławski, Stan i zadania słowotwórstwa prasłowiańskiego, BPTJ, XXI, 1962, стр. 161—169; его же; Z zagadnień rekonstrukcji słowotwórstwa prasłowiańskiego, «Z polskich studiów slawistycznych», Seria 3 — Językoznawstwo, Warszawa, 1968, стр. 35—41; «Этимологический словарь славянских языков. Проспект. Пробные статьи», сост. О. Н. Трубачевым, М., 1963, стр. 5—6, 25—27.

[4] Там же, стр. 36; F. Sławski, Z zagadnień rekonstrukcji..., стр. 37.

[5] W. Vondrák, Vergleichende slavische Grammatik, I — Lautlehre und Stammbildungslehre, Göttingen, 1906.

[6] A. Meillet, Études sur l'étymologie et le vocabulaire du vieux slave, II, Paris, 1905.

[7] «Słownik prasłowiański», I, стр. 43—141.

суффиксальной структуры принадлежит, например, разновременным структурным изменениям, из которых наиболее известна вторичная тематизация. В ходе обсуждения вопросов славянского словообразования при подготовке к IV Международному съезду славистов Докулилом и Кухаржем была высказана мысль, что в круг задач науки о словообразовании должно входить изучение функционирования в языке словообразовательной структуры отдельных производных слов, их связей на базе этой структуры с другими словами [8]. Одним из следствий и показателей этих связей является как раз изменение изначальной структуры слов, отражающееся в вариантности суффиксальной структуры однокоренных лексем. По этим преобразованиям можно судить об изменении отдельных словообразовательных моделей и самих принципов суффиксального словообразования на протяжении истории славянских языков, о сохранении и утрате словообразовательных связей между отдельными словами. Описание преобразований должно, разумеется, для полноты картины учитывать результаты этимологических исследований, реконструирующих древние словообразовательные связи и структуры. Что же касается значения исследования этих преобразований для этимологии, то, помимо определения древнейшей формы слова, этимологию интересуют и поздние варианты: как сформулировал это соотношение Шустер-Шевц, исследователь должен не только ставить вопрос о том, откуда появилось слово, но и стремиться выяснить, в каком направлении оно развивалось [9].

Для исследования вариантности суффиксальной структуры в однокоренных славянских именах необходимо предварительное рабочее определение этого явления. Представляется, что это определение должно опираться на известные закономерности славянского словообразования и содержать ограничения как в плане содержания, так и в плане выражения, но вряд ли следует стремиться к детализации определения, которая может привести к выпадению из поля зрения спорных случаев и должна быть скорее итогом рассмотрения более или менее значительного материала.

Очевидно, что в плане содержания вариантность суффиксальной структуры должна характеризоваться тождеством функций. Вариантными могут быть признаны лишь суффиксальные структуры с тождественным словообразовательным значением. В определении вариантности с точки зрения формы, плана выражения должен учитываться исторический характер этого явления, неизбежная изменчивость материального содержания вариантности на разных хронологических уровнях. Для формулировки определения вариантности в славянских языках (с ориентацией на выяснение возможностей вариантности в праславянском языке) существенны две характеристики славянского суффиксального именного словообразования: неактуальность гетероклитического типа и главенствующая роль консонантных элементов (согласных и сонантов). Соответственно основным формальным признаком вариантности суффиксальных структур представляется генетическое материальное тождество хотя бы одного консонантного элемента. При этом в понятие генетического материального тождества включаются возможности чередований (как для гласных, так и согласных). Поскольку, далее, и в праиндоевропейском, и в праславянском был возможен исконный параллелизм в образовании однокоренных

[8] M. Dokulil, J. Kuchař, [Ответ на] вопрос № 17: Каковы пути развития отыменного глагольного и отглагольного именного словообразования в славянских языках?, «Сборник ответов на вопросы по языкознанию (к IV Международному съезду славистов)», М., 1958, стр. 123.

[9] H. Schuster-Sewc, Standort und Problematik der etymologischen Forschung (dargestellt am Material slawischer Sprachen), сб. «Probleme der strukturellen Grammatik und Semantik», Leipzig, 1968, стр. 236 (примеч. 24).

имен с разными основообразующими элементами [10], для признания отношений вариантности между однокоренными именами не обязательна их принадлежность к одному парадигматическому классу имен [11], хотя, разумеется, при тождественности парадигматической характеристики вариантность суффиксальной структуры имен выступает особенно отчетливо.

Описание случаев вариантности может опираться на структурные признаки (например, непосредственное соединение консонантного суффикса с корнем/наличие гласного между корнем и тем же консонантным суффиксом) и на генетические характеристики (вариантность как следствие преобразования изначальной структуры, вариантность на праславянском уровне при отсутствии хронологической противопоставленности вариантов и т. д.). Хотя генетические характеристики исходят из структурных признаков, выделение структурных типов также должно считаться с возможными генетическими связями отдельных структурных элементов. Чисто формально определенный структурный тип оказывается нередко генетически неоднородным. Тем не менее, выделение структурных типов вариантности имеет и самостоятельную ценность, так как дает набор моделей, с которыми может быть сопоставлен каждый случай, что облегчает его генетическую оценку. Кроме того, как уже было сказано выше, выделение подобных типов необходимо для истории славянского словообразования как самое непосредственное свидетельство связи отдельных словообразовательных элементов и целых структур на различных этапах развития языка.

Предлагаемое ниже краткое описание типов вариантности суффиксальной структуры в однокоренных славянских именах содержит некоторые обобщения имеющихся исследований и конкретного материала. Описание построено на основе прежде всего генетических характеристик, которые дополняются определением наиболее ярких структурных типов и признаков и иллюстрируются материалом.

Довольно определенным и наиболее широко представленным генетическим типом вариантности суффиксальной структуры является вариантность как следствие собственно морфологического преобразования лексемы. Суффиксальная структура одного варианта может быть объяснена как результат преобразования изначальной структуры, сохраненной в другом члене вариантности [12], под аналогическим воздействием родственных, семантически или структурно близких образований. Механизм преобразования составляют обычно процессы замещения (замены одной морфемы другой) [13] и переразложения; иногда они совмещаются в преобразовании одной лексемы. Формальным признаком этого типа вариантности часто является наличие в преобразованном варианте отклонений от фонетических, морфологических или семантических закономерностей той словообразовательной модели, к которой он принадлежит вследствие преобразования структуры.

Преобразование может непосредственно касаться производящей основы или суффикса, но возможно одновременное преобразование обоих компонентов. Преобразование производящей основы (или корня) состоит в за-

[10] См.: С. Б. Бернштейн, Очерк сравнительной грамматики славянских языков. Чередования. Именные основы, М., 1974, стр. 141.

[11] Ср. истолкование различных в парадигматическом плане имен как вариантов в случае **bi̯ьсь/*bi̯ьса* и др. в «Этимологическом словаре славянских языков» (данный случай — вып. 2, стр. 96; далее — ЭС) и «Праславянском словаре» (данный случай — том I, стр. 249; далее — ПС).

[12] Разумеется, противопоставление именно двух вариантов условно; число их может быть больше, но отношения преобразования связывают их попарно.

[13] Термин «замещение» для обозначения замены одной морфемы другой предложен Н. М. Шанским, см.: «Очерки по русскому словообразованию», М., 1968, стр. 244.

мене этимологической основы (или корня) родственной основой (или корнем) другой структуры, что изменяет структуру имени в целом. Так, серб.-хорв. диал. *mitilo* "щелок" Скок считал образованием от причастия на *-to*[14], но среди славянских имен с суффиксом *-dlo* нет подобных структур. Рассмотрение этого слова в сопоставлении с серб.-хорв. *milo* (праслав. **mydlo*) как его варианта позволяет понять структуру *mitilo* как результат замещения корня словоформой инфинитива *miti* [15]. Структура белорусск. диал. *мыцьво* "белье" [16] представляет необычное соединение суффикса *(-ь)vo* с основой на *-t-*. Сравнение с др.-русск. *мытва* "мытье" дает возможность истолковать белорусский диалектизм как преобразование праслав. **mytva*/**mytvo* по аналогии с формой современного белорусского инфинитива (переразложение с последующим замещением). Русск. рязан. *ломачкий* "ломкий" является редким случаем соединения суффикса прилагательного *-(ъ)k-* с суффиксальной именной основой (ср. русск. диал. *ломашник* "хворост"). Очевидно, эта структура является вторичным преобразованием праслав. **lomъkъjь* (русск. *ломкий*).

В ряде случаев словообразовательная структура всех вариантов возможна как самостоятельное образование и лишь сопоставление вариантов обнаруживает преобразованный характер одного из них. Например, серб.-хорв. *žnjetva* "жатва" могло бы быть собственно сербохорватским производным от инфинитива *žnjeti*, но наличие праслав. **žętva* определяет истолкование *žnjetva* как результата преобразования праславянского имени путем замещения корня современной сербской формой корня инфинитива. Из приведенных случаев следует особенно отметить серб.-хорв. *mitilo*, белорусск. *мыцьво* и сербохорв. *žnjetva*: они свидетельствуют об активной словообразовательной роли в современных славянских языках инфинитивов, основы (корни) и даже словоформы которых замещают этимологические основы старых образований.

Очень широко распространено преобразование суффиксальной части, которое также может обнаруживаться некоторыми фонетическими, морфологическими или семантическими отклонениями от новой модели. Так, в укр. *течíй* "ручей" и *товчíй* "человек, толкущий на ступе", *товчíя* "снаряд для толчения дубовой коры (у кожевников)" фонетически не оправдана форма суффикса *-íй*, *-íя* < **-ějь*, **-ěja*: после *č* еще на праславянской почве происходило изменение **-ějь*, *-ěja* > *-ajь*, *-aja*; ср. серб.-хорв. *tèčaj*, словен. *tolčaj*. Очевидно, произошло преобразование старых **tečajь*, **tъlčajь* путем подстановки другого варианта (генетически исходного) суффикса. Русск. диал. *позыватый* "зовущий кого-либо куда-то" представляет хорошо известный тип преобразования в субстантивированное прилагательное на *-атый* старого существительного с суффиксом *-(a)tajь*: ср. др.-русск. *зъватаи*. От исконных образований на *-атый* имена типа *позыватый* (*хожатый*, *провожатый* и т. д.) отличаются отсутствием качественного элемента значения.

В большинстве случаев преобразованный характер одного из вариантов определяется путем их сопоставления. Русск. *плутиво* "поплавок" могло бы трактоваться как производное на *-ivo* от именной основы с суффиксом *-t-*, но на фоне группы словен. *plûtva* "плот", словац. *plutva* "плавник", чеш. *ploutev* "плавник" русское слово представляется скорее результатом замены элемента *-va* в суффиксе *-tva* на *-ivo*. Аналогичные отношения преобразования можно предполагать для пары праслав. **ěstvo*/**ěstva*

[14] P. S k o k, Etimologijski rjecnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, kn. II, Zagreb, 1972, стр. 434 (далее — Skok).

[15] Ср. аналогичные отношения серб.-хорв. *kupalo* — *kupatilo* «купальня».

[16] Т. Ф. С ц я ш к о в і ч, Матэрыялы да слоўніка Гродзенскай вобласці, Мінск, 1972, стр. 293 (далее — Сцяшковіч).

(серб.-хорв. *jestvo* "пища", словен. *jêstva*, русск. диал. *éство, ествá*) и **ěstivo* (серб.-хорв. *jestivo*, словен. *jestívo*, укр. *їстиво*) [17].

Особым случаем преобразования путем переразложения и замещения является изменение непроизводной уже на праславянском уровне основы, содержащей индоевропейское расширение, в производную суффиксальную основу. Такое преобразование можно предполагать в соотношении вариантных имен со значением "трещина": чеш. *šklaba*, морав. *škałbina*, ляш. *škol'ba*, словац. *sklabina*, *šklabina*, *škalubina*, укр. *скалуба*, *скалубина*, в.-луж. *ška'ba*, *škaloba*, словен. *škalba*. Эта группа (за исключением словен. *škalba*) была рассмотрена Махеком, который реконструировал как исходное **skalьba* (от корня **skel-*) [18]. Возможно, к **skalьba* восходят некоторые из этих образований: словен. *škalba*, ляш. *škol'ba*. Но из **skalьba* трудно объяснить чеш. *šklaba*, словац. *sklabina*, велярное *ł* в морав. *škałbina* и в.-луж. *ška'ba*. Скорее исходным было непроизводное на праславянском уровне **skolba*, родственное **skolbiti sę* "смеяться" и **kolbъ* (русск. *колоб*) и восходящее к и.-е. **skel-* с расширением *b*. Непосредственными продолжениями **skolba* являются чеш. *šklaba*, словац. *sklabina*. Морав. *škałbina* — следствие метатезы в связи с осмыслением слова как производного от *skal-* с суффиксом *-ba*. В.-луж. *ška'(o)ba* может быть понято как преобразование закономерного **skloba* в производное от *skal-*, с суффиксами *-ba*, *-oba*. Укр. *скалуба* отражает, вероятно, сходное преобразование закономерного **сколоба* (ср. карп. *засколобити* "занозить").

Приведенные случаи преобразования могут рассматриваться как показатель архаичности одних словообразовательных средств и актуальности других, при помощи которых происходит обновление суффиксальной структуры слова. В этом смысле интересна замена варианта *-'ajь* вариантом *-ějь*. Очевидно, несмотря на явный перевес образований на *-'ajь* среди сохранившихся имен с этим суффиксом, вариант *-ějь* был актуальным словообразовательным формантом в течение длительного времени.

В большинстве рассмотренных случаев преобразование относится к периоду самостоятельного развития отдельных славянских языков. Однако, например, возникновение *ěstivo* как варианта **ěstvo* может быть отнесено к праславянскому периоду и соответственно возможна реконструкция **ěstvo/*ěstivo* как вариантов праславянской лексемы (хотя и хронологически различных вариантов). Очевидно, могут быть обнаружены случаи подобного преобразования на праславянском уровне старых индоевропейских суффиксальных структур.

Другой широко распространенный генетический и одновременно структурный тип вариантности суффиксальной структуры — это вариантность как следствие присоединения дополнительного суффиксального элемента, не изменяющего словообразовательного значения. Особенно часто в роли такого присоединенного элемента встречается *-j-*. В этом случае развитие сочетания [согласный +*j*] приводит к тому, что *j* как бы растворяется в структуре слова, меняя лишь его парадигматическую характеристику. Поэтому представляется необоснованным разделение таких структур как самостоятельных независимых лексем на праславянском уровне: речь должна идти о вариантах. Например: **baxorъ/*baxor'ь* (серб.-хорв. *bȁhor* "живот", чеш. *bachor* "передний желудок у жвачных; брюхо", польск.

---

[17] Миклошич видел в серб.-хорв. *jèstivo* суффикс *-tivo*: F. Miklosich, Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen, Amsterdam, 1970 (воспроизведение издания Wien, 1886), стр. 352 (*tentiva*; далее — Miklosich), а Скок считал *jèstivo* производным с суффиксом *-iv-* от супина (Skok I, стр. 777).

[18] V. Machek, Etymologický slovník jazyka českého. Druhé, opravené a doplněné vydání, Praha, 1968, стр. 611—612. Словац. *šklabina* включено также как родственное в статью *šklebiti se* (стр. 612).

диал. *bachór* "большой живот" и т. д.: ст.-чеш. *bachoř* "прямая кишка", польск. диал. *bachórz* "брюхо", см. ПС I, стр. 181), **krosna/*krosn'a* (ПС I, стр. 82). Такому вторичному развитию чаще всего подвергаются имена с суффиксом *-(a)k-*: ср. польск. *czesak* "валик в чесальной машине", чеш. *česák* "чесальщик", словац. диал. *česák* "скребница" и т. д.: чеш. *česač*, словац. *česáč* "чесальщик"; серб.-хорв. *drȁka* "терн", польск. диал. *draka* "драка", русск. *дpака* и т. д.: серб.-хорв. *drȁča* "колючий кустарник", польск. *dracza* "драка", русск. урал. *дpáча* "драка" и т. д.; чеш. *čerpák*, словац. *črpák*, польск. *czerpak*, русск. *черпак* и т. д.: польск. *czerpacz*. От вариантных имен этого типа могут быть далее образованы имена с одним и тем же суффиксом, которые также могут рассматриваться как варианты по отношению друг к другу: ср. русск. *болячка* и диал. *болятка* (которые образованы соответственно от йотированной и нейотированной основы действительного причастия настоящего времени).

В функции таких суффиксальных оформителей, не вносящих нового значения, могут выступать многие суффиксы. Представляется правомерным рассмотрение расширенной структуры как более позднего варианта исходной. Для имен существительных известными «распространителями» этого рода являются суффиксы с консонантными элементами *k* (и его производными) [19] и *n* (ПС I, стр. 116, 136). Ср. **bergul'a/*bergulica* (по отдельным славянским языкам названия ласточки, стрижа, трясогузки, ЭС 1, стр. 191); **blizna/*bliznica* "сталь" (ПС I, стр. 264); **molь* и серб.-хорв. *mȏljac*, *mȏljak* "моль"; серб.-хорв. *nápit* и *napȉtak*, русск. *напитокъ* и т. д.; **stьga* и **stьgna* (ПС I, стр. 116). В этой роли встречаются также суффиксы *-vo* (ср. **delbto* и словен. *dlétvo*; русск. диал. *лево* и *левво* "лезвие"), *-dlo* (ср. русск. *логово* и полесск. *логовило*), *-ajь* (ср. словен. *prišč* и *príščaj*) и некот. др. Для имен прилагательных наиболее распространенными суффиксальными оформителями также являются суффиксы с опорными *k(-ъk-)* [20] и *n* (*-ьn-*): ср. **mělъjь* (укр. *мiлко* "мелко", польск. *miały*, *miały*) и **mělъkъjь*; **plytъjь* (помор. *плiтi*) и **plytъkъjь*; чеш. *hbitý* и диал. *hvitký*; **balamъčь/*balamъčьnъjь* (ЭС 1, стр. 147; специально о роли *-ьn-* в отыменных прилагательных с префиксом *bez-* см. ЭС 2, стр. 13), серб.-хорв. *gorȕp* "горький" и *gòrupan* "соленый".

Возникновение вариантности вследствие присоединения суффикса возможно на различных хронологических уровнях. По суффиксальным оформителям можно судить об актуальных для различных периодов словообразовательных моделях. Например, появление, при унаследованном из индоевропейского праязыка **ormo* "плечо" (ст.-слав. *рамо* и т. д., ср. др.-инд. *īrmas*), праслав. **ormę* (др.-русск. *рамя* и т. д.) (см. ПС I, стр. 127) свидетельствует об активности *-(m)en-* как словообразовательного форманта в праславянском языке.

Весьма продуктивным источником вариантности суффиксальной структуры в однокоренных именах является воспроизведение суффиксальных моделей старых образований на более поздних хронологических уровнях, сопровождающееся изменениями структуры имен в соответствии с новыми тенденциями в словообразовании. Характерной особенностью развития славянского именного суффиксального словообразования, начиная с праславянского состояния, является переход от непосредственного соединения консонантных суффиксов с корнем к опосредованному, тематическому. Именно вторичная тематизация и представляет чаще всего то новое, позд-

[19] А. Мейе, Общеславянский язык, М., 1951, стр. 289.

[20] Специально о структурной функции суффикса *-ъk-* и сохранении в соответствующих «расширенных» прилагательных прежнего значения «нерасширенных» см.: Ю. В. Откупщиков, Литовский язык и праславянские реконструкции, «Baltistica», X, 1974, 1, стр. 16—18.

нее в структуре имен, что является следствием воспроизведения модели [21]. От охарактеризованного выше типа вариантности как следствия преобразования слова данный тип отличается сохранением целостности старых морфем и их границ [22], что свидетельствует о сохранении этимологической прозрачности и структуры лексем к моменту воспроизведения.

Наиболее распространенным случаем вторичной тематизации является воспроизведение суффиксальных имен с вставкой глагольного тематического гласного, присущего родственной глагольной основе, причем обычно этот гласный — *-a-*: ср. серб.-хорв. *bríč*, болг. *брич* и т. д. — серб.-хорв. *brìjač* "бритва"; словен *odélo*, серб.-хорв. *odijèlo* — серб.-хорв. *odijevalo*, русск. *одеяло*; польск. диал. *łeglo* — болг. диал. *легàло*; чеш. диал. *jáblo* "черенок ложки" (**ędlo*) — чеш. диал. *mádlo* "верхняя планка, поручень в заборе"; **mydlo* — серб.-хорв. *mivalo*. Редко встречаются другие глагольные тематические гласные, например *-ě-*: ср. др.-русск. *кыслыи* — *кысѣлыи*, русск. диал. *кúплой* и *кипéлой* "кипяченый" [23].

Как проявление тенденции к тематизации может рассматриваться также воспроизведение некоторых суффиксальных моделей с вставкой редуцированного гласного между корнем и суффиксом. Редуцированные, разумеется, восходят к тематическим гласным каких-то именных основ, на базе вторичных производных от которых образовались суффиксы с начальными редуцированными в качестве соединительных элементов, и эти новые суффиксы вытеснили в истории славянских языков многие старые суффиксы. Наличие однокоренных имен с вариантной суффиксальной структурой, содержащих старые суффиксы и новые суффиксы (образованные редуцированным плюс тот же консонантный элемент), обнаруживает механизм этого вытеснения в процессе воспроизведения моделей. Таковыми представляются, например, отношения вариантных имен с суффиксами *-n-* и *-ьn-*. Ф. Славский отметил вариантность **osnъ* (<**ostnъ*): **ostьnъ* и **gleznъ*: **glezьnъ* "щиколотка" (ПС I, стр. 136). К этим случаям можно присоединить еще несколько: ст.-слав. и русск.-ц.-слав. *пленица* "корзина; коса; головное украшение; пряжка; сети; козни" (**pletnica* [24], сюда же *плени́ца* укр. "плот", русск. "косичка", зап. "цепочка" и т. д.) и русск. *плетéнь*, вят. *плетнúй* "шнурки, завязки", *сплетни* и т. д.; **sukno* (и далее **sukn'a* "род одежды") и помор. *súčńo* "отдельное волокно шерсти", серб.-хорв. *sučnjak* "колесо для перемотки нити с клубка на катушку"; **prostornъjь* (чеш. *prostraný*, словен. *prostran*, др.-русск. *простороныи* [25], ст.-слав. *пространыныи*) и чеш. *prostorný*, серб.-хорв. *próstoran*, русск. *просторный*; др.-русск. *приторонкии* * "неприятный" [26], *притороныи* "тяжелый, жестокий" [27] (**pritornъjь*, ср. волог. *тóронко* "тяжело, трудно") и русск. *приторный*.

Вероятно, подобные отношения связывали и другие суффиксы, разли-

---

[21] См.: «Этимологический словарь славянских языков. Проспект», стр. 17—18; F. Sławski, O słowniku prasłowiańskim, JP, LIII, 2—3, стр. 187.

[22] Этому не противоречит и замена старого форманта его новым вариантом или замена одного фонетического вида корня другим, характерным для тематизованной основы.

[23] «Словарь русских говоров Среднего Урала», II, Свердловск, 1971, стр. 25.

[24] Miklosich, стр. 249.

[25] А. С. Львов считает др.-русск. *простороньство* искусственным образованием на базе ст.-слав. *пространьство* (см.: «Из лексикологических наблюдений», сб. «Этимология. 1972», М., 1974, стр. 106).

[26] «Афонская гора и Соловецкий монастырь. Труды чудовского иеродиакона Дамаскина (1701—1706 гг.). Сообщ. архим. Леонид.», СПб., 1883, стр. 86 (Картотека ДРС XI—XVII вв.).

[27] «Великие Четьи-Минеи, октябрь 19—31 (XV в.)», 1853 (Картотека ДРС XI—XVII вв.).

чающиеся наличием или отсутствием редуцированного перед консонантным элементом, но однокоренные имена очень редки. Ср. **metlo* (словен. *melo* "тряпка для вытирания", серб.-хорв. *melo* "мастерок" (ср. и *omèlo* "тряпка для обметания, вытирания"), русск. диал. *мелом подместь* "съесть все без остатка" [28]) и **metьlo*/**metьla* (русск. *метла*, словен. *métla* „метла", русск. диал. *метлó* "метла" [29]).

Представляется, что в сфере подобных связей как следствия воспроизведения старых словообразовательных моделей с их модернизацией может быть истолковано происхождение славянского названия копыт у коз, свиней, коров, представленного группой чеш. *rať*, польск. *rać*, *racica*, словац. *ratica*, укр. *рáтиця*. Семантика этой лексемы очень близка к польск. диал. *rapeć*, *-pcia* "рука, лапа, копыто коровье или телячье", которое родственно южн.-слав. *rapati* "кусать, есть" и восходит к гнезду и.-е. **rep-* "хватать, отрывая; урывать" [30]. Ср. также значение помор. *ščэra* "лапа" (к праслав. **ščipati*), совмещение значений "лапа" и "копыто" в семантике нем. *Klaue*. В гнезде и.-е. **rep-* есть производные с формантом *-t-*: греч. ἐρέπτομαι, ср.-ирл. *recht*. Слав. *ratь* "копыто" может быть таким же *t*-образованием от корня *rep-*, т. е. **raptь* > **ratь*, тогда как польск. *rapeć* является в таком случае результатом воспроизведения этой модели с приспособлением ее к сложившемуся словообразовательному типу названий частей тела (с суффиксом *-ъtь*). Разумеется, это толкование предполагает воспроизведение модели до упрощения группы *pt* > *t*. Непосредственным производным от **raptь* > **ratь* является, вероятно, чеш. диал. *ratanec* "пучок, кисть плодов на дереве" (семантически ср. серб.-хорв. *češula* "гроздь" — от **česati*).

Бесспорно, однако, что в сфере имен, соотносительных с глаголами, именно тематические гласные глагольных основ определяли характер вторичной тематизации при воспроизведении суффиксальных моделей. При этом описанный выше тип тематизации — вторичное введение в структуру имени тематического гласного, представленного в родственной глагольной основе,— является не единственным возможным путем участия глагольных тематических элементов в тематизации имен. На базе отглагольных суффиксальных имен суффиксы с начальным консонантным элементом приобрели варианты с начальными вокалическими элементами, восходящими к гласным глагольных основ. Эти варианты суффиксов и играют большую роль в воспроизведении старых моделей, создавая варианты имен с вторичной тематизацией. Такова роль вариантов *-ivo*, *-itva*, *-adlo*, *-idlo* и др. Например, ср. русск. диал. *лезво* — *лезиво* "лезвие", **melvo* (польск. *mlewo*, серб.-хорв. *mlȇvo*, русск. псков. *молово* [31]) и **melivo* (серб.-хорв. *mȅljivo*, польск. *mieliwo*, русск. *мелево*, белорусск. *мéливо*), **žętva* и русск. диал. *жнитва*, словен. *trẽtev*/*terîtev* "трепание льна" (вероятно, из **tertva* и **teritva*). Интересный случай параллельного воспроизведения с вторичной тематизацией на базе родственной глагольной *-a-*основы и с тематизацией при помощи *-idlo* (варианта суффикса *-dlo*) представлен в однокоренных **sudlo* (др.-русск. *сулица*, чеш. *sudlice* "рогатина"), **sovadlo* (польск. *suwadło* "волотник", болг. *совáлка* "ткацкий челнок",

---

[28] Словарь современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района Рязанской области)», под ред. И. А. Оссовецкого, М., 1969, стр. 292.

[29] Там же, стр. 293.

[30] См.: Ж. Ж. Варбот, Этимологические заметки, сб. «Балто-славянские исследования», М., 1974, стр. 39—42.

[31] Картотека Псковского областного словаря (Словарный кабинет ЛГУ). Параллельные формы типа польск. *mlewo* — *mliwo*, серб.-хорв. *mlȇvo* — *mlîvo* могут быть объяснены вторичной заменой *-ev-* на продуктивный суффикс *-ivo*.

словен. *suvalnica* "ткацкий челнок" < *"деревянная палочка" [32]) и **sovidlo* (серб.-хорв. *sòvilo* "ткацкий челнок").

Возможно, что влияние глагольных тематических основ на воспроизведение старых моделей имен, соотносительных с глаголами, сказывалось не только в случае исконного нетематического соединения корня и суффикса в имени, но и в тех случаях, когда консонантный суффикс изначально был присоединен к какой-то именной основе с вокалическим основообразующим элементом, так что между согласными корня и суффикса был гласный, но отличный от тематического гласного глагола. Наличие для исконно отыменных образований параллелей в виде отглагольных имен с тем же суффиксом и тематическим гласным глагольного происхождения делает возможным предположение, что здесь имело место воспроизведение старой модели с ориентацией на тематическую глагольную основу: ср. русск. диал. *капыч* "деревянная лопата" и русск. *копач*, болг. *копáч*, чеш. *kopáč*, польск. *kopaczka* и т. д.; **jьgrokъ* и **jьgračь*; **ědokъ* и **ědakъ*; **xodokъ* и **xodakъ*; **běgunъ* и **běganъ* (серб.-хорв. *bjègan*, польск. *biegan* и т. д.).

Тематизация является не единственным следствием воспроизведения старых моделей, создающим вариантные суффиксальные структуры. Воспроизведение нередко связано с использованием новых, более поздних вариантов старых суффиксов, причем эти варианты находятся в различных структурных соотношениях с исходными, но во всяком случае не имеют тематизующей функции. Так, наряду с продолжениями праслав. **šьvěja* (ср. литов. *siuvėjas*) представлено укр. *шва́йка* "толстое шило; белошвейка и т. д." с суффиксом *-aj-*, сформировавшимся как вариант суффикса *-ěj-* на базе отношений типа **sъlučiti* — **sъlučajь*. Другой поздний вариант того же суффикса — *-jь(-ja)* — использован при воспроизведении в следующих парах: укр. *мазій* и русск. *мазай* (к *мазать*); **věrěja* и словац. *veraj* (к *verati*), серб.-хорв. *osučaj* "количество пряжи на один клубок" и *osukaj* (к *sukati*); русск. диал. *точей* (**tъčaja*) и словен. *tkaja* (к *tkati*). Воспроизведение именно в этом направлении было в этих случаях обусловлено, вероятно, влиянием глагольных *-a-*основ, которое сказывалось, следовательно, не только непосредственно в тематизации. С другой стороны, наряду с серб.-хорв. *ìgratelj*, связанным с глагольной *-a-*основой, существует явно более позднее *igritelj* с вариантом *-itel'*ъ (глагол **jьgriti* не зафиксирован).

С точки зрения различения воспроизведения старых моделей и преобразования старых структур представляют интерес группы однокоренных имен с вариантностью суффиксальной структуры, являющейся в одном имени следствием преобразования, в другом — следствием воспроизведения. Например, ср. русск. *терпеливый*, чеш. *trpělivy* и т. д. — польск. *cierpliwy*, ст.-польск. *cierzpliwy* (и др.-русск. *перетерпьливыи*) — польск. редк. *cierpiętliwy*, стар. *cirzpiędliwy*, *cirpiedliwy*. Древнейшая из представленных структур — **tьrpělivъjь*, образование с суффиксом *-iv-* от какой-то *-l-*основы (ср. др.-русск. *търпѣлие*). Польск. *cier(z)pliwy* является результатом позднего воспроизведения модели с использованием более регулярной структуры: корень на согласный плюс *-liv-* как вариант суффикса *-iv-*. Польск. *cierpiętliwy*, *cirpiedliwy*, *cirzpiędliwy* восходят к тому же **tьrpělivъjь*, но отражают преобразования исходной формы путем подстановки вместо глагольной основы на *-ě-* — основы причастия, вместо суффикса *-l-* — суффикса *-dl-*, причем конечные структуры не являются регулярными.

---

[32] О. Н. Трубачев, Ремесленная терминология в славянских языках (этимология и опыт групповой реконструкции), М., 1968, стр. 37—38.

Воспроизведение старых моделей с их модернизацией характеризует не какой-то один определенный этап в развитии языка, а представляет одну из форм непрекращающегося развития словообразовательной системы. Соответственно и вариантность как следствие воспроизведения может восходить к различным периодам. Например, вторичная тематизация имен по аналогии с родственными глагольными основами на *-a-* происходила уже в позднепраславянский период. К праславянскому могут быть отнесены также **melivo* как вариант **melvo*, **žьnitva* как вариант **žętva*, и некоторые другие случаи. Вместе с тем, именно регулярность процессов, их длительность и параллелизм в истории отдельных славянских языков затрудняют во многих случаях хронологическое приурочение поздних вариантов (например, относятся ли варианты с *-ъ/ьliv-* к истории отдельных славянских языков или в некоторых — и каких? — случаях восходят к праславянскому?).

К процессу воспроизведения старых моделей как источнику вариантности весьма близко по своей сущности и результатам явление функционального сближения в истории языка генетически различных суффиксов (имеющих, однако, один общий консонантный элемент). Так, наличие однокоренных и тождественных по значению имен с суффиксами *-lo/-slo*, *-lь/-slь* и *-dlo* убеждает в функциональном тождестве этих суффиксов и позволяет ставить вопрос об отношениях вариантности между соответствующими именами. Ср. **grǫzlo/'ъ* (польск. диал. *grązel*, русск. диал. *грузло́*), **gręzlo* (польск. диал. *grzęzło*) "грузило" и **grǫzidlo* (польск. диал. *grzęzidło*; вероятно, и русск. *грузи́ло*), **gręzidlo* (чеш. *hřížidlo*; вероятно, и словен. *grezílo*); **maslo* и польск. *mazidło*; **vęslo* и польск. *wiązadło*; **gǫslь/'a* и чеш. *hudidlo*; **greblo* и польск. *grzebadło* "совок" (и словен. *grebalo*?); серб.-хорв. *čẽšalj* "гребень" и польск. *czesadło*, чеш. *česadlo*. Славянский суффикс *-dlo* генетически сложен и родствен *-lo*, *-slo*, *-lь* лишь на глубоком индоевропейском уровне. Но приведенный материал свидетельствует о наличии явного функционального тождества этих суффиксов и зависимости их употребления от структуры производящей основы: атематическому соединению суффиксов *-lo*, *-slo*, *-lь*, *-slь* с корнями противопоставлено присоединение *-dlo* к тематическим глагольным основам или присоединение к корню тематического варианта суффикса *-dlo* — *-idlo*. Эти отношения напоминают вариантность как следствие вторичной тематизации (ср. **bričь* и **brijačь*). Можно поэтому предполагать, что в истории праславянского языка произошло сближение актуального суффикса *-dlo* с утрачивавшими продуктивность суффиксами *-lo*, *-lь* и *-slo*, *-slь*, так что при воспроизведении моделей с этими последними в связи с тенденцией к тематизации использовался суффикс *-dlo* (или его варианты). В сущности, вариантность *-lo/-slo*, *-lь/-slь* является, вероятно, результатом подобного же процесса, только в более древний период. Поэтому представляется возможным рассматривать и однокоренные имена с суффиксами *-(s)lo*, *-(s)lь* и *-dlo* при тождестве значений как вариантные. Тематическая структура имен на *-dlo* в этих случаях позволяет толковать их как хронологически более поздние варианты, хотя не исключена, вероятно, возможность параллельного образования от разных типов производящих основ.

Рассмотренные выше как источники вариантности суффиксальной структуры в однокоренных славянских именах явления преобразования, суффиксального распространения, воспроизведения и вторичного сближения предполагают возникновение одного из вариантов структуры на базе другого, т. е. разновременность вариантов (исключение составляют, возможно, некоторые случаи вторичного сближения суффиксов). Поскольку все рассмотренные изменения возможны в любой период истории славянских языков (хотя, разумеется, возможности определенного изменения

имени определенной структуры хронологически ограничены), при реконструкции праславянского лексического фонда в каждом случае вариантности суффиксальной структуры необходимо решение вопроса о хронологической приуроченности поздних вариантов: являются ли они образованиями праславянской поры или продуктом самостоятельного развития славянских языков.

Наряду с этим есть много случаев вариантности суффиксальной структуры, в которых варианты не могут быть противопоставлены друг другу хронологически и скорее являются параллельными образованиями. Вариантность структуры определяется в этих случаях параллелизмом разноструктурных производящих основ или собственно суффиксальной вариантностью.

В связи с рассмотрением вариантности как следствия параллельного образования от структурно различных родственных производящих основ возникает вопрос о диапазоне этих различий, допускающем признание производных имен вариантами. Очевидно, допустимы все различия в структуре, являющиеся следствием вариантности отдельных элементов структуры или их преобразований, ср. польск. *krajacz* и *krawacz* (от *krajać* и *krawać*). Вопрос заключается в оценке различий, создаваемых (1) наличием в одной из производящих основ дополнительного суффиксального элемента и (2) использованием в производящих основах разных суффиксов. В первой группе наиболее ясными являются случаи, в которых используется по существу одна и та же производящая основа, но ее основообразующий элемент (или его продолжение) то сохраняется в производном имени, то нет. Ср. варианты **bobrovina* и **bobrina* (ПС I, стр. 289), **borovьje* и **borьje* (ПС I, стр. 330), **borovina* и **borina*, которые являются производными от *-ŭ*-основ, с сохранением следов основообразующего элемента в каждом случае лишь в одном из вариантов. Однако на базе подобных этимологических пар возникли чисто словообразовательные варианты типа **boltina* и **boltovina*, самое существование которых свидетельствует о развитии определенного типа вариантности,— правда, скорее уже вариантности не производящих основ, а суффиксов *-ina* и *-ovina* и т. д. К случаям вариантности вследствие факультативности основообразующего элемента близки случаи вариантности вследствие йотации одной из производящих основ, ср. др.-русск. *удатьныи*, польск. *udatny* и русск. *удачный*. К последним в свою очередь примыкают случаи параллельного образования от корня глагола и от йотированной основы (соответствующей по своей структуре инфинитиву на *-iti* или основе настоящего времени на *-i-*), ср. чеш. *cedák* и *cezák* (от **cěditi*), серб.-хорв. *čȅhulja* и *češulja* "гроздь" (от **česati*, **čehati*, **češǫ* [33]), серб.-хорв. *gorup* и словен. *gorjup* "горький" (от **gorěti*, **gor'ǫ*). Во всех приведенных случаях отношения вариантности достаточно явственны. От них существенно отличаются пары типа **krikunъ* и чеш.-словац. **kriklunъ* (ПС I, стр. 134), серб.-хорв. *plačine* и *plakotine* "помои", серб.-хорв. *bȍdiv* и *bodljiv*, русск. *бодливый* (ср. **bodьl'ъ*). При рассмотрении подобных случаев приходится, разумеется, считаться с возможностью в отдельных парах преобразования структуры путем замещения более простой производящей основы более сложной. Однако при отсутствии бесспорных доказательств этого процесса остается вопрос о правомерности оценки таких соотношений имен как вариантов. Представляется, что тождество корней, последних суффиксов, значений имен, а также стертость специального значения «лишнего» форманта являются свидетельствами в пользу именно вариантных отношений, хотя вопрос этот требует разработки на большем материале.

[33] Skok I, стр. 312.

Еще сложнее решение вопроса о наличии отношений вариантности во второй группе, т. е. при использовании в параллельных родственных производящих основах разных суффиксов. Наиболее ярко выражен параллелизм образований этого рода в отглагольных именах. Ср. параллельные производные от однокоренных глагольных основ с разными основообразующими элементами: словен. *makalo*, польск. *moczadło* и *moczydło* "пруд для мочки льна"; словен. *sedalo*, др.-русск. *сѣдало* и словен. *sedélo*; серб.-хорв. *gȕdalo* и *gȕdilo* (ср. *gȕdjeti*, *gȕdim*); чеш. *zřetel* и русск. *зритель*. К этому типу близки случаи параллельного образования имен от различных глагольных основ и отглагольных имен (преимущественно причастий), к которым и восходят элементы *j*, *v*, *n*, *t*, *l*, противопоставленные друг другу в параллельных именах, ср.: польск. *podajny* и *podatny*; словац. *zádavok* и русск. *задаток*; русск. *повитуха* и *повивуха*; серб.-хорв. *plakalac* и *plȁkavac*; серб.-хорв. *mješavina*, *mješalina* и русск. *мешанина*; словен. *ostanek*, русск. *останки* и словен. *ostatek*, русск. *остаток*. Различие суффиксов производящих основ делает отношения вариантности очень спорными. Но и здесь стертость различий в значениях, связанных с различными глагольными и именными суффиксами, позволяет видеть вариантность имен.

Вопрос о вариантности суффиксов в праславянском языке специально не освещался, а при описании отдельных суффиксальных моделей обычно ставится преимущественно в историческом, а не синхронном плане и решается эмпирически. Критерии объединения суффиксов как вариантов одного суффикса не определены. Бесспорно соблюдаются требования функционального тождества морфем и генетического тождества консонантного элемента. Например, объединяются *-lo* и *-slo*, *-lъ* и *-slъ*, *-dlo* и *-adlo*, *-idlo*. Не ставился, однако, вопрос о допустимых для вариантов различиях в вокалических элементах суффиксов, а также вопрос о типах распределения вариантов суффиксов (кроме отношений *-lo* и *-slo*, *-lъ* и *slъ*) и соответственно о различении алломорфов (при дополнительном распределении) и собственно вариантов (при тождественных позициях) суффиксов, принятом в описании современных языков. Во многом нерешенность проблемы обусловлена отсутствием до сих пор полной реконструкции праславянского лексического состава, что затрудняет суждение о функциях и условиях употребления многих суффиксов. Очевидна вообще сложность реконструкции синхронной словообразовательной системы для дописьменного периода. Рассмотрение однокоренных имен с генетически и функционально тождественными суффиксами (при условии, что их различия не объясняются описанными выше явлениями преобразования, расширения, воспроизведения и различием в производящих основах) существенно для определения круга потенциальных вариантов суффиксов. И именно так следует толковать рассматриваемые ниже соотношения суффиксов.

Характер вариантности праславянских суффиксов обусловлен в значительной степени формированием большинства суффиксов в результате процессов переразложения в производящих основах и присоединения к древним суффиксальным элементам основообразующих элементов или суффиксов производящих основ (значительно реже наблюдается сокращение суффикса за счет утраты его начального элемента: ср. *-ějь* и *-jь* в др.-русск. *шьвѣи* и *въспоминаи*). Во многих случаях трудно решить вопрос о принадлежности определенного структурного элемента к производящей основе или к суффиксу, т. е. о правомерности выделения нового варианта суффикса.

Соответственно процессу формирования суффиксов на базе переразложения наиболее распространенным типом вариантности суффиксов является наращение начальных элементов (из производящих основ) или

утрата собственных начальных элементов. Для многих суффиксов такие варианты сложились уже в истории праславянского языка, путь их формирования может быть прослежен: ср. *-ějь* и *-'ajь*, *-jь*; *-dlo* и *-adlo*, *-idlo*; *-iv-* и *-liv-* и т. д. Появление однокоренных имен с вариантностью суффиксов этого типа обычно является следствием воспроизведения старых моделей на более поздних хронологических уровнях (см. выше). Однако форма многих суффиксов и их вариантов сложилась раньше, пути формирования их затемнены и хотя в некоторых случаях можно предполагать бо́льшую древность одного из вариантов суффикса, все-таки однокоренные имена с вариантными суффиксами не могут быть хронологически дифференцированы.

Из этих древних случаев вариантности суффиксов, создаваемых наличием/отсутствием какого-то начального элемента, наиболее распространенным является вариантность, выражающаяся наличием/отсутствием начального *j* (т. е. смягчения). В указанных работах Вондрака и Славского отмечена вариантность *-ada/-jada*, *-ědь/-jadь*, *-ag-/-jag-*, *-ug-/-jug-*, *-ex-/-jex-*, *-ux-/-jux-*, *-akъ/-jakъ*, *-ukъ/-jukъ*, *-ěninъ/-janinъ*, *-av-/-jav-*. Другой тип вариантности того же плана — наличие/отсутствие начального консонантного элемента — встречается редко. Именно поэтому важна фиксация соответствующих однокоренных имен: они являются единственными свидетельствами древней связи суффиксов. Обычно начальным элементом, создающим вариантность, оказываются свистящие *s*, *z*: в славянских языках сохранились достаточно яркие следы вариантности *-lo* и *-slo*, *-lь* и *-slь*, допускается вариантность *-da* и *-zda* (**borda* и **borzda* "борода", см. ПС I, стр. 63, хотя ЭС 2, стр. 198 толкует этот случай как следствие влияния **borzda* "борозда"), *-nь* и *-snь*, *-znь* (ПС I, стр. 117—119). Сюда тяготеют также случаи вариантности *-ota* и *-ostь*, *-ina* и *-izna* (**babina* — **babizna*, **bratovina* — **bratovizna* и т. д., см. ПС I, стр. 123), где дополнительный свистящий помещен между гласным и согласным суффикса. Пара кашуб. *kuřava* (и польск. *kurzawa*) — кашуб. *kuřativa* "снежная буря" свидетельствует о наличии такой вариантности и для *-(a)va*, *-(a)tva*, где дифференцирующим элементом является *t*.

Чем более интересны однокоренные вариантные имена для изучения каждого такого редкого типа вариантности, тем более осторожно они должны толковаться. Так, при известном дополнительном распределении в функционировании суффиксов *-lo* и *-slo* (и *-lь*, *-slь*), а именно: *-slo* (и *-slь*) после зубных *t*, *d*, *s*, *z*, а *-lo* (и *-lь*) после гласных, губных и задненебных, — однокоренные имена с вариантными *-l-* и *-sl-* могут рассматриваться как свидетельство вторичности такого распределения. Такова, например, пара **pręslo* и **prędlo*, восходящая к **pręsti*, **prędǫ*. Есть, однако, несколько случаев аналогичной вариантности, которые весьма убедительно демонстрируют появление вариантов с суффиксом *-lo* (*-lь*) в результате переразложения в структуре слова и замещения исторически закономерной формы корня формой, взятой из родственного глагола (своего рода восстановление этимологического корня): ср. **povęslo* (польск. *powiąsło*, словен. *povésla* и т. д.) и польск. *powiązło*; русск. диал. *вя́сло* и *вя́ало*; возможно, русск. *свясло* и чеш. *svízel* — все к **vęzati*. Не является ли и **prędlo* древним случаем подобного преобразования **pręslo* путем восстановления корня *pręd-* по аналогии с **prędǫ* и **prędati*?

Дифференцирующим начальным элементом в вариантах суффиксов может быть гласный (имеются в виду гласные на позднепраславянском уровне, т. е. также и гласные как результат монофтонгизации дифтонгов). Отмечены, например, однокоренные образования, вариантность форм которых определяется наличием/отсутствием в суффиксе гласного *a*: *-kъ*

:и *-akъ*, ср. слав. **korkъ* и **korakъ* "часть ноги" [34]; гласного *e*: *-nъ* и *-enъ/-ena*, ср. **melnъ* (польск. *mlon*) и **melenъ* (русск. *мелен* [35]), **belnъ* и **belena* "белена" (см. ЭС 1, стр. 185—187); *-sno* и *-esno*, ср. **lono* (<**logsno*) и **ložesno* (оба к **leg-*[36]); гласного *ě*: *-nъ* и *-ěnъ*, ср. **černъ* и **čerěnъ* (см. ПС I, стр. 129). Как случай вариантности с гласным, являющимся результатом монофтонгизации дифтонга, можно толковать отношения имен, образованных от **čer-* "резать, драть" с суффиксами *-rъ*, *-ra* и *-ura*: ср. **čerpъ* и болг. *черупка* "скорлупа", а также словен. *skrapa* (**skorpa*) "корка" и **skorupa*. Интересный случай вариантности *-yn-* и *-n-* представляют русск. *полынья* и польск. *płoń*, кашуб. *płóńô* "незамерзающее место во льду", русск. диал. юж. *полóнка* "прорубь во льду" (**poln-*, все лексемы соответствующие этой праформе, обычно не упоминаются при этимологизации слова *полынья*, хотя они полезны и для подтверждения суффиксальной структуры слова, и для уточнения времени его возникновения — праславянские диалекты).

Многие случаи вариантности суффиксов объясняются аблаутными изменениями их вокалических (обычно начальных) элементов. Довольно широко представлена вариантность *-et-* и *-ot-*, ср. словен. *žmetek* "груз" и русск. *жмот(ик)* "скряга", укр. *тремета* и *тремота* "осина". То же качественное чередование *e/o* связывает *-el-* и *-ol-*, ср. болг. *бървел* и *бървол* "горный поток" (ПС I, стр. 109); вероятно, то же в польск. *męciołу* "муть, осадок, помои" и чеш. *matoliny* "выжимки". Однако в большинстве случаев варьирование *e* и *o* в начале суффиксов объясняется не чередованием, а позиционными изменениями в зависимости от палатальности производящих основ (отсюда, например, вариантность *-ov-* и *-ev-*, некоторые случаи вариантности *-ot-* и *-et-*, типа серб.-хорв. *ogorotina* "пригорелая пища" — *ogorjetina* "головешка") или других их структурных особенностей (так, вариантность *-ǫt-* и *-ęt-* восходит к разным тематическим гласным глаголов, ср. др.-русск. *врутьць* "источник" и польск. *wrzątek* "кипяток").

Количественные чередования отмечены преимущественно в суффиксах с начальным вокалическим элементом ряда *u*. Например, *-un-* и *-yn-*: **perunъ* и **Perynъ*, **pelunъ* и **pelynъ* "полынь" (ПС I, стр. 134), ср. также **pěstunъ* и словен. *pestîn*, польск. диал. *gorun* и *goryń* "красный цвет". Вариантность *-uš-* и *-yš-*: **mękušь* и **mękyšь* (ПС I, стр. 78), **bobuša*, **bobušьka* и **bobyšьka* (названия растений, ЭС 2, стр. 147—148); ср. также русск. *копуша* и польск. *kopysz*; белорусск. *птушка* и **pъtyšь*. Вариантность *-ur-* и *-yr-*: русск. иркут. *жмýри* и словен. *žmire* "выжимки", др.-русск. псков. *мотурка* "клубок" и русск. диал. *мотыра* "егоза". Вариантность *-ul-* и *-ъl-*: **bakul'a* и **bakъl'a* (ЭС 1, стр. 142), **bobul'a* и **bobъl'a* (ЭС 2, стр. 147); *-u-* и *-ъv-*: русск. *чешуя* и др.-русск. *чешвея*. Вариантность в *-i*-ряду представлена наиболее ярко в соотношении суффиксов *-ic-* и *-ьc-*, *-ik-* и *-ьk-*: ср. ст.-слав. *любимиць*, *питомиць* и русск. *любимец*, *питомец*. Единичны случаи количественных чередований в ряду *e/o*. Например, *-en-* и *-ьn-*: **bedrenъjь* и **bedrьnъjь* (ЭС 1, стр. 182), **sęžen'ь* (кашуб. *sĩžeń*, *-eńă* и др.) и **sęžьn'ь* (русск. диал. *сажень*, *-жня* и др.); *-oba* и *-ьba*: **gonoba* и **gonьba* (ПС I, стр. 61); *-telъ* и *-tьlъ*: **dętelъ* и **dętьlъ* (ПС I, стр. 113, толкуется как чередование *-elъ* и *-ьlъ*). Количественное по происхождению чередование в вариантных суффиксах *-ov-* и *-av-* отражено в

[34] E. Berneker, Slavisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg, 1908—1913, I, стр. 571.

[35] Там же, II, стр. 34.

[36] R. Jakobson, While reading Vasmer's dictionary, «Word», 11, 1955, 4 (=«Slavic Word», 4), стр. 613; Ю. В. Откупщиков, Из истории праславянского словообразования, «Этимологические исследования по русскому языку», 5, 1966, стр. 84.

соотношении основ родственных имен, восходящих в конечном счете к **sъkъ*, а именно: помор. *skᵘ̯ovəčk* "березовый сок, приготовленный для питья", словен. *skâvec* "кислое, плохое вино" [37], белорусск. гродн. *аскавень* "полотняный мешочек для отжимания сыра" [38] (здесь *а* может восходить и к **о*, и к **а*) и **ščavъ* "щавель" (где использован йотированный вариант производящей основы).

Наиболее сложно истолкование соотношений однокоренных имен и их суффиксов в тех случаях, когда суффиксы тождественных по значению однокоренных имен имеют тождественный консонантный элемент, но генетически различные, не сводимые к одному источнику вокалические элементы (т. е. суффиксы восходят к соединению одного и того же консонантного элемента с разными основообразующими элементами). В исследованиях по славянскому словообразованию подобные суффиксы обычно рассматриваются раздельно. В «Праславянском словаре» реконструируются как варианты праславянских лексем **bachorь* и **bachurъ* "что-либо набухшее, раздутое" (ПС I, стр. 181), **buxor'ь* и **buchyr'ь* "что-либо набухшее, шарообразной формы, пузырь" (ПС I, стр. 437—438), но отмечается, что колебания в вокализме присущи суффиксам в звукоподражательных образованиях (стр. 181). Материал, однако, показывает, что подобные соотношения возможны и в нейтральной лексике (как и следовало ожидать, учитывая историю образования суффиксов). Несколько примеров: вариантность имен в связи с корреляцией *о* и *и* в суффиксах *-og-* и *-ug-*: серб.-хорв. *vȑtlog* "водоворот" и русск. *вертлюг*, диал. ярослав. *вертлу́г*; в суффиксах *-ox-* и *-ux-*: польск. *mazoch* и русск. *мазуха*; в суффиксах *-on-* и *-un-*: польск. *graboń* и *grabuń*; польск. *gryzoń* и *gryzun*, русск. *грызун*. Соотношение суффиксов *-or-* и *-yr-*: **kosor'ь* и **kosyr'ь*, **xodorъ* и **xodyrъ*; ср. также словац. *sokorec* "вершина (дерева, горы)" [39] и **sokyra*. В последнем случае наличие однокоренных и структурных соответствий для обоих образований за пределами славянских языков — др.-в.-нем. *sahar* "осока" и лат. *secūris* — обнаруживает генетическую природу таких соотношений суффиксов, не связанную со звукоподражательностью и восходящую к индоевропейскому словообразованию. Корреляция *е* и *и* представлена в соотношении суффиксов *-el-* и *-ul-*: русск *качели* и *качули*; *-tex-* и *-tux-*: серб.-хорв. *pjeteh* и **pětuxъ*. Корреляция *i* и *y* в суффиксах *-išь* и *-yšь*: **malisь* и **malyšь*, **bělišь* и **bělyšь*. Корреляция *i* и *ъ* широко представлена в многочисленных однокоренных образованиях с суффиксами *-ica* и *-ъka*. Наконец, в уменьшительных образованиях часто параллельно употребляются суффиксы *-ъk-* и *-ьc-*.

Разумеется, встречаются случаи совмещения в одной группе однокоренных имен корреляции суффиксальных вокалических элементов по аблауту и не по аблауту: ср. **bǫbъlъ/*bǫbьlь/*bǫbulъ* (ЭС 2, стр. 231—232); **bodъl'ь*, **bodyl'ь* и **bodel'ь* (серб.-хорв. *bodelj*).

Очевидно, что к соотношениям суффиксов, создаваемым корреляцией вокалических элементов не по аблауту, генетически близки соотношения, определяемые наличием/отсутствием начального вокалического элемента суффикса, поскольку и в этом случае источником являются соединения с разными производящими основами.

---

[37] Если прав Ф. Безлай и словен. *skâvec* действительно восходит к **sъkavьcь*, а не является заимствованием венец. *vin scavezzo* (см.: F. Bezlaj, Einige slovenische und baltische lexische Parallelen, «Linguistica», VIII/1, 1966—1968, стр. 70).

[38] Сцяшковіч, стр. 34.

[39] См.: Ж. Ж. Варбот, К реконструкции и этимологии некоторых праславянских глагольных основ и отглагольных имен. IV, «Этимология. 1974», М., 1976, стр. 41—43.

Тождество значений однокоренных имен, тождество консонантных элементов суффиксов и отсутствие данных о хронологических различиях имен в последних охарактеризованных случаях дают основания считать их синхронными вариантами, при достаточной полноте славянских соответствий — праславянскими вариантами. Возможно, что при изучении более обширного материала соответствующие суффиксы и окажутся для позднепраславянского не вариантами, а скорее самостоятельными суффиксами. В таком случае их употребление в однокоренных тождественных по значению именах отражает их былое единство. Оценка соотношения однокоренных параллельных образований с такими суффиксами как вариантности и накопление данных о подобных группах имен подготавливает почву для изучения праславянского словообразования в синхронном плане, для решения вопроса о словообразовательной дифференциации праславянских диалектов и углубления истории праславянских словообразовательных моделей.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1976

В. В. АКУЛЕНКО

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМЫ И МЕТОДЫ ИХ ИЗУЧЕНИЯ

I. Проблема соотношения интернационального и национального приобретает в современных условиях все большее значение. В частности, языкознание сможет осмыслить многие особенности функционирования и развития языков и создать научно обоснованную теорию языкового планирования лишь при том условии, что оно сумеет рассматривать языки в международном контексте, учитывая взаимосвязь интернационального и национального.

В философском плане интернациональное и национальное представляют собой проявление категорий всеобщего, особенного и единичного. Понятно, что это лишь одно из многих проявлений данных категорий в человеческом обществе и свойственных ему явлениях и институтах. Применительно к различным языкам мира и их отдельным группировкам определение интернационального связано с установлением общих черт в языках, а также основанных на этих чертах межъязыковых отношений. В явной или неявной форме лингвистика наших дней решает именно данный вопрос, все интенсивнее занимаясь изучением универсалий, общих «глубинных» явлений, типологического изоморфизма и алломорфизма, коррелятивности, сходства, переводной эквивалентности и т. д. Подобный интерес вызван внутренней логикой развития теоретического языкознания, но, кроме того, стимулируется и прикладными задачами, связанными с обучением языкам, переводом, терминологической работой, языковой политикой и др. Особая роль в этом плане принадлежит межъязыковым отношениям, которые — на разных уровнях и в различных аспектах — изучаются сегодня многими направлениями лингвистики: теориями билингвизма, языковых контактов, перевода, отчасти лингвистической географией, типологическим и сопоставительным (контрастивным) языкознанием и др.

Однако вычленение этой области тормозится определенным психологическим барьером, имеющим глубокие корни в истории науки. Вслед за натурализмом младограмматизм был склонен рассматривать язык вне всего комплекса его отношений с другими языками, с которыми он соприкасается. В дальнейшем та же односторонность оказалась надолго свойственной структурной [1], а затем и генеративной лингвистике. По Н. Хомскому, «лингвистическая теория имеет дело прежде всего с идеальным говорящим — слушающим в полностью однородной речевой среде...» [2]. Здесь очевидна научная идеализация объекта, построенная на сознательном игнорировании многих факторов речевой коммуникации: социальных, культурных, психологических, а также связанных со взаимоотношениями языков. Именно такие факторы изучаются относительно автономными частными дисциплинами, примыкающими к интралингвистике («микролингвистике»)

[1] A. Martinet, Diffusion of language and structural linguistics, «Romance philology», VI, 1, 1952, стр. 6—7.

[2] N. Chomsky, Aspects of the theory of syntax, Cambridge (Mass.), 1965, стр. 3.

в общем составе языкознания («макролингвистики»): социолингвистикой, этнолингвистикой, психолингвистикой и упомянутой выше областью лингвистических исследований.

Последнее направление исследований, характеризующееся особым подходом к языку, специфическими понятиями, терминами и методами, не определилось пока в достаточной степени и не имеет общепринятого названия. Иногда приблизительно в этом смысле, хотя и с несомненными модификациями, говорят об интерлингвистике: такое употребление термина характерно для работ Ю. А. Жлуктенко, Т. П. Ильяшенко [3], а также австрийского лингвиста М. Вандрушки [4]. Однако подобный термин еще с 1911 г. употребляется для обозначения проектов международных искусственных языков [5] или изредка шире — проблематики международного общения и его перспектив [6].

Не останавливаясь детальнее на этом вопросе, заслуживающем особого обсуждения, отметим, что определение понятия лексического интернационализма возможно именно в пределах понятий данной сферы. Известно, что интернационализмами в языкознании называют не все проявления интернационального в языках [7], а только особенно важные формы межъязыковой общности в лексике. Но традиционное понятие интернационализмов оказалось европоцентричным; некоторые авторы сужают его еще более, относя только к ранее всего замеченной и особенно авторитетной греко-латинской терминологии. Кроме того, оно эклектично, так как в его содержании сочетаются синхронические и этимологические признаки; при этом действительно существенные признаки не всегда учитываются или подразумеваются имплицитно. Нередко упускается из виду, что интернационализмы — межъязыковая синхроническая категория, которая проявляется лишь в случае соприкосновения и сопоставления языков. Естественно, что упоминание их в лексикологиях современных языков носит в определенной мере формальный характер: действительно, в одном языке это явление невозможно ни установить, ни полностью понять. В исторической лексикологии анализ лексических интернационализмов обычно подменяется изучением результатов важнейшего из связанных с ними диахронических процессов — лексического заимствования, в результате чего специфика интернационализмов остается невыясненной.

Такое состояние разработки этой проблемы не отвечает современным задачам теоретического и прикладного языкознания, которое в настоящее время не может игнорировать ни уже существующие фонды международных элементов в словарях языков, ни межъязыковые тенденции в развитии языков. Лингвистика нуждается в полном и эксплицитно выраженном определении интернациональных элементов в лексике. Очевидно, что речь идет не о замене термина (ср. индивидуальные авторские образования типа *регионализмы*, *интерлингвизмы*, *интеронимы*, *междуязычные аналогизмы* и т. п.), что само по себе бесплодно [8]. Необходимо установить реальные границы рассматриваемого явления и выяснить пути его реали-

---

[3] Ю. О. Жлуктенко, Мовні контакти, Київ, 1966, стр. 4; его же, Лингвистические аспекты двуязычия, Киев, 1974, стр. 11; Т. П. Ильяшенко, Языковые контакты, М., 1970, стр. 30.

[4] M. Wandruszka, Interlinguistik. Umrisse einer neuen Sprachwissenschaft, München, 1971, стр. 10.

[5] См.: O. Jespersen, Interlinguistics, в кн.: «Selected writings of Otto Jespersen», London — Tokyo, [б. г.], стр. 771.

[6] В. П. Григорьев, О некоторых вопросах интерлингвистики, ВЯ, 1966, 1, стр. 37.

[7] См.: В. В. Акуленко, Співвідношення національного та інтернаціонального у мові, «Мовознавство», 1976, 1.

[8] Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики, М., 1933, стр. 38.

зации. Важно изучить распространение подобных явлений не только в европейских языках, но и вообще в языках Земли. Наконец, следует определить специфику интернационализмов в синхронии и диахронии языка, участвующего в процессах контактирования и сопоставления языков.

II. Представление о чертах, особенностях, свойственных одновременно разным народам, в отличие от того, что характерно только для данного народа, складывалось издавна. Однако первым случаем употребления особого слова для обозначения понятия интернациональности (международности) считают появление в 1780 г. английского прилагательного *international*. Это слово, построенное на общепринятом в Европе латинском материале и обладающее прозрачной внутренней формой, в течение XIX в. распространилось в европейских языках, а в XX в. проникло в развитые языки всех континентов в виде фонетического заимствования (русск. *интернациональный*, польск. *internacjonalny*, болг. *интернационален*, франц. *international*, исп. *internacional*, итал. *internazionale*, нем. *international* и мн. под. вплоть до индонез. *internasional*) или кальки (венг. *nemzetkőzi*, фин. *kansainvālinen*, турецк. *milletlerasi*, перс. *бэйн-олмэлāли* [9], хинди *антраррāс̣т̣рӣйа* и т. д.). В некоторых языках слова обоих типов сосуществуют в качестве синонимов с одинаковым значением («относящийся к разным народам, не ограниченный рамками одного народа»): например. русск. *интернациональный — международный*, чеш. *internacionální — mezinárodní*, швед. *internationell — mellanfolklig*, венг. *internacionális — nemzetközi*.

Международность по своей сути относительна, это континуум, который охватывает все, что находится между двумя и всеми народами. Правда, мы реже называем международными общие черты только двух народов, а общие черты всех народов называем еще универсальными и т. д., но нет сомнения, что оба полюса включаются в понятие международности как ее крайние проявления. Относительность международности заметна и в других ее параметрах, как родство народов, их численность и т. д. Чем больше имеется в виду народов, чем дальше они друг от друга генетически, тем выше степень интернациональности какого-либо явления. Международность ощущается тем в большей мере, чем интенсивнее контакты народов; в целом активность ее проявления заметно нарастает по мере приближения к современности. Интернационализация общественной жизни особенно активизируется с эпохи капитализма, однако в этот период она сталкивается с другой тенденцией — пробуждением национальной жизни и национальных движений. И только в условиях социализма интернационализация становится ведущей тенденцией в диалектике расцвета и сближения народов. По определению В. И. Ленина, «...вся хозяйственная, политическая и духовная жизнь человечества все более интернационализируется уже при капитализме. Социализм целиком интернационализирует ее» [10].

Международное по самой своей сущности не может существовать иначе, как в различных национальных реализациях. Оно не существует за пределами национального и не может быть противопоставлено национальному как нечто внешнее, вненациональное или безнациональное, как это пытался доказывать, в частности, К. Каутский. Отбрасывая подобные утверждения, В. И. Ленин подчеркивал: «...интернациональная культура не безнациональна» [11].

---

[9] Материал языков, не пользующихся латинским, славянским или греческим алфавитами, приводится по техническим причинам в фонетической транскрипции, принятой в советской двуязычной лексикографии.

[10] В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 23, стр. 318.

[11] В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 24, стр. 120.

Общие признаки международности полностью относятся и к интернациональным чертам в языках, в том числе к лексическим интернационализмам. Традиция закрепила последнее понятие за лексическими элементами различных языков, объединяемыми сходством значений и форм. В некоторых работах вводятся конкретные ограничения, касающиеся количества языков, их социальных баз, количества языковых семей, объема научно-технических публикаций на языках, в которых представлены интернационализмы. Подобные ограничения являются удобным приемом для проведения того или иного исследования, но их нельзя абсолютизировать. Интернационализмы могут быть представлены как в двух, так и во многих языках, родственных или неродственных, с любой социальной базой: их межъязыковая сущность, их роль при двуязычии от этого не меняется, хотя степень их международности — по данным параметрам — может соответственно быть большей или меньшей.

Уточняя лингвистическое содержание понятия лексических интернационализмов, необходимо включить это понятие в рамки общей теории двуязычия и многоязычия. Для этого удобно использовать модель, предложенную Э. Хаугеном [12], освободив ее, впрочем, от некоторых ограничений, налагаемых принципами дескриптивной лингвистики. Опираясь на введенное здесь понятие диаэлементов, т. е. непосредственных соответствий элементов в двух контактирующих языках, и дополняя его понятием полиэлементов, мы можем определить интернационализмы как омологичные (сходные одновременно в плане содержания и в плане выражения) полиморфемы, полилексемы и полифраземы, включая и омологичные диаморфемы, диалексемы, диафраземы как эмбриональное проявление интернациональности лексических единиц [13]. Тем самым очерчивается группа явлений, играющих особую роль в международном обмене информацией: это корневые и деривационные морфемы, слова и устойчивые словосочетания, объединяющие два или более языков благодаря сходству своих значений и форм и более или менее регулярно отождествляемые билингвами в практике переключения с языка на язык.

Уточняя понятия сходства форм, необходимо добавить, что речь может идти не только о звучании и письменной форме (оба признака важно, а для многих языков совершенно необходимо разграничивать), но и о мотивировке, или «внутренней форме» как синхроническом признаке, принимаемом во внимание говорящей массой. При этом сходство может основываться на всех принципиально возможных типах мотивировки: фонетической, морфологической (для словосочетаний — лексико-грамматической) и семантической [14]. Совмещение сходства звуковой (графической) формы и мотивировки в диалексемах и диафраземах дает особенно высокую степень узнаваемости, тогда как сходство одной мотивировки дает низшую ее степень. В последнем случае говорят об интернациональных словообразовательных, семантических и фразеологических аналогах или об интернациональных метафорах, метонимиях и интернациональной фразеологии.

У интернационализмов всегда бывает сходным (тождественным или близким) значение, тогда как сходство форм может основываться на трех,

---

[12] См.: Э. Хаугеи, Проблемы двуязычного описания, в кн.: «Новое в лингвистике», VI, М, 1972; его же, Языковой контакт, там же.

[13] В. В. Акуленко, Вопросы интернационализации словарного состава языка, Харьков, 1972, стр. 28—30.

[14] Ср.: С. Ульманн, Семантические универсалии, «Новое в лингвистике», V, М., 1970, стр. 255.

двух или одном из признаков, перечисленных выше. Это дает семь теоретически допустимых возможностей, которые могут быть наглядно представлены в виде таблицы, дерева или цифровой записи (см. табл.).

Тип	Значение	Устная форма	Письменная форма	Мотивировка	Тип	Значение	Устная форма	Письменная форма	Мотивировка
I	+	+	+	+	V	+	+	—	—
II	+	+	+	—	VI	+	—	+	—
III	+	+	—	+	VII	+	—	—	+
IV	+	—	+	+					

Здесь мы снова встречаемся с относительностью качества интернациональности, которое проявляется тем в большей степени, чем больше параметров сопоставляемых единиц совпадает в разных языках. Все указанные возможности реализованы языками Земли, причем пять из них — во всех языковых регионах, а две (типы IV и VI) — лишь в языках с общей основой иероглифической письменности (т. е. в настоящее время в китайском, японском и корейском языках, учитывая факт использования иероглифов в Южной Корее). При этом, если существование интернационализмов — слов семи типов уже доказано, то распределение по всем этим типам интернациональных морфем и фразеологизмов требует дополнительного изучения с учетом также неодинакового статуса морфем, слов и словосочетаний в типологически различных языках.

Ниже приводятся отдельные межъязыковые параллели для иллюстрации разных типов интернационализмов. Для полной характеристики приводимых элементов необходимо представлять себе их письменную форму в тех случаях, когда языки пользуются разновидностями арабской письменности, иероглифики, особыми алфавитами Индостана, грузинского, армянского языков и т. д., а также принимать во внимание расхождения в произношении.

I. Русск. *аэропорт*, болг. *аеропорт*, польск. *aeroport*, англ. *airport*, франц. *aéroport*, исп. *aeropuerto*, итал. *aeroporto*, литов. *aeropòrtas* и т. д., где, кроме общего значения («большой аэродром») и того или иного сходства звучания и написания, имеется и общая мотивировка («воздушный порт»).

II. Русск. *атом*, болг. *атом*, узб. *атом*, чуваш. *атом*, польск. *atom*, чеш. *atom*, англ. *atom*, нем. *Atom*, франц. *atome*, исп. *atomo*, фин. *atomi* и др. или русск. *-изм*, укр. *-ізм*, болг. *-изъм*, чеш. *-ismus*, англ. *-ism*, нем. *-ismus*, франц. *-isme*, исп. *-ismo*, венг. *-ismus*, фин. *-ismi*, новогреч. -ισμος и т. д.

III. Русск. *телеграф*, груз. *тэлеграпˣи*, хинди *т̇элӣгра̄ф*, урду *т̇элӣгра̄ф* с четырьмя внешне абсолютно несходными письменными формами, но с одинаковым значением и общей мотивировкой, воспринимаемой наиболее образованными носителями языков («писание на расстоянии»).

IV. Кит. *байвань*, япон. *хякуман*, кор. *пэнъман* «миллион» с общей иероглифической письменной формой, означающей «сто по десять тысяч».

V. Русск. *метр*, груз. *мэтри*, арм. *метр*, перс. *мэтр*, хинди *мӣт̇ар*, япон. *мэ̄тору*.

VI. Кит. *путао*, япон. *будō*, кор. *пходо* «виноград», где общая иероглифическая письменная форма не мотивирована во всех языках.

VII. Нем. *Lufthafen*, голл. *luchthaven*, дат. *lufthaven*, новогреч. ὁ ἀερολιμένας, перс. *бäндäр-э-häвaи*, урду *hавāū бандаргāh*, япон. *кӯкō*, индонез. *bandar udara* с общим значением «большой аэродром» и одинаковой мотивировкой («воздушный порт»).

Даже из этих немногих иллюстраций видно, что сходство звучания и написания интернационализмов далеко не всегда означает полную тождественность, а чаще является результатом частичного тождества, достаточного для регулярной идентификации соотносительных элементов разных языков. Здесь, как и в остальных аспектах, видна относительность интернациональности. Скажем, за различным произношением слов типа русск. *телефон*, польск. *telefon*, чеш. *telefon*, нем. *Telefon*, англ. *telephone*, франц. *téléphone*, итал. *telefono* и даже перс. *тэлэфон* и афг. *тилифун* стоит одна и та же межъязыковая схема: [t] + передний гласный + [l] + передний гласный + [f] + задний (лабиализованный) гласный + [n] [15]. Но и эта схема может частично изменяться и даже редуцироваться, не мешая отождествлению диалексем двуязычными лицами (ср. груз. *тэлэпʰони*, бенг. *тэлипʰон*, хауса *telihon* и, наконец, индонез. *tilpun*). Дело в том, что слово воспринимается как фонетически единое целое, а не совокупность отдельных фонем. Многие фонемы и их признаки вообще не принимаются во внимание слушающим, который выхватывает из потока информации отдельные данные, восстанавливая в основных чертах весь поток. Кроме того, реальный билингв имеет дело не с многоязычной схемой, а с привычными механизмами переключения с одной фонологической системы на другую: так, русско-индонезийский билингв ожидает встретить в европеизмах индонезийской лексики [p] на месте [f].

Близость графической оболочки более важна, чем близость произношения, для идентификации множества интернационализмов терминологического характера: в специальных сферах, особенно в области науки и техники, преобладает письменный межязыковой обмен информацией. Степень этой близости при общих или сходных письменностях бывает сравнительно высокой; к тому же, здесь также действуют закономерности графических и орфографических соответствий. В случае же идеографического письма письменная форма может быть единственным сходным или даже тождественным моментом в полиэлементах, что создает особые типы интернационализмов. Изучение графических соответствий также может производиться путем построения межъязыковых схем для каждой изоглоссы. Возможно создание системы соответствий применительно к однородному слою интернационализмов в пределах ряда языков, причем точкой отсчета может послужить один из сопоставляемых языков или язык-источник [16].

Наконец, сходство мотивировок также подразумевает возможность частичных расхождений, не мешающих идентификации слов или фразеологизмов на основе общности ряда признаков их «внутренней формы». В соответствии таким названиям высотного дома, как русск. *небоскреб*, англ. *sky-skraper*, швед. *sky-skrapa*, франц. *gratte-ciel*, итал. *grattacielo* и т. д. (букв. «то, что царапает небо»), мы встречаем укр. *хмарочос*, нем. *Wolkenkratzer*, голл. *wolkenkrabber*, рум. *zgîrie-nori*, фин. *pilvenpiirtäjä* (букв. «то, что царапает тучи»). Русскому *скрестить мечи*, англ. *to cross swords*, франц. *croiser les épées* соответствует нем. *die Klingen kreutzen* (букв. «скрестить клинки»).

Мотивировка как синхронический признак слова или устойчивого словосочетания является относительным признаком и с внутриязыковой точки зрения. Например, существуют различные степени морфемной членимости слов. Приходится учитывать и социальный фактор: мотивировки многих терминов и части фразеологизмов по-разному воспринимаются сред-

[15] См.: D. Corceag, Remarques sur la structure des «mots internationaux», «Actes du X-me Congrès international des linguistes», Bucarest, 1970.

[16] См.: Cl. Tchekhoff, Les formations savantes gréco-latines en français, anglais, italien, espagnol, allemand et russe. Norme et déviations récentes, «La linguistique», VII, 2, 1971.

ним носителем языка, образованным человеком и квалифицированным специалистом. Все же этот признак существует в языке объективно, о чем, кстати, свидетельствуют данные интерлингвистики. Только калькирование, воспроизводящее синхроническую мотивировку слов и словосочетаний ведет к созданию омологичных диалексем и диафразем. Если одни европейские языки, перенимая непосредственно или опосредствованно нем. *Buchhalter* или франц. *eau de Cologne*, ориентировались на фонематическую оболочку слов, то другие воссоздавали только синхроническую мотивировку соответствующих слов. В результате языки-источники вступили в два ряда интернациональных соответствий: нем. *Buchhalter* — 1) русск. *бухгалтер*, укр. *бухгалтер*, польск. *buchalter* и т. д. (тип II), 2) англ. *book-keeper*, норв. *bokholder*, латыш. *grāmatvedis* и т. д. (тип VII); франц. *eau de Cologne* — 1) русск. *одеколон*, укр. *одеколон*, болг. *одеколон*, латыш. *odekolons* и т. д. (тип II), 2) нем. *Kölnischwasser*, польск. *woda kolońska*, чеш. *kolinská voda*, эст. *kölni vesi*, венг. *kölniviz*, исп. *agua de Colonia* и пр. (тип VII). При калькировании же только этимологической мотивировки слова возникают лексемы, в плане выражения вообще не ассоциирующиеся со словом-образцом. Так, русск. *электричество*, польск. *elektryczność*, англ. *electricity*, франц. *electricité* и подобные слова сегодня никак не ассоциируются с греч. ἤλεκτρον «янтарь», поэтому скалькированные араб. *kahrabā* (от *kahramān* «янтарь») или исл. *rafmagn* (от *raf* «янтарь» и *magn* «сила») по отношению к европейским языкам столь же неинтернациональны, как и венг. *villamosság* или кит. *дяньци*, в основу мотивировки которых положен иной образ («молния»).

Обязательным условием для признания сопоставляемых лексических элементов интернациональными является сходство их семантики. Но любое сходство имеет относительный характер, а это значит, что между полным тождеством и полным нетождеством лежат переходные случаи. Безусловные псевдоинтернационализмы (омонимичные полилексемы и полифраземы) мы встречаем в таких случаях, как англ. *fabric* «ткань; изделие; строение» ≠ франц. *fabrique*, нем. *Fabrik*, русск. *фабрика*, польск. *fabryka*, латыш. *fabrika*, узб. *фабрика* и т. п. («промышленное предприятие»), или в англ. *play of words* «фразерство» ≠ франц. *jeu de mots*, нем. *Wortspiel*, русск. *игра слов* и под. («каламбур»). Зато едва ли можно однозначно определить случаи лишь частичного расхождения соотносительных значений: русск. *костюм*, франц. *costume*, нем. *Kostüm* и англ. *costume* в значении «верхняя одежда из нескольких частей» в основном соответствуют друг другу, хотя французское слово закреплено за мужской одеждой, а немецкое и английское — за дамской, тем самым превращая эти соответствия в частичных «ложных друзей переводчика».

Определенные трудности вызывает изучение сходных многозначных полилексем с частью совпадающими, частью расходящимися значениями. Обычно их приводят в словарях типа «ложные друзья переводчика», но картина соотношения их значений [17] и отношение их к категориям интернациональности — псевдоинтернациональности здесь достаточно сложны. В качестве рабочего приема возможно построение для группы рассматриваемых языков надъязыковой семантической гиперструктуры, включающей значения всех сопоставляемых слов [18]: этот метод до некоторой степени соответствует построению межъязыковых фонетических

[17] См.: Р. А. Будагов, Типы соответствий между значениями слов в родственных языках, ФН, 1968, 5; его же, О новых изданиях словарей типа «ложные друзья переводчика», ИАН ОЛЯ, 1970, 1.

[18] См.: М. И. Палатов, Семантическая структура интерлингвизмов греколатинского происхождения в современных европейских языках. АКД, Алма-Ата, 1970.

(графических) схем, о которых говорилось выше. Но важно помнить, что реально обычно соприкасаются конкретные два языка, и это положение в основном остается в силе даже для более редких ситуаций одновременного многоязычного общения. При этом сказывается еще одна важная особенность интернационализмов — их векторный, направленный характер. Во всех аспектах и, пожалуй, более всего в плане семантики какой-либо элемент может быть признан международным только с точки зрения конкретного языка. Поясним это на примере. Сопоставляя семантические структуры слов: русск. *багаж*, англ. *baggage*, нем. *Bagage* и франц. *bagage*, мы убеждаемся в их частичных расхождениях. Все эти слова, безусловно, интернациональны (являются межъязыковыми синонимами [19]) для всех четырех языков только в главном значении — «упакованные вещи для перевозки». С точки зрения русского языка, степень международности ниже у специального военного значения слов западноевропейских языков — «обоз», хотя на фоне общего главного значения оно представляется достаточно понятным, обоснованным билингву или полиглоту с родным русским языком. Еще ниже уровень понятности, а следовательно и интернациональности, с точки зрения немца и англичанина, у русского и французского слов в значении «запас знаний», хотя в соотношении последних двух языков слова в этом значении абсолютно интернациональны. Наконец, полностью специфичны, немотивированы с точки зрения любого из остальных языков, а значит — псевдоинтернациональны немецкое и английское слова в аффективных переносных значениях [нем. бранное «сброд, сволочь», как в *Die ganze Bagage hockte wieder zusammen* «Снова собрался весь этот сброд»; англ. (главным образом шутл.) «негодница» — о молодой женщине, как в *Well, he has shown the insolent baggage the door* «Ну что ж, он указал дерзкой негоднице на дверь»].

Таким образом, приходится говорить об интернациональности многозначных слов (как и фразеологизмов) только в определенных значениях и с точки зрения тех языков, диалексемы (диафраземы) которых им семантически соответствуют. Степень такого соответствия бывает полной и частичной. В последнем случае многое зависит от уровня общего и лингвистического развития двуязычного лица, хотя и здесь существуют средние характеристики, типичные для носителей какого-то языка. Используя термины лингвометодики, можно назвать интернациональными не только «подлинных друзей переводчика», но и тех «ложных друзей переводчика», которые при определенных отклонениях в конце концов содействуют пониманию слова. Известно, что соответствия значений особенно часто встречаются и сознательно устанавливаются в рамках специальных терминологий, роль которых в современных языках все более возрастает.

Кроме того, невозможно ограничиться только сопоставлением словарных статей, хотя уже такое контрастивное описание позволяет наметить основные черты сходств и расхождений в семантике интернационализмов. Показательно, что в словах исторически тесно взаимосвязанных языков главные значения чаще всего совпадают, а национальная специфика ощущается среди вторичных, часто фразеологически или грамматически связанных, стилистически или эмоционально окрашенных значений. Но в реальных ситуациях двуязычной коммуникации в сознании двуязычного лица сталкиваются не отдельные слова и не их семантические структуры в целом, а синтагматические значения слов в контексте. На практике многие специфические значения удается легко понять и усвоить, так как, кро-

[19] Не следует смешивать интерлингвистические понятия межъязыковой синонимии, омонимии, паронимии с интралингвистическими понятиями синонимии, омонимии и паронимии: первые имеют иное значение, касаясь соотношения фактов разных языков.

ме опоры на общие для слов обоих языков значения, на универсальные семантические переносы и т. д., двуязычный говорящий — слушающий опирается на семантику контекста. Между тем, в речи даже при одноязычном общении словарные расхождения могут нередко нейтрализоваться. Так, франц. *champignon* «гриб» считается «ложным другом переводчика» по отношению к русск. *шампиньон*, нем. *Champignon* и англ. *champignon* (или *field mushroom*), которые обозначают только один вид грибов (Psalliota campestris Quel), называемый по-французски либо *champignon de couche* (или *de Paris*), либо *agaric*. Но название типа *champignons de Paris* годится для торговой переписки, пишется на консервных банках, тогда как в практике гастрономии, ресторанов говорят кратко *champignons*. В той же французской речи тенденция к отказу от повторения слова приводит к свободной взаимной замене в одном тексте слов типа *costume* («мужской костюм») — *tailleur* («дамский костюм»).

Мера положительного, а кое в чем и дезориентирующего (за счет расхождений в семантике, стилистических характеристиках, валентности) влияния международных элементов на межъязыковую коммуникацию еще недостаточно изучена. Отчасти дело зависит от того, имеет ли место в данном случае анализ или синтез речи, принадлежит ли речь первому (родному) или второму языку билингва. Картина изменяется также применительно к разным группам международных элементов. Например, в ситуациях чешско-русского двуязычия в речи встречается около 6% «ложных друзей переводчика» [20], однако основная часть их относится к общеславянской, лишь ограниченно (в рамках одной семьи) международной лексике, тогда как широкие европеизмы в такой роли встречаются намного реже. В англо-русских переводах, по предварительным подсчетам, не менее 70% европеизмов может быть переведено своими диалексемами без дальнейшего корректирования текста; в 22% случаев такой перевод оказывается понятным, но слишком буквальным, и первые, простейшие эквиваленты, сыгравшие свою роль в поисках подходящего слова, заменяются более удачными; не более, чем в 8% случаев буквальный перевод ведет к тем или иным, порой серьезным, нарушениям семантики текста.

III. Адекватные методы изучения каждого объекта обусловливаются его принципиальными характеристиками. Существенные признаки лексических интернационализмов как объективной интерлингвистической категории могут быть установлены последовательным применением трех методов или групп методов. Ареальный подход позволяет установить ономасиологические изоглоссы и районы распространения интернационализмов на лингвистической карте мира. Далее, синхронно-сопоставительный (контрастивный) анализ отражает в общих чертах моменты сходства и различия в массах интернационализмов, представленных в парах или группах сопоставляемых языков. Наконец, методы анализа индивидуальной речи в ситуациях двуязычия и многоязычия и, в частности, переводческое сопоставление языков дают возможность проверить реальную способность интернационализмов регулярно отождествляться и облегчать передачу информации в условиях соприкосновения разных языков.

Изучение языков этими методами показывает, что словарный состав любого языка, как правило, не бывает изолирован от многих других языков. При этом среди всех видов общих черт в словарях особое место занимают именно интернациональные элементы, хотя и очень неодинакового распространения. Самые узкие изоглоссы международных элементов обнаруживаются в рамках немногочисленных соседних языков. Для

[20] Ср.: «Пособие по лексикологии русского языка», под ред. Л. В. Копецкого, Praha, 1967, стр. 51.

близкородственных языков это нередко бывают когнаты (ср. хотя бы положение в славянских, скандинавских, тюркских языках); именно они в первую очередь лежат в основе взаимной понятности таких языков, как русский, украинский и белорусский или датский, шведский и норвежский. Однако и в лексике таких языков обычно представлен второй, порой более многочисленный слой международных элементов, возникший уже не генетическими, а более широкими историческими путями и объединяющий эти языки с другими независимо от их генетической близости. В неблизкородственных и неродственных языках встречаются только интернационализмы этого второго типа, которые могут быть характерными для немногих языков, но могут объединять и десятки развитых языков, приобретая иногда мировое (хотя и не абсолютно универсальное) распространение. Крупнейшие группы интернационализмов обоих типов группируются в лексике языка в своеобразные подсистемы, имеющие те или иные фонологические, морфемные, грамматические, стилистические особенности. Именно в пределах таких подсистем между языками возникают более или менее регулярные соответствия.

Ареальный подход к интернационализмам отличается от изучения явлений сродства, определяемых на основе сочетания синхронических и диахронических признаков и являющихся не реальной категорией языка, а условным исследовательским построением. Интернационализмы же представляют собой синхроническую категорию и могут устанавливаться лишь применительно к определенному периоду. По признаку их наличия в словарях языки в каждый данный момент оказываются в многообразных связях друг с другом. В настоящее время с точки зрения существования в них интернационализмов самого широкого распространения наиболее развитые языки Земли объединяются в пять больших ареалов и ряд более ограниченных субареалов [21]. Каждый большой ареал образовался вокруг одного или немногих великих международных языков средневековья, а частично и нового времени. Это европейско-американский ареал, относительно молодой, но активный ареал языков народов СССР и три восточных региона: ближне- и средневосточный, южноазиатский и восточноазиатский. Основными центрами объединяющих влияний в первом из них явились прежде всего древнегреческий язык и латынь (в последние столетия также французский, английский и русский языки), во втором — русский язык. Главные источники влияний в языковых доменах Востока — это соответственно классический арабский язык и фарси; для Индостана и смежных районов — санскрит и пали, частично и арабский, и фарси; наконец, китайский язык (вэньянь), а в последние столетия также японский язык. Таким образом, наряду с общепризнанными интернационализмами-европеизмами, нередко проникающими в языки всех ареалов (ср. почти мировые изоглоссы типа *метр*) интернациональными оказываются и термины наподобие русск. *кислород* (во многих языках народов СССР), араб. *саййара* «планета» (на Ближнем и Среднем Востоке), хинди *вимāн* «самолет» (в языках Индостана), кит. *дяньци* «электричество» (в Восточной Азии).

Тысячи подобных изоглосс охватывают языки в пределах ареалов, объединяя их сходными формами семантического воплощения важнейших понятий современной культуры, науки и техники. Ареалы широких интернационализмов обычно связаны между собой переходными зонами вибраций и постепенно перерастают один в другой. В последнее время все они заметно сближаются прежде всего за счет распространения европеиз-

[21] Детальнее см.: В. В. Акуленко, Вопросы интернационализации словарного состава языка, стр. 57—96.

мов и советизмов. Подлинно универсального распространения интернационализмы не могут получать по причинам как лингвистико-типологического, так и культурно-исторического характера. Сближение лексики языков разных ареалов происходит также в ходе выработки мировых функционально-семантических соответствий, ориентированных главным образом на греко-латинские образцы [22]. Так, в новейшей терминологии суффиксам типа русск. *-изм*, укр. *-ізм*, англ. *-ism*, нем. *-ismus*, франц. *-isme* и т. д. все регулярнее соответствуют в восточных ареалах внешне непохожие на них морфемы: хинди *—вād*, урду *-вād*, *-ийат*, бенг. *-бад*, маратхи *-вād*, телугу *-вадаму*, араб. *-ийя*, кит. *-чжу'и*, кор. *-чжуый*, япон. *-сюги*, вьетн. *chu'ngĩa*, тайск. *-нийом*, кхмер. *-нийум* и др. (некоторые из них международны в своих ареалах или субареалах).

В пределах ареалов существуют субареалы, выраженные очень четко (как балканские языки в Европе или группа языков на стыке Южного Индостана и Юго-Восточной Азии — район влияний пали) или более размытые. Скажем, восточноевропейские языки рядом особенностей отличаются от западноевропейских. Здесь сказывается влияние разных языков (ср. германизм со значением «какой»: нем. *was für*, дат. *hvad for*, норв. *hva for*, литов. *kàs peř*, латыш. *kas par*, польск. *co za*, чеш. *co za*, русск. *что за*, укр. *що за*, белорусск. *што за* и т. д.). Но, пожалуй, правильно определил главную историческую причину этого противопоставления П. Скок, сказавший, что как франки изменили западноевропейскую лексику, так славяне изменили лексику восточноевропейских языков [23]. Например, старейшее бытовое понятие «рынок» передается в ряде языков Восточной и Северной Европы такими международными славянизмами, как польск. *targ*, чеш. *trh*, словац. *trh*, серб.-хорв. *тр̀г*, словен. *trg*, молд. *тыргe*, алб. *treg*, латыш. *tirgus*, литов. *turgas*, эст. *turg*, фин. *tori*, швед. *torg*, норв. *torg*, дат. *torv*.

Таким образом, ареальное изучение лексических интернационализмов показывает, что степень синхронической близости сопоставляемых языков в новую эпоху нередко зависит не столько от их генетического родства, сколько от длительных культурно-политических и экономических контактов народов [24]. Уже в последние десятилетия возникли многочисленные изоглоссы интернационализмов, объединяющих языки социалистических наций. Например, новообразование русской лексики 20-х годов *трактористт*, распространившееся в 30-х годах во всех языках народов СССР (иногда с калькированием суффикса), сегодня получило соответствие и в болг. *трактористт*, польск. *traktorysta*, чеш. *traktorista*, словац. *traktorista*, рум. *tractorist*, алб. *traktoriste*, серб.-хорв. *трактористт*, нем. (в ГДР) *Traktorist*.

Методы синхронно-сопоставительного изучения интернационализмов в языке и в речи отчасти уже рассматривались выше. Необходимо еще раз подчеркнуть, что речь идет о сугубо синхроническом (но, конечно, не статическом) сопоставлении языков. Это никоим образом не означает недооценки этимолого-исторического подхода к интернациональным элементам: такой подход полезен и поучителен, но лишь после того, как они установлены на оси синхронии [25]. Подмена синхронического подхода

[22] См., например: Г. Ш. Ш а р б а т о в, Соотношение арабского литературного языка и современных арабских диалектов. АДД, М., 1966, стр. 60.

[23] Ср.: С. В. С е м ч и н с к и й, Семантическая интерференция языков (На материале славяно-восточнороманских контактов). АДД, Киев, 1973, стр. 51.

[24] Ср.: Р. И. П о п о в и ч, Соотношение фразеологии французского, молдавского, и русского языков, АКД, Л., 1967, стр. 15.

[25] См., например: В. С т р а у т и н ь, Адаптация интернационализмов и их фонетическая вариантность в латышском языке во второй половине XIX века. АКД, Рига, 1975.

диахроническим, попытка рассматривать интернационализмы как результат единого диахронического процесса неминуемо влечет за собой подмену понятий и уводит исследователя в сторону. Каждая синхроническая категория, как интралингвистического, так и интерлингвистического характера, складывается в результате сложного взаимодействия ряда диахронических процессов.

Интернациональная лексика возникает многими путями в плоскостях конвергентного, а отчасти и дивергентного развития языков [26]. Невозможность сведения путей возникновения интернациональной фразеологии только к калькированию также отмечается в современной литературе. За такими интернациональными соответствиями в области соматической фразеологии, как русск. *рвать на себе волосы*, укр. *рвати на собі волосся*, англ. *to tear one's hair*, нем. *sich die Haare ausraufen*, франц. *s'arracher les cheveux* и т. п., скрываются не только языковые контакты, но и независимое творчество языков, объясняемое сходством психологии, реалий, природных условий, социальной действительности, культурной жизни народов [27]. Поэтому неправомерно, признавая синхронический характер интернациональной лексики, допускать установление интернациональной фразеологии на основе этимологических данных [28]. Если имеется в виду та часть фразеологии, с которой связываются более или менее общенародные сведения о ее источниках (библеизмы, мифологизмы, крылатые слова и т. п.), то здесь подобные сведения принадлежат синхронии как сфере функционирования языка. Ведь в конечном счете и сама синхрония является составным элементом общей перспективы истории языка. Недаром, кстати, интерлингвистическое, синхронно-сопоставительное изучение соприкасающихся языков во многом позволяет предусмотреть интерференции и стоящие за ними возможности исторического изменения языков.

Контрастивное рассмотрение интернационализмов, предусматривающее всестороннее установление черт сходства и различия разноязычных элементов, степени их эквивалентности в параллельных высказываниях на сопоставляемых языках, не должно подменяться также структурно-типологическим методом. Плодотворный при решении иных вопросов, он неприменим к изучению интернационализмов, так как выдвигает на первое место структурные отношения, избегая обращения к деталям значения, формы, условий функционирования каждого из элементов. Типологическое тождество не имеет прямого отношения к соотносительности и тем более переводной эквивалентности единиц разных языков [29]. Упуская из виду это различие, исследователь рискует прийти к полному отрицанию существования интернационализмов [30]. Следует заметить, что в истории не только языкознания, но и других гуманитарных наук релятивизм нередко связывался с преувеличением роли структурных отношений.

Тот факт, что интернационализмы во всех своих аспектах лишь относительно сходны один с другим в различных языках, отнюдь не мешает существованию этой категории. Напротив, именно в этой относительности

---

[26] В. В. Акуленко, Інтернаціональні елементи у словниковому складі мови, «Мовознавство», 1973, 5, стр. 28.

[27] Ю. А. Долгополов, Сопоставительный анализ соматической фразеологии (На материале русского, английского и немецкого языков). АКД, Казань, 1973, стр. 25—26.

[28] Э. М. Солодухо, Сопоставительный анализ заимствованной фразеологии (На материале английского, французского и русского языков). АКД, Казань, 1974, стр. 22.

[29] См.: Р. А. Будагов, Соответствие и тождество в сопоставительном синтаксисе, «Omagiu lui Alexandru Rosetti», Bucureşti, 1965, стр. 97—100.

[30] Ср., например: М. М. Маковский, Теория лексической аттракции. Опыт функциональной типологии лексико-семантических систем, М., 1971, стр. 173.

проявляется взаимодействие общего, особенного и единичного. Международные элементы в словарях языков соединяют в себе межъязыковые черты с системностью и самобытностью в каждом из языков. Было бы серьезной ошибкой выводить интернациональные элементы за пределы национального. Между тем, именно к этому может привести распространенная в литературе абсолютизация этимологического взгляда на интернационализмы нескольких языков как на одно и то же слово, так как единственным путем возникновения, например, международной лексики часто объявляют заимствование. Однако за подобным взглядом кроется целый ряд недоразумений. Во-первых, он означает методологически ошибочную попытку подменить результат процессом. Во-вторых, при этом игнорируется реальная история языков с многообразными и сложными путями образования фондов интернационализмов. В-третьих, нельзя говорить только об общих чертах международных элементов, забывая об их неизбежных расхождениях.

Игнорируя национальное своеобразие интернационализмов, исследователь неминуемо склоняется к признанию их наднациональными элементами. Такой характер имеет, в частности, попытка противопоставить в европейских языках международную лексику новоязычного происхождения (интернациональность которой практически отрицается) и греко-латинские термины, называемые «нейтральным вненациональным фондом». Автор этой концепции утверждает, что, например, «английский суффикс *-ism*, немецкий *-ismus*, французский *-isme*, испанский *-ismo* в русском языке всегда будет представлен как *-изм*» [31]. Но между европеизмами классического, неоклассического и новоязычного происхождения нет непроходимых границ. Кроме того, все они имеют ту или иную национальную специфику. Не априорный подход, а последовательное сопоставление существительных с суффиксом *-изм* в русском языке и *-ismus* в чешском, а также и с остальными международными суффиксами показало, что даже в этих родственных языках исследуемые существительные совпали по форме и функции лишь в 68,8% случаев [32].

Наднациональными признают лексические интернационализмы также и те лингвисты, которые гипостазируют какие-либо рабочие методы, направленные на установление или описание общих признаков интернационализмов. Так, построение семантической гиперструктуры несет в себе опасность представить ее как сверхъязыковую реальность, которая «реализована в виде конкретных семантических структур в каждом исследуемом языке» [33]. Особенно часто гипостазируются изоглоссы. Но они, несомненно, являются построением исследователя, отражающим существование омологичных элементов в ряде языков (от двух до многих десятков), причем это существование для всех языков в большой изоглоссе — не более, чем потенция. Лишь в конкретных ситуациях соприкосновения двух или немногих языков эта межъязыковая категория проявляется практически. Представляя изоглоссу как реальную языковую данность, перенося ее из области гносеологии в область онтологии языка, лингвисты приходят к признанию интернационализмов вненациональными элементами [34].

---

[31] П. Л. Ким Юань-фу, Опыт синхронического изучения иноязычных лексических единиц. АКД, Алма-Ата, 1971, стр. 13.

[32] Й. Йирачек, Интернациональные суффиксы существительных в современном русском языке, Brno, 1971, стр. 245.

[33] М. И. Палатов, Семантическая структура интерлингвизмов греко-латинского происхождения в современных европейских языках, стр. 4.

[34] Ср.: A. Pagliaro, W. Belardi, Linee di storia linguistica dell'Europa, Roma, 1963, стр. 221.

Интернационализмы, как и любые явления сферы межъязыковой общности, являются неотъемлемой частью каждого из языков. Они всегда сочетают в себе повторяющиеся в разных языках и неповторимые черты: при этом проявляется закономерность взаимосвязи общего и отдельного, согласно которой «всякое общее лишь приблизительно охватывает все отдельные предметы», а «всякое отдельное неполно входит в общее...» [35]. Однако общее в них преобладает, что и отличает их от неинтернациональной части словаря. Впрочем разграничение в словаре интернациональных и неинтернациональных элементов нельзя трактовать как их разделение непроходимыми барьерами. Здесь существует много переходных звеньев, и то, что ощущается как интернациональное в связях данного языка с одними языками, выступает как неинтернациональное в его связях с другими языками. Да и самая неинтернациональность не означает только специфики, отличий от других языков: в ней также немало общего, о чем свидетельствует вся практика соприкосновения языков.

Интернационализмы стали общепризнанными в огромных районах формами семантического воплощения важнейших понятий современной культуры. С этим связана их роль во всех основных путях преодоления языкового барьера. Их появление и расширение в словарном составе языка способствует его более эффективному использованию в процессах международного обмена информацией. И все же при кодификации литературных языков и стандартизации терминологических систем сам по себе факт интернациональности того или иного элемента нельзя абсолютизировать. Новый элемент даже и международного характера оказывается необходимым только тогда, когда межъязыковые тенденции к его появлению совпадают с собственными внутренними потребностями и возможностями самого языка. Многочисленные доказательства можно найти в истории любого литературного языка.

Таким образом, в языке, как и во всех остальных сферах, интернациональное не противостоит национальному, а воплощается в нем. Этим объясняется то обстоятельство, что интернационализация словарей языков является одним из естественных и важнейших путей их самобытного развития.

---

[35] В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 29, стр. 318.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1976

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

М. Н. БОГОЛЮБОВ

АРАМЕЙСКАЯ НАДПИСЬ ИЗ ТАКСИЛЫ

Исследование Г. Гумбаха, посвященное арамейской надписи из Таксилы [1] (далее Такс.), не оставляет места сомнениям в том, что в ней воспроизведена часть IV наскального эдикта Ашоки. В его интерпретации Такс. в значительной степени самостоятельна. И пример арамейской версии Кандагарской билингвы (далее Канд. I), а также вступительных фраз в арамейских надписях из Лагмана (далее Лагм. I и II), не связанных текстуально ни с одним из известных эдиктов Ашоки, поддержал бы своеобразие Такс. по отношению к пракритскому тексту IV наскального эдикта. Но некоторые места Такс., как их восстанавливает и соотносит с эдиктом Г. Гумбах, вопрос о языке Такс., а также предпочтение, которое он отдал версии эдикта, происходящей из селения Шахбаз-гархи (далее Шахб.), вызывают возражения. Например, он сам отметил, что версия эдикта из селения Мансехра (далее Манс.) стоит ближе к Такс., чем к Шахб., в случае vaḍhitaṃ vaḍhiśati ca yo (Шахб.) «es wurde gefördert und es wird wachsen» и vadhrite vadhrayiśati yeva (Манс.) «er hat gefördert und er wird fördern». Правильно восстановив на месте прежнего hwt[wy] «господин» арам. hwt[yr] «er hat gefördert», он получил параллель именно к Манс., значения этому, однако, не придал. Тем не менее выбор версии эдикта имеет первостепенную значимость.

В пракритских версиях IV наскального эдикта есть разночтения. Так, фраза [l'mwhy] wl'bwhy .... hwptysty «[матери своей] и отцу своему ... благое послушание», которая явилась основным связующим звеном между Такс. и IV наскальным эдиктом, выступает в его версиях в трех вариантах: 1) Mātāpitisu sususā (Калси) «Матери и отцу послушание», 2) Matapituṣu vuḍhanaṃ suśruṣa (Шахб.) «Матери и отцу и старикам послушание», 3) Matapituṣu suśruṣa. Vudhrana suśruṣa (Манс.) «Матери и отцу послушание. Старикам послушание».

Ни с одним из этих вариантов не согласуется текст Такс., как его читает Г. Гумбах: [L'MWHY] WL'BWHY hww[rd] hwptysty «[Gegenüber seiner Mutter] und gegenüber seinem Vater gute Fö[rderung] (und) guter Gehorsam». Между тем третью букву в hww[можно с уверенностью принять за ⟨p⟩. Это дает возможность на месте hww[rd] восстановить hwp[tysty] «благое послушание». В таком чтении текст Такс. [l'mwhy] wl'bwhy hwp[tysty .....] hwptysty «[матери своей] и отцу своему благое пос[лушание. Старикам] благое послушание» последовательно воспроизводит опять же разночтение Манс.

[1] H. Humbach, Die aramäische Inschrift von Taxila, «Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Abhandlungen der geistes- und sozialwissenschaftlichen Klasse», 1969, 1.

С тем, чтобы было удобнее следить за сличением арамейского и пракритского текстов, ниже приводится Такс. в общепринятом чтении, которого придерживается Г. Гумбах, а также соответствующая ему часть IV наскального эдикта в версии из с. Мансехра.

(1) [..] ʿzkrʾ wt[
(2) ldmydty ʿl[
(3) ngd/rwt' ʿl[
(4) 'rzwš ngd/rwt'[
(5) wl'bwhy hww[
(6) hwptysty znh[
(7) zk bhwwrdh[
(8) hwnštwn zy hwt[
(9) mr'n prydr[
(10) hlkwt[h
(11) w'p bnwhy[
(12) lmr'n prydr[

Adiśe bahuhi vaṣaśatehi na hutapruve. Tadiśe aja vaḍhite devanapriyasa Priyadraśine rajine dhramanuśastiya. Anarabhe praṇana. Avihisa bhutana. Ñatina saṃpaṭipati. Bamaṇaśramaṇana saṃpaṭipati. Matapituṣu suśruṣa. Vudhara suśruṣa. Eṣe aña ca bahuvidhe dhramacaraṇe vaḍhrite vaḍhrayiśati yeva devanapriye Priyadraśi raja dhamacaraṇa imaṃ. Putra pi ca ka natare ca paṇatika devanapriyasa Priyadaśine rajine pavaḍhayiśaṃti yo dhramacaraṇa imaṃ «Многие сотни лет не существовало прежде того, что теперь поощрено „любимцем богов" царем Приядарши путем провозглашения дхармы: Неубиение животных. Непричинение вреда живым существам. Уважение родственникам. Уважение брахманам и отшельникам. Послушание матери и отцу. Послушание старикам. Он поощрил это и другое многообразное следование дхарме. „Любимец богов" царь Приядарши будет поощрять это следование дхарме. И также дети, и внуки, и правнуки „любимца богов" царя Приядарши будут поощрять это следование дхарме».

Есть в Такс. и еще два устаревших чтения,— (7) zk и (8) hwnštwn zy, которые следует исправить. Местоимение (7) zk неуместно между [другой] и bhwwrdh (<инд. bahuvidha) «многими путями; многообразный». Г. Гумбах склонен придать самому zk значение «другой», но такое употребление ZK не выходит за пределы пехлевийской письменности и не имеет основания в имперско-арамейском [2]. Судя по написаниям ngdwt' (3) и hlkwt' (10), буквы ⟨k⟩ и ⟨n⟩ мало отличались друг от друга. В арамейском письме Аршама (7 : 3) встречается арамеизованное wspzn (<др.-иран., др.-перс. wispazana-) «всех родов». В Такс. на месте инд. aña «другой» могло бы быть либо иран. ['ny]zn *anya-zana- «другого рода», ср. согд. 'ny'z'nk' «другого рода; другой», либо арам. ['ḫr]zn «другого рода», поскольку zn в значении «род; вид; средство; орудие» известно в арамейском как самостоятельное слово, ср.: zn zn yrḥ byrḥ (Cowley, 17 : 3) «одно за другим, месяц за месяцем»; библ.-арам. kl zny zmr' (Дан. 3 : 5, 7, 10, 15) «всякие музыкальные орудия»; евр. mizzan 'el-zan (Псал. 144 : 13) «всякого рода», букв. «от вида к виду».

Чтение hwnštwn zy было порождено стремлением увидеть в несвязном тексте знакомые слова, в данном случае — библ.-арам. nštwn «повеление» (<др.-иран. ni-štawāna-) и арам. zy «который». Последняя буква в hwnštwn со всей определенностью — ⟨r⟩, а не ⟨n⟩: hwnštwr. Буквы ⟨z⟩ и ⟨y⟩ на-

[2] И. Н. Винников сомневался в правильности чтения zk, см.: И. Н. Винников, Словарь арамейских надписей, «Палестинский сборник», 1962, 7, стр. 209.

писаны в продолжение hwnštwr, составляя с ним одно слово — иран. hwnštwrzy. В нем два компонента: hwnšt + wrzy. Первый — hwnšt, является прилагательным в превосходной степени на -išta- от xwani-: hun- «хороший», ср. др.-перс. uvdᵘuš hunθanduš «довольный» из hun- и θand- «казаться»; *huništa- «лучший». Второй компонент — wrzy *warzya-/*warzī- «дело, деяние». В значении «лучшее деяние; добродетель» hwnštwrzy *huništawarzya-/*hunistawarzī- представляет собою перевод одного из известных толкований термина «дхарма». Одновременно hwnštwrzy поддается разложению на три компонента: hu-(«хороший») + ništā («установление» по типу upastā- «помощь») + warzya-/warzī- «дело, деяние». В таком составе hwnštwrzy означало бы «деяние, предписанное добрым установлением». Первое объяснение — «лучшее деяние; добродетель», т. е. дхарма, представляется более приемлемым.

Плотность расположения букв в строках Такс. не одинакова. В строках (7) zn bhwwrdh [hlkwt] и (9) mr'n prydr[š mlk'] помещалось 14 знаков, в строках (4) 'rzwš ngdwt' [l'mwhy] и (10) hlkwt h[wnštwrzy znh]—17 знаков. В стк. (5) было не менее 20 знаков, поскольку в конце находилось «старикам», возможно, арам. lzqny : (5) wl'bwhy hwp[tysty lzqny(?)]. Также 20 знаков приходится предположить в стк. (8) hwnštwrzy hwt[yr wyhwtr]. С восстановлением в стк. (8) глагола yhwtr «он будет поощрять» достигается полное тождество соответствующих мест Манс. и Такс., ср.: (пракр.) Ese aṅe ca bahuvidhe dhramacaraṇe vadhrite vadhrayiśati yeva Devanapriye Priyadraśi raja dhamacaraṇa imaṃ «Это и другое многообразное следование дхарме поощрил (букв. поощрено), и будет поощрять „любимец богов" Приядарши, царь, следование дхарме это», арам. znh [w'ny/w'hr] zn bhwwrdh [hlkwt] hwnštwrzy hwt[yr wyhwtr] mr'n prydr[š mlk'] hlkwt h[wnštwrzy znh] «Это [и другого] рода многообразное [следование] лучшему деянию (= дхарме) поощ[рил и будет поощрять] наш господин Приядарши, царь, следование [лучшему деянию] это».

Задачу отождествления текста Такс., расположенного в строках 6—12, облегчила фраза [l'mwhy] wl'bwhy ... hwptysty, которую здесь можно было принять за отправную точку. Для верхней части текста в качестве подобной опоры Г. Гумбах избрал буквенное сочетание ldmydty. Он выделил в нем три компонента — L-dmy dty, и по звуковому сходству dmy и инд. dhraṃma/dhaṃma истолковал группу L-dmy dty как перевод инд. dhraṃmanuśastiya «durch die Verkündung des Dharma/Dhamma», считая, что damme dāte «eingesetzter Dharma/Dhamma» является индоиранским гибридным образованием. Нельзя, однако, признать удачными как объяснение, которое Г. Гумбах дал ldmydty, так и соотнесение ldmydty с dhraṃmanuśastiya по местоположению. Между (2) ldmydty и (4) [l'mwhy] wl'bwhy hwp[tysty] не хватило места для слов, которые передавали бы инд. Ñatina saṃpaṭipati. Bamaṇaśramaṇana saṃpaṭipati. Также знаки, сохранившиеся в стк. 1, предполагают, что перед ldmydty находился какой-то другой арамейский текст, не тот, который предшествует dhraṃmanuśastiya «путем провозглашения дхармы».

Судя по тексту Такс. в строках 6—10, как он восстановлен выше, переводчик полностью сохранил порядок слов оригинала. Он уступил лишь требованию грамматики, расположив в обратном порядке члены определительной конструкции (7/8) [hlkwt) hwnštwrzy, (10) hlkwt h[wnštwrzy] «следование дхарме» по отношению к компонентам словосочетания dhramacaraṇe «Dharma-Wandel». Едва ли текст в строках 1—4 как-то по-иному передает оригинал. По-видимому и здесь порядок слов оригинала не нарушен. Значит и для этой части надписи фраза (4) [l'mwhy] wl'lwhy hwp[tysty] может быть отправной точкой. Разбор текста при этом, конечно, придется вести, передвигаясь снизу вверх, от стк. 4 к стк. 1. Сло-

вам matapituṣu suśrusa предшествует отглагольное имя saṃpaṭipati (<saṃpratipatti), «учтивость; уважение», образованное от padyati «он идет» с превербами saṃ-prati «идет навстречу; посвящает себя; считается; проявляет учтивость, уважение». Г. Гумбах объяснил определение hu- «хороший; благой», отличающее hwptysty (Такс. 5, 6; Канд. I 6) *hu-patyăstī «благое послушание» от ptysty (Канд. II 4, 5) *patyăstī «послушание», как следствие ошибочного расчленения инд. suśruṣa «послушание», образованного путем удвоения (<śuśrūṣā от śru «слушать»), на su- «хороший» и śruṣa. Также ошибочно поняв состав saṃpaṭipati, переводчик эдикта разделил его на наречие saṃpraṭi (<saṃprati) «прямо напротив; навстречу» и paṭi (<patti) «движение; ход» и буквально передал saṃpraṭi pati также двумя словами 'rzwš ngdwt'.

Арам. NGD — иуд.-арам., сир., манд. ngad «тащить; вести; влечь», араб. nagada «помогать; оказывать поддержку», наряду с переходными имеет непереходные значения: «тянуться; течь; идти», ср.: wbtrwy kl br nš yngwd (Таргум, Иов 21 : 33) «и за ним идет каждый человек». Соответственно, ngdwt' помимо «ведение» означает «движение; ход» и точно передает инд. paṭi (<patti) «движение; ход». В 'rzwš отражено иранское наречие *ṛzuša от *ṛzu-, авест. ərəzu- «прямой; правильный; правый», др.-инд. ṛju «прямой; ровный; честный». По-видимому, 'rzwš *ṛzuša имело то же значение, что и инд. saṃpaṭi, и составляло с ngdwt' «движение; ход» описательный оборот, который толковался как «движение навстречу» → «учтивость; уважение». Таким образом, между (2) ldmydty и (4) [l'mwhy] расположены слова ʿl [. . . . . 'rzwš] ngdwt' ʿl [. . . . . .] 'rzwš ngdwt' «(букв.) К [родственникам навстречу] движение. К [брахманам и аскетам] навстречу движение», передающие инд. Ñatina saṃpaṭipati. Bamaṇaśramaṇana saṃpaṭipati. Едва ли термины bamaṇaśramaṇana «брахманы и аскеты» были замещены арамейскими или иранскими словами. Скорее всего они были транслитерированы. На месте инд. ñatina «родственникам» могло бы находиться арам. ʿl [qrbn/y(')]. В обоих случаях количество знаков в строке не превысит допустимые 20 знаков.

Перед инд. Ñatina saṃpaṭipati находится bhutana род. пад. мн. числа от bhuta (<bhūta) «тварь; живое существо». В Такс. словам ʿl [qrbn/y 'rzwš] ngdwt' предшествует ldmydty, оформленное по-арамейски предлогом объекта l- и показателем множественного числа определенного состояния -y('); dmydt точно передает др.-иран. *dāmidāta-, авест. dāmidāta- «созданное создателем» — «тварь; живое существо». Следовательно, инд. bhutana = = арам. ldmydty.

И теперь о слове в стк. 1. Оно расположено несколько отступя от правого края, так что перед ним есть место для двух-трех знаков. Буквы, составляющие слово (Каули читал здесь SDWQ, Андреас — ZKRWT), по верхней горизонтальной линии повреждены. Сохранившиеся начертания нижнего уровня позволяют, однако, восстановить здесь nkswt(') «убиение; умерщвление» от NKS «убивать; резать», иуд.-арам. nkas (о людях и животных), сир., манд. nkas, аккад. nakāsu; импер.-арам. NKS продолжается в пехлевийской идеограмме NKSWNtn = ср.-перс. kuštan «убивать». Арам. nkswt(') с частицей отрицания, которая находилась в начале строки 1 или в конце строки [1], передает инд. anarabhe (<an-ālabha) «неубиение». Следовательно, Такс. начиналась со слов, которые соответствовали инд. Anarabhe praṇana. Avihisa bhutana «Неубиение животных. Непричинение вреда живым существам». Из них сохранились лишь два — (1) [. .] nkswt [..... ....], (2) ldmydty. Арам. brywt (Лагм. I и II), возможно, приравнивалось инд. praṇana (<prāṇānām). Арам. mrʿ (Канд. I, 2) близко к инд. vihisa (<vihiṃsā) «причинение вреда».

IV паскальный эдикт Ашоки

Текст

Мансехра	Таксила
Anarabhe praṇana. Avihisa	(1) [. .]nkswt [. . . . . .]
bhutana. Ñatina saṃpaṭi	(2) ldmydty 'l [. . . . .' rzwš]
pati. Bamaṇaśramaṇana	(3) ngdwt' 'l [. . . . . .]
saṃpaṭi pati. Mata	(4) 'rzwš ngdwt' [l'mwhy]
pituṣu suśruṣa. Vudhrana	(5) wl'bwhy hwp[tysty . . . . . .]
suśruṣa. Eṣe aña ca	(6) hwptysty znh [w'ny]
bahuvidhe dhrama-	(7) zn bhwwrdh [hlkwt]
caraṇe vadhrite vadhrayiśati yeva	(8) hwnštwrzy hwt[yr wyhwtr]
devanapriye priyadraśi raja	(9) mr'n prydr [š mlk']
dhamacaraṇa imaṃ	(10) hlkwt h [wnštwrzy znh]
putra pi ca ka natare ca paṇatika	(11) w'p bnwhy [. . . . . .]
devanapriyasa priyadaśine rajine pavaḍhayiśaṃti	(12) lmr'n prydr[š mlk' yhwtrwn] [hlkwt hwnštwrzy znh]
yo dhramacaraṇa imaṃ	

Перевод

Неубиение животных. Непричинение вреда	(1) [Не]убиение [животных. Не причинение вреда]
живым существам. Родственникам ува-	(2) живым существам. К [родным навстречу]
жение. Брахманам и отшельникам	(3) движение (= уважение). К [брахманам и отшельникам]
уважение. Матери и	(4) навстречу движение (= уважение). [Матери своей]
отцу послушание. Старикам	(5) и отцу своему благое по[слушание. Старикам]
послушание. Это и другое	(6) благое послушание. Это [и другого]
многими путями следование	(7) рода многими путями [следование]
дхарме поощрил, и будет поощрять	(8) лучшему деянию (= дхарме) поощ[рил и будет поощрять]
Любимец богов Приядарши, царь,	(9) наш господин Приядар[ши, царь,]
это следование дхарме.	(10) следование лу[чшему деянию это.]
И также сыновья и внуки и правнуки	(11) И также дети его [и внуки и правнуки]
любимца богов Приядарши, царя,	(12) нашего господина Приядар[ши, царя,]
будут поощрять это следование дхарме.	[будут поощрять это следование лучшему деянию.]

Kaṃboja-, название иранцев в эдиктах Ашоки, восходит к [народно-этимологическому осмыслению индийцами личного имени ахеменида — др.-перс. Kaṃbūjiya (Камбиз) — как титула, образованного от этнонима «камбоджский (царь)». Примечательно, что потомки писцов-арамеев, поселенных при первых ахеменидах в индоиранских пограничных областях, искусно применяли в середине III в. до н. э. арамейское письмо для пе-

редачи звуков пракрита (ср. надписи Пул-и Дарунта, Канд. II), но тексты, предназначенные для «камбоджцев», т. е. иранцев, по-прежнему составляли на арамейском языке, продолжая считать его общеписьменным языком. Неожиданным является арамейский календарный термин в датировке по коронации Ашоки: b'lwl m'h *bi'alūl māh «в месяце элуле» (Лагм. II). Словосочетание 'lwl m'h *'alūl māh «месяц элул» построено по иранской модели, ср. др.-перс. Bāgayād° māh°, Āçiyād° māh°, с иран. māh- вместо арам. yrḥ (ср. byrḥ 'lwl «в месяце элуле», Cowley, № 20), но включает арамейское название месяца. Этот факт указывает на сохранение в среде писцов элементов переднеазиатской культуры. В письменности, содержащей идеограммы, пример которой Гумбах хочет видеть в 'lwl m'h, произошло бы обратное: арамейская идеограмма YRḤ'/BYRḤ «месяц» сопровождала бы иранское название месяца. Такое словосочетание, как 'lwl m'h, могло появиться лишь в живом языке — иранском, бытовавшем в среде писцов, или в иранизованном арамейском. Написание | ā | в иран. māh- «месяц» через алеф, подобно передаче | ā | в арамейских транскрипциях пракритских слов, в свою очередь указывает на живое, некнижное происхождение 'lwl m'h.

Есть разница между тем, как работали писцы в ахеменидское время и при Ашоке. При ахеменидах иноязычная (иранская) терминология свободно вводилась в арамейский текст, ср. 'bšwn pyrk mdm (Bowman, № 20) «шест-дробилка средней величины», где три иранских термина следуют один за другим. В переводах с пракрита для терминов подыскиваются эквиваленты, ср.: арам. qšyṭ' «истина», иран. hwnštwrzy «лучшее деяние» для инд. dharma; арам. zrq «окроплен(ный)», иран. ptytw «облитый» (*patitāwa — страдательное причастие на -wa- от tā- «течь; лить» по типу др.-иран. *paxwa-, др.-инд. pakvá- «вареный») для инд. abhisikta «облитый; коронованный; арам. brywt (мн. ч.) «создания» для инд. prāṛānam; иран. (в арам. оформлении) l-dmydt-y для инд. bhūtānam. Такс. и Манс., вместе взятые, составляют как бы пракритско-арамейскую билингву. В этом заключена особая ценность Такс. Возможно, ее нахождение на индоязычной территории позволило переводчику оставить наречие инд. bahuvidham «многими путями» без перевода и ввести его в арамейский текст.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1970

Х. ШУСТЕР-ШЕВЦ

ЯЗЫК ЛУЖИЦКИХ СЕРБОВ И ЕГО МЕСТО В СЕМЬЕ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

Лужицкие сербы — славянское национальное меньшинство — населяют юго-восточную часть территории ГДР: округ Дрезден (Drježdżany) и округ Котбус (Chośebuz). Их язык не является единым. Он состоит из двух относительно близких западнославянских языков: верхне- и нижнелужицкого литературных языков и соответствующих им верхне- и нижнелужицких диалектов. Лужицкие сербы являются остатками той части славянского населения, которое в средние века населяло всю южную часть территории ГДР приблизительно до самой р. Заале. Из-за рано начавшейся экспансии немецкого феодализма на восток и отсутствия вследствие этого независимой экономической и политической интеграции древнелужицкие племена не могли объединиться в единую древнелужицкую народность. Уже в течение X—XI вв. они утратили свою политическую самостоятельность. В результате длительного и не всегда единого процесса ассимиляции бóльшая часть древнелужицкого населения в языковом и этническом отношении вошла в состав формирующейся немецкой народности. Лишь на территории исторической Лужицы славянское население (потомки обоих древнелужицких племен — лужичан и мильчан) смогли удержаться дольше, хотя и здесь монастыри и более крупные городские поселения уже в ранний период стали немецкими.

При определении родства языка можно исходить как из генетических, так и из сравнительно-типологических критериев. В славянском языкознании до сих пор преобладает генетико-историческая постановка вопроса, которая самым тесным образом связана с этнолингвистическими проблемами; сравнительно-типологические методы исследования только начинают применяться. Обусловлено это тем, что близкое генетическое родство славянских языков и диалектов вполне очевидно, а процесс стандартизации в большинстве славянских языков является более поздним и изучался менее интенсивно. До сих пор серболужицкий язык и его место в семье славянских языков рассматривали также преимущественно со сравнительно-исторической точки зрения.

Первое общее замечание, относящееся к этому комплексу вопросов, мы находим в вышедшей в 1891 г. нижнелужицкой грамматике Э. Муки, где говорится, что «...серболужицкий язык распадается на два основных диалекта, верхнелужицкий и нижнелужицкий, которые выдвинули два особых литературных языка, верхне- и нижнелужицкий. Нижнелужицкий диалект более близок польскому языку, а верхнелужицкий — чешскому, поэтому оба лужицких диалекта образуют мост от одного языка к другому» [1].

Л. В. Щерба, давший в начале этого века детальное описание восточно-нижнелужицкого (мужаковского) диалекта, отрицает существование единого

[1] E. Mucke, Historische und vergleichende Laut-und Formenlehre der niedersorbischen (niederlausitzisch-wendischen) Sprache, Leipzig, 1891, стр. 3.

лужицкого праязыка. Наряду с двумя основными собственно верхне- и нижнелужицкими диалектными областями он выделяет в качестве третьей основной диалектной единицы восточнолужицкую область (восточнолужицкое наречие) [2]. Л. В. Щерба не останавливается на вопросе об отношении серболужицкого языка к другим западнославянским языкам. Отстаиваемый им тезис о делении лужицкой языковой области на три части пытается опровергнуть А. А. Шахматов. Он сопоставляет ряд, по его утверждению, общеславянских фонетических черт, которые показывают, что серболужицкий язык развился все-таки из единой основы и «...представляется самостоятельным разветвлением того общего ствола, от которого пошли и другие лужицкие языки, но стволом этим надо признать не праславянский язык, а восходящий к праславянскому общелужицкий язык» [3].

Однако до сих пор проблемой определения места серболужицкого языка в семье славянских языков наиболее обстоятельно занимались польские ученые. Среди них прежде всего следует назвать В. Ташицкого и Зд. Штибера, которые подробно исследовали интересующий нас круг вопросов [4]. При этом В. Ташицкий подчеркивает особенно близкое родство серболужицкого языка с польским, которое, по его мнению, до процесса деназализации праславянских носовых гласных *ǫ и *ę должно было быть столь близким, что трудно провести четкую границу между древнелужицкой и древнепольской территориями. Только после завершения деназализации, на которую, по утверждению В. Ташицкого, повлиял соседний чешский язык, древнелужицкий язык более четко отделился от древнепольского (лехитского) и, как доказывают изменения в.-луж. *$g \geqslant h$, в.-луж., н.-луж., $ʒ \geqslant z'$ и длительное сохранение первоначальных акутовых долгот в верхнелужицком, еще больше приблизился к чешскому языку. Поэтому В. Ташицкий предлагает пересмотреть деление западнославянской языковой области на три части в пользу, по крайней мере более древнего, деления на две части (лехитско-лужицкой и чешско-словацкой). Позднее эта гипотеза нашла признание у Зд. Штибера. Но при этом Зд. Штибер более отчетливо дифференцирует верхнелужицкий язык, с одной стороны, и нижнелужицкий — с другой. Последний, по мнению Зд. Штибера, по существу идентичен с лехитским: «если речь идет о нижнелужицком, то даже определение Ташицкого, что это язык „необыкновенно сильно лехизирующий", будет слишком осторожным» [5]. Проявлением чешского влияния на верхнелужицкий язык Зд. Штибер считает только изменение *$g \geqslant h$. В существовании рефлексов долгот под древней акутовой интонацией, которое В. Ташицкий относит также к более поздним верхнелужицко-чешским соответствиям, Зд. Штибер видит отражение более древнего процесса, происходившего в период, предшествующий распаду праславянской языковой общности. Подобным же образом он оценивает и характерное для всего серболужицкого языка изменение *$ʒ' \geqslant z'$.

Однако удовлетворительно ответить на поставленные вопросы невозможно без более обстоятельного обсуждения хронологии тех фонологи-

---

[2] Л. В. Щ е р б а, Восточнолужицкое наречие, I, Пг., 1915. [Перепечатка фотомеханическим способом: «Vostočnolužickoe narečie (Der ostniedersorbische Dialekt)», Bautzen, 1973 (с предисловием Х. Шустера-Шевца).]

[3] А. А. Ш а х м а т о в, Заметки по истории звуков лужицких языков, ИОРЯС, XXI, 2, 1916, стр. 276.

[4] См., W. T a s z y c k i, Stanowisko języka łużyckiego, «Symbolae grammaticae in hon. J. Rozwadowskii», II, Kraków, 1928; Zd. S t i e b e r, Stosunki pokrewieństwa języków łużyckich, Kraków, 1934.

[5] Z d. S t i e b e r, указ. соч., стр. 90—91.

ческих черт, которые привлекаются для определения родства языковых отношений. Так, процесс деназализации *ǫ ⩾ u, известный некоторым славянским языкам, вероятно, нельзя рассматривать как единое и однократное изменение. Скорее всего, приходится различать более древний, восходящий еще к праславянскому периоду, подъем артикуляции (*ǫ ⩾ ų) и более поздний процесс собственно деназализации (ų ⩾ u) [6]. Отсюда следует, что пралужицкий язык в период изменения *ǫ ⩾ ų не мог находиться в очень близком соседстве с прапольским языком. Данное изменение касается праславянской диалектной области, к которой, кроме пралужицких диалектов, относились также правосточнославянский, прасербохорватский и прачешско-словацкий языки. В этой связи Т. Лер-Сплавинский говорил об особой средней диалектной зоне праславянского языка. Очевидно, подобным же образом параллельно *ǫ ⩾ ų ⩾ u должно было протекать развитие *ę, а именно, в праверхнелужицком *ę ⩾ ą̈ позднее в закрытом положении 'a (в.-луж. *mjaso* «мясо», *widźa* 3-е л. мн. ч. ⩽ **vidętъ* «видят»), в конце слова 'e ⩾ 'o (в.-луж. *zwěrjo* ⩽ *zwěrje* «животное»), в пранижнелужицком *ę = ę̇, позднее под ударением ě (н.-луж. *měso* «мясо»), в безударной позиции 'e (н.-луж. *zwěrje*). При этом праверхнелужицкий язык снова оказывается в непосредственном соседстве с правосточнославянским, прачешско-словацким и прасербохорватским, а пранижнелужицкий — скорее всего по соседству с прапомеранским языком (ср. такой топоним как *Mislicyn* 1209 = *Myslętin*) и частично с праюжнославянским языком (ср. серб.-хорв. *mȇso*, словен. *mesó*). Подобная картина обнаруживается в связи с сужением праславянского ѣ [7], развитием праславянских редуцированных гласных *ь и *ъ, а также вокального элемента у слоговых плавных: *ъ ⩾ пв.-луж. ъ° ⩾ в.-луж. *o* (*moch* ⩽ ⩽ **mъchъ* «мох», *knot* ⩽ **krъtъ* «крот»), пн.-луж. ъ^e ⩾ н.-луж. *e* (*mech*, *kšet*), праслав. **tъlt* ⩾ пв.-луж. *tъ°lt* ⩾ в.-луж. *tolt* (*dołh* «долг», *połny* «полный»), пн.-луж. *tь^alt*, *tъ°lt* ⩾ н.-луж. *tałt*, *tołt* ⩾ (*pałkaś* ⩽ **pъlkati* «стирать», *połny/pałny* «полный», *dług* «долг»), праслав. **tъrt* ⩾ пв.-луж. *tъ°rt* ⩾ в.-луж. *tort* (*torhojšćo* ⩽ **tъrgoviště* «рыночная площадь», *korčma* ⩽ **kъrčьma* «трактир, корчма»), пн.-луж. *tъ^ärt* ⩾ н.-луж. *tart/tert* (*tergaś/targaś* ⩽ *tъrgati* «рвать», *kjarcma* ⩽ *kercma*) [8]. Передвижение праслав. *g ⩾ h в верхнелужицком языке также произошло, несомненно, не только благодаря чешскому влиянию и хронологически не после деназализации *ǫ ⩾ u, как это обычно считают [9]. И в этом случае нет ни одного серьезного аргумента против предположения, выдвинутого сначала А. А. Шахматовым, а вслед за ним и Н. Трубецким, об ослаблении

---

[6] T. Lehr-Spławiński, O dialektach prasłowiańskich, «Sborník prací I sjezdu slovanských filologů v Praze 1929», Praha, 1932 (перепечатка в сб.: T. Lehr-Spławiński, Studia i szkice wybrane z językoznawstwa słowiańskiego, Warszawa, 1957, стр. 213—214).

[7] Об узкой артикуляции праславянского ѣ в отдельных славянских языках см.: Ф. П. Филин, Происхождение русского, украинского и белорусского языков, Л., 1972, стр. 160—178 и J. Rigler, Rozwój *ě* w języku słowieńskim, «Rocznik slawistyczny», XXIV, I, 1965.

[8] В этом случае, как и при рассмотрении *ǫ ⩾ ų ⩾ u и *ę ⩾ ą ⩾ 'a, 'e, мы исходим из различий в нюансировке редуцированных гласных или вокальных элементов в сочетаниях * *tьrt*, **tъrt*, * *tьlt* и * *tъlt*, имевших место уже в праславянском языке позднего периода. Промежуточную стадию с особыми слоговыми *ḷ, *l̥, *ṛ, *r̥, которая обычно предполагается для западнославянского языка, мы не считаем необходимой, ср., в частности, нашу статью «Stosunki pokrewieństwa języków łużyckich i języka polskiego (na tle ogólnosłowiańskim)», в сб. «In memoriam Casimiri Nitsch, Księga w stulecie urodzin», Kraków, 1975, стр. 93—94.

[9] Ср.: Zd. Stieber, Zarys dialektologii języków zachodnioslowiańskich, Warszawa, 1956, стр. 46; J. Nalepa, Słowiańszczyzna północno-zachodnia. Podstawy edności i jej rozpad, Poznań, 1968, стр. 230—233, 347.

*$g \geqslant \gamma$ уже в позднепраславянский период [10]. Предположение о якобы более позднем влиянии на серболужицкий язык, особенно верхнелужицкий, со стороны соседнего чешского языка не имеет и никаких исторических доказательств. Предполагаемая принадлежность части древнелужицких племен к первому западнославянскому государству Само [11], часто используемая как аргумент, едва ли могла повлиять на какие-либо интеграционные процессы в языке в силу довольно непродолжительного существования этого образования и его раздробленности. Против гипотезы о тесном контакте древнелужицкого языка с древнечешским языком говорит, наконец, и абсолютное отсутствие каких-либо переходных диалектов между верхнелужицким и чешским языками, о существовании которых хорошо известно на примере польско-чешских и чешско-словацких контактных зон. Давняя лесная полоса гор на юге древнелужицкой области была заселена очень слабо. Известные нам из этой области древнелужицкие топонимы имеют ясно выраженные лужицкие черты [12].

Тем самым подтверждается, что диалектные особенности, имеющие соответствия в чешском языке (*$\varrho \geqslant \mu$, *$g \geqslant \gamma$, *$z' \geqslant z'$, долготы гласных под старым акутом), должны быть древними и, вероятно, возникли еще в эпоху, предшествующую окончательному распаду праславянского языка. В этот период пралужицкий язык (или праверхнелужицкий) должен был находиться фактически в более близком соседстве с чешским языком, но также, очевидно, и с южной частью территории правосточнославянского и частично праюжнославянского [13]. Иначе упомянутые выше соответствия в пределах позднепраславянского фонетического развития необъяснимы. На наш взгляд, к этой более древней фазе развития принадлежит еще ряд других древних диалектных явлений, хронология которых до сих пор не могла быть точно установлена. К ним относятся: 1) начинающаяся депалатализация первоначально палатализованных дентальных сибилянтов *c'*, *s'*, *z'* $\geqslant$ *c*, *s*, *z* (ср. в.-луж. *cyły*, н.-луж. *ceły* «весь», в.-луж. *syno*, н.-луж. *seno* «сено» и в.-луж., н.-луж. *zyma* «зима») [14]; 2) формирование противопоставления *(*j*)*ь*-: *(*j*)*i*- (в. -луж. *hrać*, н.-луж. *graś*, чеш. *hrâti*, зап.-словац. *hrât'sa*, белорусск. *граць*, но русск. *играть*, укр. *грати*, серб.-хорв. *igrati*, польск. *igrać*/*grać*); 3) узкая артикуляция праслав. **ě* (ср. в.-луж. *lěto*, н.-луж. *lěto* «год») в противоположность пралехитскому, праболгарскому и прамакедонскому **ä* (ср. польск. *lato*, *w lecie*, болг. *хляб*); 4) вероятно, также стабилизация ударения на начальном слоге, территориальное распространение которой соответствует изменению **tj*, **dj* $\geqslant$ *c'*, *ʒ'*. Эта стабилизация, как считают, первоначально должна была охватить также и прапольский язык [15]. В области славян-

[10] А. А. Шахматов, Очерк древнейшего периода истории русского языка, Пг., 1915, §§ 62, 71; N. Trubetzkoy, Zur Entwicklung der Gutturale in den slawischen Sprachen, «Сборник в чест на проф. Л. Милетич», София, 1933.

[11] J. Nalepa, Słowiańszczyzna północno-zachodnia, Poznań, 1968, стр. 258—259.

[12] E. Schwarz, Die einstige obersorbisch-tschechische Grenzzone, AfSlPh, IXL, 1927; E. Eichler, Sorbisch-tschechische Beziehungen in eingedeutschten Ortsnamen, «Deutsch-Tschechische Beziehungen im Bereich der Sprache und Kultur», Berlin, 1965.

[13] Гипотеау о более тесных родственных связях лужицкого языка с восточнославянским выдвинул еще в XIX в. русский славист Е. П. Новиков («О важнейших особенностях лужицких наречий», М., 1849). Но его аргументация спорная и опирается больше на интуитивные домыслы, чем на научные факты.

[14] По нашему мнению, это изменение находится в причинной связи с более общим южнославянским процессом депалатализации.

[15] T. Lehr-Spławiński, De la stabilisation de l'accent dans le langues slaves de l'Quest, RÉSl, III, 1923; его же, «Historia języka polskiego», Warszawa, 1955, стр. 64—67. Но едва ли можно согласиться с предположением о том, что в польском языке ударение на начальном слоге слова сформировалось только после XIV в. Как доказывают верхнелужицкие формы топонимов *Bart* (нем. *Baruth*, 1378 *Barot*, 1485

ского стяжения гласных пралужицкий язык не занимает какой-либо четкой позиции относительно прачешского языка. Как свидетельствуют соответствующие примеры из современного серболужицкого языка, это фонетическое явление в праверхнелужицком проявилось сильнее, чем в пранижнелужицком, ср. в.-луж. *bać* (*so*) «говорить глупости; незаметно тлеть», *hrać* «играть», *kać so* «раскаиваться», *krać* «резать», *tać* «таять», *přećel* ⩽ *přaćel* «друг», *stać* : *stejeć* ⩽ *stojać* «стоять», но также и *bojeć so* «бояться», *teje*, *dobreje* род. ед. от *ta* «эта», *dobra* «хорошая» (чеш. *té*, *dobré*), *mojeho*, *swojeho*, *twojeho* наряду с более древним *meho*, *sweho*, *tweho*; н.-луж. *bajaś* (*se*), *kajaś se*, *kšajaś*, *łajaś* «лаять», *tajaś*, *pśijašel*, более древнее *pśijajaś* «благоволить к кому-нибудь» (1574), *pśijaś* то же (1610), *teje*, *dobreje*, *bójaś se*, только *mojego*, *twojego*, *swojego*, но также *graś* и *staś* наряду с *stójaś*.

Изложенные факты заставляют предположить, что пралужицкий, и особенно праверхнелужицкий язык, к моменту начинающегося распада праславянского языкового единства уже не находился, как это до сих пор обычно считают, в особенно близком соседстве с той частью праславянских диалектов, из которых позднее выделился польский язык, а занимал положение, которое можно было бы назвать центральным. Такое же положение, кроме прачешского и прасловацкого, характерно также частично для правосточно- и праюжнославянского языков. В то же время отсутствие единства в изофонах указывает на то, что в этом случае следовало бы говорить об относительно нестабильных диалектных зонах, для которых были характерны пересечения как в пространственном, так и во временном отношениях. С лингвогеографической точки зрения, описанное выше положение должно было выражать начавшийся медленный процесс дифференциации внутри праславянского этнического состава. Мы исходим из предположения, что языковые изменения позднего праславянского периода (прежде всего фонологические) начали развиваться довольно рано и окончательно были завершены лишь к началу периода развития отдельных славянских языков.

По нашему мнению, лингвистическое исследование, связанное с лингвогеографической оценкой явлений, до сих пор больше исходит из уже достигнутого конечного состояния и слишком мало учитывает тот факт, что начало этих инноваций по времени должно быть отнесено к значительно более раннему периоду. Между территориальным распространением изофон и их возрастом должна, вероятно, существовать прямая причинная связь, т. е. очень древние языковые инновации, как правило, указывают на большие размеры территории их распространения. В пользу первоначального промежуточного положения пралужицкого диалекта и его свободного контакта с правосточно- и праюжнославянским языками, по-видимому, свидетельствует ряд других лужицко-восточнославянских или лужицко-южнославянских параллелей, которые, однако, до сих пор в ходе обсуждения рассматривались как случайные совпадения. К ним относятся следующие:

1. Заместительное удлинение в верхнелужицком и украинском языках, реализующееся в одинаковых структурных условиях, ср. в.-луж. *nós*, *-osa* «нос — носа», *wóz*, *-oza* «воз — воза», *płót -ota* «забор — забора», *měd*,

---

Barith) ⩽ **Bar-utъ* и *Lětoń* (нем Litten, 1237 Letonin) ⩽ *L'utunь*, отражающие редукцию гласного, обусловленную ударением *u* ⩾ *o*, *y* (ср. также стр. 83), ударение на начальном слоге, по крайней мере в серболужицком языке, должно было возникнуть уже значительно раньше (во всяком случае до XIII в.). В польском языке это также должно быть относительно древним явлением, так как иначе невозможно было бы объяснить распространение более позднего ударения на предпоследнем слоге частично и в нижнелужицком языке.

-edu «мед — меда», *pěc*, *-'ecy* «печь — печи» наряду с укр. *ніс*, *-оса*, *вів*, *-оза*, *пліт*, *-ота*, *мід*, *-еду*, *піч*, *-ечи*. Различие в качестве гласного является вторичным, в украинском *і* ⩽ *uo*, *ei*.

2. Тенденция к упрощению консонантных сочетаний *dl*, *tl* ⩾ *l*, находящихся не в позиции альтернации, или передвижение этих сочетаний в *gl*, *kl*, ср. диалектн. и более древнее *wiły* «вилы», *ralo* «соха», *kšilo* «крыло», *jězdźiło* «пристань челнов», *powrjasło*, диалектн. *powrjaskło* ⩽ **powerstlo* «перевясло» (ср. в.-луж. *powrjestło* то же) наряду с *glujki* ⩽ **dluwiki* «длинный», *kłocyś* ⩽ *tłocyś* «давить» и *kłusty* ⩽ *tъlsty* и т. д.[16], которые с такой же последовательностью реализуются только в севернорусских диалектах (*жерегло*, *перецокля*). При этом бросается в глаза, что общей чертой обоих славянских диалектов является тоже одинаковое совпадение праслав. **č* и **c* (ср. н.-луж. *cas* «время», *cart* «черт», *kšicaś* «кричать», сев.-русск. *церес*, *ноц* и т. д.). На древность этого явления указал уже Н. Трубецкой [17]. По его мнению, передвижение праслав. **č* ⩾ *c'* явилось непосредственной структурной причиной (снятие корреляции по признаку среднеязычного сближения) того, что в прасевернорусском и в праннижнелужицком не произошло характерного для праславянского языка позднего периода ослабления звонкого взрывного велярного **g* ⩾ *γ*. Возможности существования связи между нижнелужицким диалектным изменением *dl*, *tl* ⩾ *l*; *gl*, *kl* и соответствующим севернорусским явлением не опровергает и тот факт, что такое же изменение известно среднесловацкому и в определенной степени даже кашубскому языку. Обе эти западнославянские диалектные области первоначально также, вероятно, были близки праюжнославянскому или правосточнославянскому языкам [18].

Примечательно совпадение редуцированных гласных переднего и заднего ряда, наблюдаемое в пралужицком в единичных примерах типа н.-луж. *šaw*, в.-луж. *šow* ⩽ **šъvъ* ⩽ **šьvъ* «шов», н.-луж. *šłužabny* ⩽ **služъbьnъ-jь* ⩽ **služьbьnъ-jь* «служащий; служебный», н.-луж. *wucabny* ⩽ ⩽ **učъbьnъ-jь* ⩽ **učьbьnъ-jь* «поучительный, учебный» [19], в.-луж. *kotoł*, *-oła* ⩽ **kotъlъ* ⩽ **kotьlъ* «котел», в.-луж., н.-луж. *kozoł*, *-oła* ⩽ **kozъlъ* ⩽ ⩽ *kozьlъ* «козел», в.-луж. *pos* ⩽ **pъsъ* ⩽ **pьsъ* «собака, пес», в.-луж. *popjer*, н.-луж. *pepr* то же ⩽ **pъrьrъ*, род. ед. *pъrьra*, ⩽ **pьrьr*, в.-луж. *oł* ⩽ **šъlъ* ⩽ **sьlъ* и т. д. Это явление широко известно в полабском и южнославянском языках. Заслуживает внимания также распространенная в серболужицком языке вокализация слабого редуцированного гласного в косвенных падежах существительного, ср. в.-луж. *boz*, *-oza*, н.-луж. *baz*, *-aza* ⩽ **bъzъ*, *-za*, в.-луж. *moch*, *-ocha*, н.-луж. *mech*, *-echa* ⩽ ⩽ **mъchъ*, *-cha*, в.-луж. *len*, *-ena*, н.-луж. *lan*, *-ana* ⩽ **lьnъ*, *-na* и т. д., которая до сих пор объяснялась в исследованиях как более позднее ана-

---

[16] H. Schuster-Sewc, Historische und vergleichende Lautlehre des Albin Moller, Berlin, 1958, стр. 85; его же, Noch einmal zur Behandlung der Liquidaverbindungen *tl*, *dl* in den slawischen Sprachen, «Slavia», XXXIII, 3, 1964, стр. 359 и сл.

[17] Н. Трубецкой, указ. соч.

[18] Ср., в частности, развитие **tьlt* ⩾ *tъlt* и **telt* ⩾ *tłot* в словинском и частично кашубском (*mâłńâ* «молния», *płovë* «мякина»), о возможных кашубско-южнославянских лексических связях см.: H. Popowska-Taborska, Z problematyki badawczej nawiązań leksykalnych (na materiale kaszubsko-południowosłowiańskim), RSl, XXXVI, 1, стр. 3—16 (здесь же указана и литература); F. Hinze, Die Besonderheiten des pomeranischen Wortschatzes gegenüber dem der polnischen Schriftsprache, «Slawische Wortstudien», Bautzen, 1975.

[19] В связи с н.-луж. *šaw* ⩽ **šъwъ*, ср. также н.-луж. *baz* ⩽ **bъzъ*, *podašej* ⩽ **podъšьvъ* «подошва», более древнее *rajž* ⩽ **rъžь* «рожь», *dajšć* ⩽ **dъšč* «дождь» и т. д. Вокализация **ъ* как *a* указывает на близость к полабскому языку.

логическое выравнивание под влиянием им. падежа [20]. То же самое явление мы наблюдаем и в среднесловацком [21].

В связи с обсуждаемым комплексом вопросов представляет интерес единая флексия твор. падежа ед. числа муж. и ср. родов *-om*, засвидетельствованная как в верхнелужицком, так и в нижнелужицком (в.-луж. z *človjekom*, н.-луж. z *cłowjekom*), которая подобно соответствующей среднесловацкой форме могла отражать известное в южнославянском окончание *o*-основ (*-omь*) [22].

Другое интересное соответствие серболужицкого языка с южнославянским и со среднесловацким обнаруживается в дистрибуции корневых морфем личных и возвратных местоимений — *tob-*, *sob-*: *teb-*, *seb-*. В то время как в соседних польском и чешском языках для дат. и местн. падежей характерен гласный *-o-*, соответствующие лужицкие формы, согласуясь с южнославянским и некоторыми словацкими диалектами, указывают на гласный *-e-*, ср. польск. *tobie*, *sobie*, чеш. *tobě*, *sobě*, но в.-луж. *tebi*, *sebi*, н.-луж. *tebje*, *sebje*, как и ст.-слав. *тебѣ*, *себѣ*, словац. диалектн. *tebe*, *sebe*. За исходный характер *e*-форм в серболужицком языке говорит их отражение в древнелужицкой топонимии (XIII—XIV вв.), ср. такие примеры, как *Seebschütz* ⩽ **Seběšici*, *Söbirgen* ⩽ **Seběkury* и *Zebulusk* ⩽ **Sebělusky* [23]. Нижнелужицкий язык в соответствии с чешским, собственно словацким и словенским также и в твор. падеже указывает на гласный *-e-*, ср. н.-луж. z *tebu* [24], чеш., словац. *tebou* и словен. *tebój*.

Возможно, очень древнее диалектное различие раскрывается и в несходстве флексий указательного местоимения в отдельных славянских языках — в.-луж. *tón*, н.-луж. *ten* ⩽ **tъnъ*, русск. *том* ⩽ **tъtъ* и серб.-хорв. *toj* ⩽ **to-jь*, ср. польск. *tego*, словен. *téga*, но вост.-слав. *того*, чеш., словац. *toho*, серб.-хорв. *togâ*, *tog*. Серболужицкий язык по типу занимает здесь своего рода промежуточное положение между польским и словенским, с одной стороны, и восточно- и южнославянским типом, с другой. В собственно нижнелужицком языке выступает форма *tog(o)*, в восточнонижнелужицком *-teg(o)* [25], подобно в верхнелужицком форма *toho* типична для западной диалектной области, а форма *teho* — для центральной и восточной диалектных областей.

Даже и в том случае, если бы часть фактов, рассматриваемых нами как проявление древних генетических связей пралужицкого языка с правосточно- или праюжнославянским языком, оказалась бы результатом более позднего параллельного развития и, следовательно, относилась бы к типологии, сродство пралужицкой диалектной территории с юго-восточной областью распространения праславянского языка, выступающее более

---

[20] E. Mucke, Historische und vergleichende Laut- und Formenlehre, стр. 304.

[21] R. Krajčovič, Slovenčina a slovanské jazyky, I, Bratislawa, 1974, стр. 201.

[22] R. Krajčovič, указ. соч., стр. 102—104. Следует подчеркнуть, что везде в собственно нижнелужицком языке выступает исключительно флексия *-om*. Объяснение ее из праслав. **-ъmь* едва ли возможно, так как в нижнелужицком обычно происходит изменение **ъ* ⩾ *e* или **ъ* ⩾ *a*. Окончание *-em* знает только восточнонижнелужицкий диалект Якубицы (Новый завет 1548). Оно появляется здесь под влиянием соседнего польского языка, ср. также в этой связи стр. 81—82.

[23] E. Eichler, Studien zur Frühgeschichte slawischer Mundarten zwischen Saale und Neisse, Berlin, 1965, стр. 237—242; E. Eichler und H. Walther, Die Ortsnamen im Gau Daleminze, Studien zur Toponymie der Kreise Döbeln, Großenhain, Meißen, Oschatz und Riesa, I Namenbuch, Berlin, 1966, стр. 301. К вопросу об отсутствии палатализации *t* в в.-луж., н.-луж. *tebje* ср.: H. Schuster-Sewc, Os. *hnydom* «(so) gleich, sofort» ns. *ned* «dass.» und Verwardtes, Ein Beitrag zur Wortbildung im Bereich der Adverbien und Pronomina, ZfS, XXX, Hf, 3, 1975, стр. 365—366.

[24] E. Mucke, указ. соч., стр. 396.

[25] Ср. в этой связи также оппозицию окончаний *-om* (нижнелужицкие диалекты): *-em*(восточнонижнелужицкий диалект Якубицы).

или менее отчетливо, остается все же очевидным. При обсуждении проблемы о возможных древних связях пралужицкого языка с правосточно- или праюжнославянским необходимо поставить вопрос и о возможных древних лексических параллелях. При этом, конечно, с самого начала надо отдавать себе отчет в ограниченном характере возможностей этой области системы при использовании ее в качестве доказательства при определении степени языкового родства. Слова, которые с современной точки зрения рассматриваются как праславянские диалектизмы или архаизмы, в более раннюю эпоху могли иметь более широкое распространение и, следовательно, встречаться в других праславянских диалектах. Кроме того, обширные лингвогеографические исследования в славянском языкознании еще только начинаются и, несомненно, дадут новые результаты.

Несмотря на это, мы считаем, что уже сейчас можно указать на ряд связей, имеющих, как нам кажется, значение для обсуждаемого нами вопроса. Ср. такие примеры, как: 1) в.-луж. *hłuboki*, диалектн. *łóboki*, более древнее и диалектн. *łyboki* ⩽ **glybokъ-jь* наряду с укр. *глибокий* и белорусск. *глыбок*, польск. диалектн. (южн.!) *głybocki*; н.-луж. *dłymoki* ⩽ ⩽ **dlybokъ-jь* наряду с серб.-хорв. *dȕbok*, диалектн. *glȉbok*, *dìbək*, болг. *dълbok*; 2) в.-луж. *hrjebja* «ров, канава, запруда» наряду с укр. *гребля* то же, серб.-хорв. *gréblja* «ямка в земле», но н.-луж. *groblja* «ров, канава» и польск. *grobla* «плотина, запруда»; 3) н.-луж. диалектн. *huśe*, *-eśa*, *huśica* «утка» ⩽ **utę*, **utica* наряду с русск. *утка*, укр. *утиця*, белорусск. *уць*, *уціца*, серб.-хорв. *utva*, словен. *ôtva*, напротив, в собственно западнославянском только *kačka*, *kachna*; 4) в.-луж. *chiblać*, *chiblić* «шататься, качаться, колебаться», н.-луж. более древнее *chybliś* (1650) то же наряду с укр. *хибляти*, *хибливий* то же; 5) в.-луж. *zarazyć* «убить» наряду с русск. диалектн. *заразить*, др.-русск. *заразити* то же; 6) н.-луж. диалектн. *hobisko* ⩽ **obistь-ko* «почка» наряду с др.-русск. *истo*, *-есе* то же, словен. *obist* ж. р. то же; 7) н.-луж. *jěśćeja*, *jěśća* мн. ч. «печное отверстие» наряду с чеш. *nístěj*, словен. *istéj* то же; 8) н.-луж. более древнее *japno* «известь» (1650) наряду с серб.-хорв., словен. *jápno* то же; 9) в.-луж. *zelić* ⩽ *zolić* «проклинать, ругаться» наряду со словен. диалектн. *zoliti* то же (Wolf — Pleteršnik) [26]; 10) вопросительное местоимение в.-луж. *što*, н.-луж. более древнее *sto* ⩽ **čьto* наряду с русск. *что*, серб.-хорв. *što*; 11) н.-луж. *karwona*, *karona* «ворона» наряду с русск., укр. *каворон*, словен. *kâvrana*; 12) в.-луж. *durje* «дверь», н.-луж. *žurja* наряду с словен. *duri* то же; 13) в.-луж., н.-луж. *derje* ⩽ *debrje* наречие «хорошо» ⩽ **debrě* наряду со др.-ц.-слав. *debrěje* то же; 14) н.-луж. более древнее *brošmo* «празднество божьего тела» и сев.-русск. *борошно* «ржаная мука», серб.-хорв. *brašno* «мука», словен. *brášno*, болг. *брашно* то же; 15) в.- луж. *hólc* «мальчик, парень», *holca* «девочка, девушка», н.-луж. *golc*, диалектн. *golica* то же и серб.-хорв. *golec*, *golica* то же, чакав. *golcina* «парень», *golica*, *golicina* «девочка, девушка», чеш. *holec*, *holka*; 16) н.-луж, более древнее *chrast* «дуб скальный», серб.-хорв. *chrâst* «дуб»; 17) н.-луж. *jatšy* ⩽ *jastry* «пасха» и кашуб. *jastri*, полаб. *jostroi* то же наряду со словен. диалектн. *jaterc* им. мн. и род. мн. «морг (земельная мера)», словен. личное имя *Jure Dobrajatra* = нем. *George Guten-Morgen* [27]; 18) в.-луж. диалектн. *jablyko* наряду с укр. *яблика*, белорусск. *яблик*; 19) н.-луж. более древнее *pognuriś* «нырять» (1548) и серб.-хорв. *gnuriti* то же; 20) в.-луж. *jakny* «крепкий,

[26] Об этимологии слова см.: Г. Шустер-Шевц, Сербо-лужицкие этимологии, «Этимология 1970», М., 1972, стр. 89.

[27] В связи со словенскими примерами ср.: F. Bezlaj, Kleine Beiträge zur slavischen Wortforschung, Sloven. *utern* «klar», «Linguistica», XIII, Karel Oštir — in memoriam, Ljubljana, 1973, стр. 111—115.

jakny «крепкий, сильный» и серб.-хорв. *jâk*, словен. *jak* то же; 21) в.-луж., н.-луж. *tamać* (*ś*) «осуждать, проклинать» и русск. *томить*, ст.-слав. *томити* «жестоко обращаться с кем-л.; мучить, терзать».

Наконец, в свете этих примеров заслуживает внимания и тот факт, что лужицкие сербы носят то же этническое имя, что и часть южных славян — *Srb*. Не подлежит никакому сомнению, что по своему происхождению обе формы имени идентичны [28]. Вероятно, лужицкие сербы, как и южнославянские, вышли из общей, в диалектном отношении еще мало расчлененной, праславянской группы племен. Вследствие распада праславянского этнического целого она утратила единство, и ее потомки позднее откочевали в разных географических направлениях [29]. Такого рода процессы в истории славянских племен не были редкостью. Есть и другие случаи, когда одно и то же этническое название в более поздний период встречается в нескольких районах славянской территории (ср. такие этнонимы как *дулебы*, *ободриты*, *словенцы*, *хорваты*, *смоляне*, *северяне*). Этот факт можно объяснить лишь предположив, что в определенных случаях миграция праславянских племен с их древней родины привела к расщеплению первоначально единого праславянского комплекса племен; возникшие в результате распада группы племен позднее, вероятно, были интегрированы в другие, более крупные единства. Не исключены были, вероятно, и факты древних диалектных смешений или расщепления первоначально сплоченных диалектных единиц.

Очевидно, прав О. Н. Трубачев, высказавший мнение, согласно которому формирование известных в настоящее время восточно-, западно- и южнославянской диалектных зон произошло в значительно более сложной и менее монолитной форме, чем это принято считать в традиционном славянском языкознании [30]. Наши размышления идут в этом же направлении. Многое указывает на то, что уже в праславянском языке позднего периода в связи с медленно начинающимся процессом этнической дифференциации образовались более или менее четкие праславянские изофонные области (ср. срединные диалектные зоны праславянского языка позднего периода, вырисовывающиеся в связи с изменением $o \geqslant u$ или $g \geqslant \gamma$ и сужением праславянского *ě*). Однако позднее, вследствие значительной миграции славянских племен далеко на юг, запад и восток Европы, они распались или изменили свое первоначальное географическое положение и в новых областях поселений границы между ними не могли остаться прежними. Выражением этого процесса дивергенции, по нашему мнению, является наличие диалектных особенностей центрального восточного и южного происхождения на западе у словаков [31] и лужичан [32] и на северо-вос-

---

[28] О сопоставлении лужицкого *Serb* и немецкого *Sorbe* см.: H. S c h u s t e r-S e w c, Das altsorbische Dialektgebiet und seine sprachliche Stellung im Rahmen des Westslawischen, «Lětopis Instituta za serbski ludospyt», B, 19, 1972, 2, стр. 213—214.

[29] О теории общего происхождения лужицких и южнославянских сербов ср. также: Р. Н о в а к о в и ћ, Срби Константина Порфирогенита и англосаксонског краља Алфреда, «Зборник историјског музеја Србије», 11—12, Београд, 1975. Отстаиваемая автором этой работы гипотеза о северном происхождении южнославянских сербов не представляется нам особенно убедительной. Она противоречит общепринятой в настоящее время точке зрения, согласно которой прародина славян должна была находиться северо-восточнее Карпат и на западе от Днепра.

[30] О. Н. Т р у б а ч е в, Ранние славянские этнонимы — свидетели миграции славян, ВЯ, 1974, 6.

[31] Примеры с изменением *ort* $\geqslant$ *rat*, *olt* $\geqslant$ *lat*, *dl*, *tl* $\geqslant$ *l*, **i* — для зап.-слав. **jь-* и т. д., ср., в частности: R. K r a j č o v i č, указ. соч.

[32] Вокализация **ъ* $\geqslant$ *ъ*^{o} $\geqslant$ *o*, **tъlt*, **tъrt* $\geqslant$ *tъ*^{o}*lt*, *tъ*^{o}*rt* $\geqslant$ *tolt*, *tort*, депалатализация *c'*, *s'*, *z'* $\geqslant$ *c*, *s*, *z*, флексия *-om*, структура корня местоимений *teb-*, *seb-*, верхнелужицко-украинские соответствия в дистрибуции заместительного удлинения и т. д.

токе у полабян и поморян (кашубов) [33] и, наоборот, диалектные черты исконно центрального северного и западного происхождения на юге у словенцев, болгар и македонцев [34]. Едва ли было бы возможно считать все эти исключения лишь периферийными архаизмами.

Если после общих рассуждений взглянуть на отношение серболужицкого языка к польскому, то прежде всего вырисовывается более древняя и тесная связь нижнелужицкого и польского языков. Это находит выражение в сохранении первоначальной взрывной артикуляции *g, в сокращении долгот у гласных под старым акутом, в более слабой тенденции к стяжению гласных, в нюансировке *ъ ⩾ ъ^{e} и в частично идентичном развитии гласного элемента в слоговых сочетаниях *tъrt и *tъlt (ср. н.-луж. *wumarły* «умерший», более древнее *targaś* «рвать», *dług* «долг»). В отношении праславянских изменений позднего периода *ǫ ⩾ ų (⩾ u), *ę ⩾ ⩾ ę̇ (⩾ě), *ʒ' ⩾ z' и *c', *s' *z' ⩾ c, s, z данные пранижнелужицкого языка совпадают с данными срединной и юго-восточной диалектной зоны праславянского языка позднего периода. Верхнелужицкий язык отличается от польского ослаблением g ⩾ γ (⩾ h), более длительным сохранением старых акутовых долгот и иной нюансировкой *ъ ⩾ ъ^{0} и *tъrt, *tъlt ⩾ ⩾ tъ^{0}rt, tъ^{0}lt.

Наряду с этим имеется ряд соответствий, которые объединили только эти два западнославянских диалектных комплекса, но, конечно, и здесь снова проявляется более тесная связь нижнелужицкого языка с польским. Тот факт, что эти соответствия обнаруживаются исключительно на территории распространения польского и серболужицкого языков, свидетельствует о том, что, в сравнении с предшествующей изофоной большего радиуса действия, в данном случае речь должна идти о более поздних процессах, которые теперь являются выражением уже существующих более тесных польско-лужицких языковых родственных связей. Ясным доказательством этой новой ситуации является одинаковая реализация метатезы плавных в *tort, *tolt, *tert, *telt как *trot, tlot, tret, tlet* в польском (южнолехитском) и в серболужицком. Давнего, более тесного контакта серболужицкого, особенно верхнелужицкого, языка с прачешским и прасловацким больше не существует. Названные диалектные единицы праславянского языка позднего периода, как это видно по результатам чешско-словацкой метатезы плавных, по-прежнему были теснее связаны с собственно южнославянским языком, в то время как серболужицкий еще больше сблизился с польским языком. Это предположение подтверждается дальнейшими общими польско-лужицкими инновациями. Ср.: 1) широкое соответствие в отношении депалатализирующего влияния твердых переднеязычных согласных *d, t, n, r, l, s, z* на перегласовку *'e ⩾ 'o и *ьr, *ьl ⩾ ⩾ *ъr *ъl;[35]; перегласовка *ě + t = 'a в серболужицком не могла произойти, так как здесь, как известно, праславянская фонема ѣ указывает на более узкую артикуляцию (ср. стр. 72); 2) более интенсивная палатализа-

[33] Смешение редуцированных гласных переднего и заднего ряда, лабиовеляризация *tьlt ⩾ tъlt ⩾ tȧut, подвижное ударение, широкая артикуляция праслав. ъ, многочисленные лексические соответствия (*kort'ětüc* ⩽ *korkotočь «крот», *xorna* «пища», *gušter* «ящерица» и т. д.).

[34] Ср. здесь в особенности среднеболгарские примеры с *ort ⩾ rot и *olt ⩾ lot.

[35] Ср. примеры на изменение *ьr, *ьl + t ⩾ ъr, ъl + t: в.-луж. *or, ol* (в.-луж. *pjeršćeń* «кольцо, перстень», но *porst* «палец», *pjelnić* «наполнять», но *połny* «полный»), н.-луж. *ar, oł, ał* (*pjelniś* более древнее, но *połny, pałny* более древнее); примеры на изменение *'e ⩾ 'o : (в.-луж. *wjeselić so* «радоваться», но *wjesoły* «веселый, радостный», н.-луж. *šešenica* «двоюродная сестра, кузина», но *šota* «тетя»). В верхнелужицком языке переход 'e ⩾ 'o осуществлен менее последовательно, чем в нижнелужицком ср. в.-луж. *ćeta*, н.-луж. *šota* «тетя», в.-луж. *šćedry* «щедрый», н.-луж. *šćodry* то же, в.-луж. *sedmy* «седьмой», н.-луж. *sodmy* то же и т. д. В связи с этим см., в частности: H. Schuster-Sewc, Stosunki pokrewieństwa języków łużyckich i języka polskiego..., стр. 91—92.

ция обоих палатальных дентальных *ď*, *ť* в *ď'*, *ť'* и более позднее их превращение в аффрикаты *ʒ́*, *ć* и 3) повышение тембра старых долгих гласных **ē* > *ė́*, **ō* > *ȯ́* и *ā** > *ā́* и связанное с этим в дальнейшем возникновение новой фонемы среднего подъема [в.-луж., н.-луж. *ě*, *ó*; польск. более древнее *é*, *ó* и *á* (*ą́*)].

Последующие общие польско-лужицкие инновации свидетельствуют о все возрастающих переплетениях в процессе развития изофон. Эти процессы являются доказательством существующих на данном этапе развития более тесных связей между обоими позднепраславянскими диалектными комплексами. При этом иногда можно наблюдать более устойчивое совпадение собственно нижнелужицкого языка с великопольским и северопольско-кашубским и верхнелужицкого языка с южнопольским и силезским. Ср. следующие польско-лужицкие инновации:

1. Депалатализация праславянских палатальных спирантов **ś* и **ź* > > *š*, *ž* в польском и нижнелужицком языках (ср. польск. *życie* «жизнь», *szyja* «шея»; н.-луж. *žywjene* то же, *šyja* то же, но в.-луж. *žiwjene* и *šija*) [36].

2. Отсутствие палатализации праслав. **ch* в польском и нижнелужицком языках (ср. польск. *chylić się*, н.-луж. *chylaś se* «гнуться», *duchy* им. мн. «духи», но в.-луж. *chileć so* и *duchi*).

3. Первоначальная оппозиция *-'ev-*: *-ov-*, засвидетельствованная наряду с севернопольским языком только еще в собственно нижнелужицком языке (ср. великопольск. *mężewi* дат. ед. «муж», но *synowi* дат. ед. «сын», н.-луж. *kowaleju* дат. ед. «кузнец», k *słyšenjeju* дат. ед. «слушание» наряду с *k cowjekoju* дат. ед. «человек») [37].

4. Дифтонгизация фонемы **o* в позиции после лабиального или велярного (ср. польск. диалектн. *pu̯ole*, *pu̯ele*, *ku̯oza*, *ku̯eza*; н.-луж. *pólo* < *p$^{u̯}$ole*, *kóza* < *k$^{u̯}$oza*, *wóda* < *w$^{u̯}$oda* и т. д.).

5. Диссимилятивное упрощение праславянской консонантной группы **chv* > *f*, засвидетельствованное в восточнонижнелужицком (слепянском) диалекте (*fila* < *chwila*, но в собственно нижнелужицком *chyla*; *sufalosć* < < *suchwalosć*). В верхнелужицком языке эти консонантные группы также претерпели изменения, но результат этих изменений иной (*chw* > *k^{h}w-*: *khwila*, *khwalić*) [38].

6. Отсутствие вокализации исконных редуцированных гласных **ь*, **ъ* в суффиксах **-ьkъ*, **-ъkъ*, **-ьsь* и в слове **ovьsь* «овес», ср. н.-луж. *statk* «поступок, дело», *grodk* «небольшой замок, дворец», *głašk* «стаканчик», *wošc* «предок, родоначальник, отец (в церковном значении)», *wows* «овес», в.-луж. *synk* «сыночек», *rózk* «уголок», *wótc* «предок, родоначальник, отец (в церковном значении)», *wows* «овес», но также и *wócec* (более древнее), *hólčec* «юноша», *swjatok* «конец рабочего дня» и *statok* «местожительство, небольшое владение, земельный участок». Этот процесс, кроме нижнелужицкого и верхнелужицкого языков, наблюдается только еще в кашубском, в ранний период он был известен в более широком объеме также северно- и великопольским диалектам (ср. Bulla Gnieźnieńska 1136).

7. Возникновение особого протетического *w* перед *j* в серболужицком (особенно нижнелужицком), кашубском и полабском языках, ср. н.-луж. *witśe* < *jitśe* < **jutrě* «завтра», *wjazor* < *jazor* «озеро», *zawěc* < *zajěc* < < **zajęcь* «заяц», *strowiś* < *strojiś*, в.-луж. *wěsty* < *jěsty* «верный, определен-

[36] Депалатализация **ź* > *z* известна также восточнославянскому языку, а депалатализация **ć* > *č* — украинскому и белорусскому.

[37] Ср., в частности, в этой связи: H. S c h u s t e r-S e w c, O dwóch łużycko-śląsko-małopolskich izoglosach. (Przyczynek do dialektologii zachodniosłowiańskiej), «Slavia occidentalis», 31, 1974, стр. 137—139.

[38] H. S c h u s t e r-Š e w c, O dwóch łużycko-śląsko-małopolskich izoglosach..., стр. 139—141.

ный, известный, точный», *wjerabina* ⩽ *jerabina* «рябина», диалектн. *zawjac* «заяц»; кашуб. *witro* «утро», *wigo*, *wjigo* «ярмо, гнет, иго», полаб. *vistăraiću* ⩽ **jěster-* (?) «ящерица» и т. д. [39].

8. Тенденция к появлению добавочной артикуляции, предшествующей артикуляции палатализованного согласного, и связанное с этим образование эпентетического *j* перед палатальными согласными в серболужицком языке и в смежных с ним западных и силезских диалектах польского языка (частично также на северо-востоке Чехословакии) [40], ср. в.-луж. *tajki*, *kajki*, *tejž* (орфографически *tež*), *lejžeć* (орфографически *ležeć*); н.-луж. *swajźba* «свадьба», *chojźiś* «ходить», более древнее *stajś* «стоять», *jujž* «уже» и т. д.

Как доказывают названные выше инновации, связь между польским и серболужицким языками становится интенсивнее, вероятно, только в более поздний период, но при этом никогда не могло быть речи об абсолютном единстве в смысле существования общего праязыка (подобное предположение нашло выражение в точке зрения Й. Налепы [41]). Прапольский язык и пралужицкий с самого начала представляли два самостоятельных праславянских диалектных комплекса, которые, несмотря на имеющее место сближение, в значительной степени развивались параллельно друг другу. Проявлением этого факта является сохранение носовых гласных в польском языке и их отсутствие в серболужицком, широкая артикуляция праславянской фонемы *ě* в прапольском языке и обусловленный этим переход **ě* ⩾ *'a* перед твердыми дентальными согласными, а также отличия между польским и серболужицким языками, наблюдаемые в степени распространения и последовательности осуществления перехода *'e* ⩾ ⩾ *'o*. При этом верхнелужицкий язык с самого начала в значительной степени сохраняет периферийное положение в области польско-лужицких процессов. Некоторые из фонетических инноваций, развивающихся преимущественно в пределах области распространения польского языка, вообще не затрагивают верхнелужицкий язык (*ch'* ⩾ *ch*, *ź*, *ś* ⩾ *ž*, *š*, менее последовательный переход *'e* + *t* ⩾ *'o*, исключения в связи с вокализацией редуцированного гласного в суффиксах *-ькъ, *-ъkъ, *-ьсъ: *wóćeć*, *swjatok*).

Очевидная до сих пор тесная связь пралужицкого и прапольского языков перестает теперь существовать в своей первоначальной форме. Это, вероятно, обусловлено вторжением древнелужицких племен в новые районы поселений западнее Одера и Нейса в V и VI вв. Первым доказательством нового этапа развития отдельных языков, по нашему мнению, следует считать формирование ударения на предпоследнем слоге в собственно польском языке. Серболужицкий язык, как и соседний чешский, сохраняет более древнее ударение на начальном слоге. Только в восточной части собственно нижнелужицкого языка, благодаря продолжающимся территориальным контактам обеих диалектных областей, мы наблюдаем распространение этой польской инновации, что нашло выражение в более или менее ясном побочном ударении на предпоследнем слоге в словах, насчитывающих более двух слогов. Ср. такие примеры как н.-луж. диалектн. *jězdźidło*, *jězdź'iło* «пристань челнов», *zapokow'anje* «похороны, погребение», *smy chojź'ili/chojdź'ili* «они ходили», *kol'asa* «колеса» и т. д. [42]. Подобное распространение чисто польских фонетических процессов в вос-

[39] K. Handke, Kaszubsko-słowińskie protetyczne *v*-przed nagłosowymi *j*- oraz *i*-, SFPSL, 11, стр. 95—99; H. Schuster-Sewc, Rozważania etymologiczne, «Slavia occidentalis», 33, 1976.

[40] Zd. Stieber, Zarys dialektologii języków zachodniosłowiańskich, стр. 17; J. Bělič, Nástin české dialektologie, Praha, 1972, стр. 71.

[41] J. Nalepa, Słowiańszczyzna północno-zachodnia, стр. 234 и сл.

[42] E. Mucke, указ. соч., стр. 149—150; Zd. Stieber, Stosunki pokrewieństwa języków łużyckich, стр. 70—73.

точных областях нижнелужицкой территории наблюдается и в других случаях, ср. примеры с переходом *'ě + t ⩾ 'a* таких словах, как *susad* «сосед», *dźad* «супруг, муж», *gjaska ⩽ gwjazdka* «святой вечер» (губинский и мужаковский диалекты) [43], изменение **tъlt = telt* [*pelny* «полный», *welna* «шерсть», *pelkaś, pelkać* «стирать (белье)»], отсутствие нижнелужицкого изменения *kr-, pr-, tr- ⩾ kš-, pš-, tš-* [44], сохранение неизмененной группы *-str-* (*sostra*) в мужаковском и слепянском диалектах и т. д. Здесь речь идет о более поздних нижнелужицко-польских переходных диалектах, объединяемых под понятием «восточнонижнелужицкий». Л. В. Щерба ошибочно пытался приписать этой особой диалектной группе статус третьей самостоятельной лужицкой диалектной единицы [45].

Теперь, в ходе развития инноваций в отдельных славянских языках, находят окончательное выражение характерные для этого периода фонологические изменения, начало которых можно заметить уже в процессе дифференциации праславянского языка позднего периода. К ним относятся окончательный переход *ц ⩾ u, γ ⩾ h*, вокализация *ъ⁰ ⩾* в.-луж. *o*, *ъᵉ ⩾* н.-луж. *e*, образование аффрикат *ʒ́, ć* на месте праславянских сильно палатализованных *d́* и *ť*, депалатализация *c'*, происходящего из праславянского **č́*, и его окончательное совпадение с *c ⩽ *c* в нижнелужицком и т. д.

Число собственно общелужицких инноваций чрезвычайно мало. К тому же, ввиду раннего угасания серболужицкого языка в древнелужицких районах, расположенных к западу от Эльбы, реконструировать первоначальное состояние в полном объеме пока едва ли возможно. Единственными языковыми источниками здесь являются дошедшие до нас древнелужицкие топонимы. Правда, при этом обнаруживается, что наряду с соответствием, в основных чертах, развитию в исторически засвидетельствованном серболужицком языке (*ц ⩾ u, ę ⩾ 'a, ě, ъ⁰ ⩾ o, ъᵉ ⩾ e, tort, tolt ⩾ trot, tlot, tъrt ⩾ tort, tъlt, tolt* и т. д.) между двумя диалектными комплексами существовали также и диалектные различия. Это подтверждается существованием таких топонимов, как *Wolkau = *Vъlkovъ, Wolkwitz ⩽ *Vъlkovici* и т. д., тем, что в этой древнелужицкой области на Эльбе праслав. **ъl* в позиции после лабиального было лабиализовано, как в соседнем полабском и восточнославянском языках (ср. полаб. *vâu̯cka/vucka ⩽ *vъlčьk* «волк», русск. *волк*, но в собственно верхне- и нижнелужицком *wjelk* — название населенного пункта *Wjelkow*») [46].

Для собственно серболужицкого (верхне- и нижнелужицкого) можно указать на следующие общие для отдельных языков инновации: 1) образование спиранта из палатального **ŕ* после *k, p, t ⩾* в.-луж. *-kś-, -pś-, -tś-* (*-ts'*), орфографически *kř, př, tř* (ср. *křiž* «крест», *přećel* «друг», *třas'* «трясти», *třěcha* «крыша»); н.-луж. *-kś-, -pś-, -tś-* (*kśica, pśijaśel, tśěsć, stśěcha*); 2) упрощение консонантной группы **-str- ⩾ -tr-* (в.-луж. *sotra* «сестра», н.-луж. *sotša* то же, в.-луж. *trojić* «создавать, изготовлять», н.-луж. *tšojiś*). При этом в собственно нижнелужицком языке действует ограничение, заключающееся в том, что здесь, в отличие от верхнелужицкого, упрощение группы *-str-* происходит только перед гласными заднего ряда, а перед гласными переднего ряда оно не имеет места (ср. в.-луж. *třihać* «стричь,

[43] Ср.: Л. В. Щерба, указ. соч.; Zd. Stieber, Dyspalatalizacja **e ⩾ 'o* и **ě ⩾ a* w dawnych dialektach pogranicznych łużycko-polskich, «Slavia occidentalis», IX, 1930, стр. 498—500; H. Schuster-Šewc, O charakterze dawnych łużycko-polskich gwar przejściowych na terenie Dolnego Śląska, «Rozprawy komisji językowej», VII, Wrocław, 1969, стр. 16.

[44] H. Schuster-Šewc, Ns. *wałtora*, os. *wutora* «Diengstag», und einige Fragen der sorbischen Lautentwicklung, ZfSl, VII, Hf. 5, 1962, стр. 661—662.

[45] Л. В. Щерба, указ. соч., стр. 192.

[46] H. Schuster-Šewc, Das altsorbische Dialektgebiet..., стр. 213—214.

резать», *třěleć* «стрелять», но н.-луж. *stśigaś*, *stśelaś*). Узкую артикуляцию праславянского *ѣ* [47], т. е. *ě*, которая часто рассматривается как общелужицкий признак, мы считаем (как уже было изложено выше) так же, как и *u* (⩽*ų*) ⩽ **ǫ* и *h* (⩽*γ*) ⩽ **g*, диалектной чертой праславянского языка позднего периода (ср. стр. 72).

Кроме того, существует ясное указание на то, что праславянский **ě* в пранижнелужицком должен был иметь несколько более широкую артикуляцию, чем в верхнелужицком языке. Доказательством этого является, с одной стороны, то, что после депалатализованных в серболужицком языке сибилянтов *c*, *s*, *z* этот звук представлен как *e* в нижнелужицком (*ceły* ⩽ ⩽ **celъ-jь* «целый», *sěno* ⩽ **sěno* «сено») и как *y* — в верхнелужицком (*cyły*, *syno*) [48], с другой стороны, то, что в нижнелужицком языке наблюдается частичный переход *'e* ⩾ *'a* перед твердыми согласными: ср. н.-луж. *mjasec* ⩽ *měsec* ⩽**měsęcь* «месяц» и *mjałki* «мелкий плоский» ⩽ *mělki* ⩽ **mělъkъ-jъ*. В современных нижнелужицких диалектах также наряду с произношением *ě* известно и произношение *'e* [49].

Подобным же образом обстоит дело и с окончаниями дат., местн. и твор. падежей дв. числа всех трех родов *-oma(j)* (в.-луж. *človjekomaj*, н.-луж. *človjekoma*) и род. падежа ед. числа местоимений и прилагательных жен. рода *-eje* (*teje*, *stareje*), которые иногда также считаются общей серболужицкой инновацией в области морфологии [50]. Как доказывают, однако, польские диалектные примеры *palcůma*, *Polakůma* наряду с *ksųškůma gąśůma* с *-ůma* ⩽ *-oma* (Силезия) [51] и *nogoma*, *sankoma*, *chłopcomi* (Кашубы) [52], это окончание раньше было известно на более широкой западнославянской территории. Его распространение напоминает распространение эпентетического *j* и протетического *w* перед *-j-* (ср. стр. 81). Падежное окончание *-eje* первоначально также было общей западнославянской особенностью (ср. польск. *tej*, *starej*, чеш. *té*, *staré*, словац. *tej*, *starej*). В серболужицком языке сохранилось в качестве западнославянского архаизма лишь первоначальное состояние без стяжения.

Характерной чертой всех серболужицких инноваций периода развития отдельных языков, образовавшихся после XII и XIII вв., является тот факт, что всякий раз их распространение ограничивалось пределами собственно верхнелужицкой или нижнелужицкой языковой области. С появлением инноваций начинается собственно внутренняя история серболужицкого языка, которую можно разделить на два периода — более древний, дописьменный (приблизительно XII и XVI вв.) и более поздний, письменный период (с XVI и XVII вв. до наших дней). К собственно серболужицким изменениям, имевшим место в более древний период, относятся следующие.

В верхнелужицком: 1) изменение *o* + *j*, палатальный согласный ⩾ *e* (ср. *stejeć* ⩽ *stojać*, *selić* ⩽ *solić*, дат. ед. *človjekej* ⩽ *človjekewi* ⩽ *človjekowi* и т. д.); 2) возникновение особенно сильного динамического ударения на первом слоге слова и связанная с этим тенденция к понижению артикуляции гласных высокого подъема или их полное выпадение в безударном

[47] W. Taszycki, указ. соч.

[48] H. Schuster-Šewc, Historische und vergleichende Lautlehre des Albin Moller, Berlin, 1958, стр. 39.

[49] H. Schuster-Šewc, Roswój fonologiczny dolnołużyckiego systemu wokalicznego, SFPSŁ, V, 1965, стр. 401.

[50] R. Lötzsch, Die spezifischen Neuerungen der sorbischen Dualflexion, Bautzen, 1965, стр. 22—28.

[51] K. Dejna, Dialekty polskie.., стр. 214.

[52] «Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich», Oprac. przez zespół Zakł. słowianoznawstwa PAN pod kierunkiem H. Popowskiej-Taborskiej, XII, cz. II, Wrocław — Warszawa — Kraków — Gdańsk, 1975, стр. 124—137.

слоге (ср. в.-луж. диалектн. и более древнее *halza*, *haloza* ⩽ *haluza* «сук, ветвь», *kusnyć* «укусить, откусить», диалектн. *kusnć*, форма перфекта *sym kusnoł*, *su kusnyli* ⩽ *kusnuć*, *sym kusnuł*, *su kusnuli*; *malena* ⩽ *malina* «малина», *holca* ⩽ *holica* «девочка, девушка», *pinca* ⩽ *piwnica* «погреб, подвал» и т. д.) [53]; 3) диссимиляция начальной группы согласных *chw-* ⩾ k^hw- с последующим более поздним распространением (системным выравниванием) k^h также и на случаи с *ch* в начале слова [вначале только *chwalić* ⩾ k^h*walić* «хвалить, восхвалять, превозносить», *chwila* ⩾ k^h*wila* «(некоторое) время», а затем также и *chory* ⩾ k^h*ory* «больной», *chileć so* ⩾ ⩾ k^h*ileć so* «склоняться, наклоняться» и т. д.] [54]; 4) более поздний переход *'e* ⩾ *'o* в конце слова и частично перед твердыми лабиальными и велярными согласными (в.-луж. *zbožo*) *zbože* ⩽ **sъbožьje* «счастье», *zelo* ⩽ **zele* «лекарственное растение; картофельная ботва», *widźo* деепричастие ⩽ *widźe* «видеть», *so* возвратное местоимение ⩽ *se*, *přeco* ⩽ *přece* наречие «всегда», диалектн. *johła* ⩽ *jehła* «игла», *nochcu* ⩽ *njechcu* 1-е лицо ед. число ⩽ ⩽ **ne* = *chъtjǫ* «не желать, не хотеть», диалектн. *spěwanjo* отглагольное существительное, ср. также в.-луж. *źo* ⩽ **kъde*, *buźo* 3-е лицо ед. число ⩽ ⩽ **bǫdetъ*; 5) понижение артикуляции фонемы *a* между двумя палатализованными согласными и ее совпадение с фонемой *e* (*pjaty* «пятый», но *pjeć* «пять», *přecel* ⩽ *přaćel* «друг»); 6) ослабление фонемы *h* в позиции перед и после согласного и в конце слова (*rěch* ⩽ *hrěch* «грех», *mozy* ⩽ *mozhi* «мозг», *dol'* ⩽ *dolh* «долг»).

В нижнелужицком: 1) возникновение звука *ó* ($\overset{u}{o}$) как позиционного варианта фонемы *o* в позиции после лабиальных или велярных согласных *wóda* «вода», *kóza* «коза», *góra* «гора», но *rola* «пахотная земля, пашня, поле», *sowa* «сова») [55]; 2) переход *'e* (⩽ **e*, **ь*, **ě*, **ę*) ⩾ *'a* [*njasć* ⩽ *njesć* «нести», *wjas* ⩽ *wjes* «село, деревня», *mjasec* ⩽ *mesec* «луна, месяц; месяц (календарный)», *jacmjeń* ⩽ *ječmjeń* «ячмень»]; 3) тенденция к устранению корреляции по лабиальности (*tyca* ⩽ *tuca* «радуга», *synica* ⩽ *sunica* «клюква», *s'yńco* ⩽ *sluńco* «солнце»; диалектн. *wyda*/*weda* «вода» ⩽ *wyda* ⩽ *wóda*, *kyń*/*keń* ⩽ *kyń* ⩽ *kóń* «лошадь, конь») [56]; 4) депалатализация палатальной аффрикаты *c'* (⩽ **č*) и ее совпадение с исконным *c* (*cas* ⩽ *c'as* ⩽ **čas* «время», *cesaś* ⩽ *c'esaś* ⩽ **česati*, ср. стр. 75); 5) ослабление обеих аффрикат *dź*, *ć* в *ź*, *ś* во всех позициях, кроме позиции после свистящих (*źěłaś* ⩽ *dźěłać* «работать», *śota* ⩽ *ćota* «тетя», *źowka* ⩽ *dźowka* «дочь», но *zdźaržaś* (перфективный) «сдержать, удержать», *kosć* «кость»); 6) ассибиляция фонемы *r* в сочетаниях *kr-*, *pr-* и *tr-* перед гласными заднего ряда (*kšadnuś* ⩽ **kradnąti* «красть», *pšawy* ⩽ **pravъ-jь* «правильный, верный», *tšawa* ⩽ **trava* «трава»); 7) передвижение *ŵ* ⩾ *j* в позиции перед *-c* (*wojca* ⩽ *woiwca* «овца», *šejc* ⩽ *šeiwc* «сапожник») и т. д.

В отличие от предшествующего этапа развития праславянского языка позднего периода теперь все большее значение приобретают морфологические, лексические и в определенной степени также и синтаксические явления. Однако установить более точную хронологию этих явлений затруднительно ввиду отсутствия текстов старше XVI в. Кроме того, более де-

---

[53] H. Schuster-Sewc, Zwei sorbische Lautprozesse, «Zborník Filozofické Fakulty Univerzity Komenského», XXIII—XXIV. Philologica, Bratislava, 1971—1972, стр. 125—126.

[54] H. Schuster-Sewc, Die Genese des aspirierten Konsonanten k^h im Obersorbischen (ein Beitrag zur historischen Phonologie des Westslawischen), ZPhSK, 1972, 25, Hf. 4—5.

[55] Zd. Stieber, Stosunki..., стр. 57—59; H. Schuster-Sewc, Reflexe alter Längen im Niedersorbischen, ZfSl, III, Hf. 2—4, 1958, стр. 264.

[56] H. Schuster-Sewc, Zwei sorbische Lautprozesse..., стр. 12.

тальные сравнительные исследования славянских языков в этой области отсутствуют. Возможно, поэтому отдельные учитываемые здесь инновации могут относиться к более позднему этапу развития. Ср., например, из области морфологии: 1) формирование оппозиции «личность — неличность» в верхнелужицком языке и ее отсутствие в нижнелужицком (в.-луж. *Serbja* им. мн. «лужицкие сербы», *človjekojo*, но н.-луж. *Serby*, *człowjeki*, *l*-формы глагола *hladali/hladałe*, но н.-луж. *glědali* «смотрели»); 2) существование особой формы вокатива у существительных муж. рода в верхнелужицком языке (в.-луж. *človjeko/človječe*, но н.-луж. *człowjek* «человек»); 3) возникновение особых форм конъюнктива в верхне- и нижнелужицком языках (в.-луж. *bych pisał*; н.-луж. *by pisał* «я писал бы»); образование в верхнелужицком языке особого конъюнктивного значения (*Won by přeco spał* «у него была привычка (навык, обычай)»); возникновение в верхне- и нижнелужицком языках пассивной формы прошедшего времени типа *Wón bu zabity* «Он был убит»; 5) распространение окончания *-e* существительных жен. рода с мягкой основой (*duša*, *duše*) на все существительные жен. рода с основой на твердые *s* и *z*, а в им. падеже мн. числа также и на существительные муж. рода с основой на *-s*, *-z*, *-c* в нижнелужицком языке (*kose*, *koze*, *nose*, *woze*) [57].

Общей особенностью обоих серболужицких языков часто считают наличие синтетического претерита — аориста, имперфекта, форм плюсквамперфекта и двойственного числа, употребляющихся в верхне- и нижнелужицком литературных языках. Как и флексии *-oma* (*j*), *-eje*, эти явления не могут быть примерами языковых новаций. Речь идет об общем периферийном архаизме, который был известен соседнему полабскому языку, а формы синтетического претерита еще и теперь употребляются в болгарском и в сербохорватском языках [58]. Кроме того, формы синтетического претерита в нижнелужицких диалектах, в отличие от нижнелужицкого литературного языка и верхнелужицкого, исчезли еще до XIX в.[59].

Часть лексических различий между верхне- и нижнелужицким, вероятно, также можно считать более древней по происхождению, ср. такие примеры, как в.-луж. *pluh* «плуг», н.-луж. *choluj* то же, в.-луж. *kohlica* «ласка (зоол.)», н.-луж. *łasyca* то же, в.-луж. *zbožo* «счастье» — н.-луж. *zbožo* «рогатый скот», в.-луж. *łastojčka* —«ласточка», н.-луж. *jaskolicka* то же, в.-луж. *chěža* «дом» н.-луж. *wjaža* то же, в.-луж. *twarjenje* «здание, строительство», н.-луж. *chrom* то же, в.-луж. *wow(k)a* «бабушка», н.-луж. *stara mama* то же, в.-луж. *jutry* «пасха», н.-луж. *jatšy*, *jastry* то же, в.-луж. *koš(u)la* «рубашка», н.-луж. *zgło* то же, в.-луж. *prajić* «сказать, говорить», н.-луж. *groniś* то же, в.-луж. *tež* «также», н.-луж. *teke* то же и т. д.

Число лексических и семантических новообразований очень незначительно, ср. в.-луж., н.-луж. *blido* «стол»; в.-луж. *wutroba* «сердце», н.-луж. *wutšoba* то же; в.-луж., н.-луж. *nan* «отец»; в.-луж. *knjez* «господин; гражданин; хозяин», н.-луж. *kněz* то же; в.-луж. *kabija* «сойка (зоол.)», н.-луж. *kabeja* то же; синтетическая форма будущего времени *měć/měś* «иметь»: *změju*; числительное в.-луж. *prěni* «первый», н.-луж. *prědny/pjerwy* то же.

Отсутствие собственных экономических и политических центров в виде крупных городов с населением, говорящим по-лужицки, расселение лужицких сербов по различным административным областям (с 1806 г. Прус-

---

[57] Подобный процесс известен также и польским диалектам. Ср. в этой связи: L. Moszyński, Wyrównania deklinacyjne w związku z mazurzeniem polskim, ruskim, połabskim, Wrocław, 1960.

[58] М. Деянова, Имперфект и аорист в славянските езици, София, 1966.

[59] F. Michałk, Der Verlust der synthetischen Vergangenheitsformen im Norden des obersorbischen Sprachgebietes, «Acta Universitatis Carolinae, Philologica. — Supplementum, 1959, Slavica Pragensia, I», Praha.

сия, Саксония, Силезия), сильная раздробленность Лужицы на мелкие феодальные владения и подьластные территории и конфессиональное разделение верхнелужицких сербов на протестантов и католиков в период позднего средневековья привели к исключительно сложному микрочленению обеих основных языковых областей [60]. В это время образуется верхненижнелужицкая пограничная полоса, которая в лексическом и морфологическом отношении расчленена еще значительней [61].

Этапы развития серболужицкого языка после XVI в. связаны, кроме того, с формированием двух самостоятельных литературных языков[62]. Они отличаются от других славянских литературных языков относительно ограниченной сферой функционирования и менее четко выраженной консолидацией фонологической, грамматической и лексической систем. Наиболее развитым является верхнелужицкий литературный язык. После освобождения лужицких сербов от фашизма он стал особенно усиленно развиваться и теперь полностью выполняет функцию наддиалектного средства взаимопонимания.

Перевела с немецкого *М. И. Ермакова*

[60] В этой связи ср. особенно: P. W i r t h, Beitrage zum sorbischen (wendischen) Sprachatlas, Lfg. 1, Leipzig, 1933 (Fotomechanischer Nachdruck, Bautzen, 1975, стр. 43—52); H. S c h u s t e r - S e w c, [рец. на кн.:] Sorbischer Sprachatlas, 4, ZfSl, XIX, Hf. 4, 1974, стр. 582—583.

[61] S. M i c h a l k, Der obersorbische Dialekt von Neustadt, Bautzen, 1962, стр. 275—290.

[62] H. S c h u s t e r - S e w c, Die Geschichte der sorbischen Schriftsprachen, «Славянска филология», 3, София, 1963; H. S c h u s t e r - S e w c, Zur gesellschaftlichen Bedingtheit standardsprachlicher Prozesse im Bereich des Westslawischen, ZfSl, XVIII, Hf. 2, 1973, стр. 220—223.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1976

В. М. АЛПАТОВ

О СООТНОШЕНИИ ИСКОННЫХ И ЗАИМСТВОВАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В СИСТЕМЕ ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА

Хорошо известно, что языки оказывают то или иное влияние друг на друга; эти явления приводят к различного рода изменениям в языковой системе. Процесс языкового контакта и изменения в языке, им вызываемые, неоднократно исследовались советскими и зарубежными языковедами [1].

Процесс изменений, происходящих в одном языке под влиянием другого, может изучаться в различных аспектах. Наряду с изучением этого процесса в историческом развитии интерес, как нам кажется, представляет и изучение его результата, т. е. того, как в системе того или иного языка распределяются между собой исконные и заимствованные элементы, какие особенности они имеют. Некоторые ученые отрицают возможность синхронного описания исконных и заимствованных элементов ввиду того, что при таком описании многие заимствованные единицы ничем не будут отличаться от исконных [2]. Однако часто в системе языков можно в той или иной степени выявить особенности, которыми обладают только исконные или только заимствованные элементы, причем эти особенности четко осознаются носителями языка. Поэтому, как нам представляется, синхронное описание исконной и заимствованной подсистем системы языка, проводимое, в частности, чехословацкими лингвистами [3], вполне правомерно.

При таком описании соотношение исконных и заимствованных элементов в языке может оказаться отличным от их соотношения, выявленного на основании изучения истории языка. Например, многие лексические заимствования в языке могут ни по фонетическому, ни по грамматическому облику, ни по семантике не отличаться от исконных единиц (ср. в русском языке такие слова, как *собака*, *лошадь*, *товар*, *плуг*, *кровать* и т. д.); эти единицы могут быть выявлены как заимствования лишь ученым-языковедом путем исторического анализа языка и сопоставления его с другими, с точки зрения современного языка такие единицы не отличаются от исконных [4]. Для многих языков такие единицы составляют значительную часть лексики, однако в таком языке с четко разграниченными исконной и заимствованной подсистемами, как японский, элементов такого рода сравнительно немного. В то же время другие заимствованные единицы сохраняют особенности, отсутствующие у исконных элементов. Многие заимствования имеют и семантические особенности, связанные с передачей ими иностранных реалий; наконец, многие заимствования могут быть выделены в связи

---

[1] См., например, работы, включенные в сб. «Новое в лингвистике», VI, М., 1972; а также: Б. А. Серебренников, Об устойчивости морфологической системы языка, «Вопросы теории и истории языка в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию», М., 1952, В. Ю. Розенцвейг, Языковые контакты, М., 1972, и др.

[2] См.: Э. Хауген, Процесс заимствования, «Новое в лингвистике», VI, стр. 378.

[3] См.: B. Trnka, On foreign phonological features in present-day English, «On honour of Daniel Jones», London, 1964.

[4] См. об этом там же, стр. 185.

с ограниченностью функционирования: они свойственны не всем подъязыкам (стилям), а лишь некоторым, прежде всего книжным, часто они также используются не всеми носителями языка, а лишь некоторыми, наиболее образованными или принадлежащими к особым социальным группам. Выделяя эти особенности, можно разграничить в языке подсистему исконных единиц и одну или несколько подсистем заимствованных единиц, каждая из которых обладает определенными признаками.

Соотношение систем исконных и заимствованных элементов в разных языках различно. Например, в современном русском языке подсистема заимствованных элементов явно периферийна в системе языка (заимствованные в прошлом элементы, вошедшие в базовую лексику, как правило, неотличимы от исконных), эта система довольно едина (признаки, которыми в русском языке заимствованные элементы могут противопоставляться исконным, свойственны заимствованиям из самых различных языков). В современном английском языке можно, по-видимому, выделить не одну, а две подсистемы заимствованных элементов: подсистему романских заимствований и подсистему заимствований из других языков; из них лишь вторую можно в полном смысле слова назвать периферийной. В то же время русский и английский, как и многие другие языки, сходны тем, что исконная и заимствованная системы в них нечетко отграничены друг от друга.

С другим явлением мы имеем дело в современном японском языке. Под влиянием специфических исторических условий, в результате которых на японский язык влияли языки, резко отличные от него по строю, в японском языке на разных уровнях выделяются четко отграниченные друг от друга подсистемы единиц различного происхождения.

Можно выделить три основные подсистемы: исконную подсистему, подсистему китайских заимствований и подсистему европейских заимствований. На периферии языка находятся также не образующие единой системы единицы иного происхождения, обладающие особыми чертами: заимствования из старописьменного языка, заимствования из диалектов.

К исконной подсистеме относятся те единицы, которые могут быть признаны исконными с точки зрения современного языка (эти единицы в японской лингвистике именуются «ваго»). Вопрос о том, какие единицы этого класса действительно исконны, окончательно не решен наукой, так как родственные связи японского языка до конца не выяснены[5]. В состав ваго входят и несомненные заимствования: поздние заимствования из алтайских языков, заимствования дописьменного периода из китайского языка [6]. Однако для современного языка эти различия не имеют значения: все ваго представляют собой достаточно давно существующие в языке единицы, осознаваемые как исконные и противопоставленные китайским и европейским заимствованиям.

Наряду с исконными единицами в японском языке в течение уже длительного времени существует большое количество заимствований из китайского языка, так называемые канго. Эти заимствования занимают особое место в системе японского языка, отличное как от места исконных единиц, так и от места других заимствований. Причины этого заключаются в том огромном влиянии, которое оказала в свое время на Японию китайс-

[5] В японском языке, по-видимому, выделяются два слоя лексики, сопоставляемые с лексикой алтайских и малайско-полинезийских языков: на то, какой из этих слоев действительно исконный, существуют разные точки зрения (см.: Н. А. Сыромятников, Древнеяпонский язык, М., 1972; Мураяма Ситиро, Нихонго-но когэн, Токио, 1974; R. A. Miller, Japanese and other Altaic languages, Chicago — London, 1971).

[6] См.: Н. А. Сыромятников, Как отличить заимствования от исконных общностей в алтайских языках?, ВЯ, 1975, 3; R. A. Miller, The Japanese language, Chicago — London, 1967.

кая культура. Одним из проявлений этого влияния было заимствование китайской иероглифической письменности. Процесс заимствования иероглифики продолжался в течение нескольких веков, в VIII в. уже существовала развитая литература, записывавшаяся иероглифически, но читавшаяся по-японски. Иероглифические тексты могли читаться в Японии и по-китайски, при этом китайское произношение сильно менялось под влиянием фонологической системы японского языка. Таким образом, вместе с иероглифами заимствовались и китайские морфемы и слова, записывавшиеся этими иероглифами, постепенно сложилась система китайских заимствований со своими фонологическими, грамматическими и семантическими особенностями. Первоначально эта система реализовалась в основном в текстах официального, религиозного и др. характера, записывавшихся чисто иероглифически (так называемый камбун) [7], в чисто японских литературных памятниках IX—XII вв. китаизмов еще мало [8]; по-видимому, немного их было и в устной речи того времени. Однако постепенно количество китаизмов в литературе росло, проникали они и в устную речь, хотя большинство китайских по происхождению единиц и в современном языке имеет книжный характер (см. ниже) [9].

В результате указанного выше процесса сложилась современная система китайских по происхождению единиц. Эта система представлена большим количеством элементов: каждый иероглиф, кроме иероглифов, изобретенных в Японии, имеет, хотя бы потенциально, «китайское чтение» (он) [10], т. е. имеется единица китайского происхождения, записываемая данным иероглифом. Именно «он» прежде всего является единицей, непосредственно заимствованной из китайского языка; среди лексем, которые в большинстве случаев состоят из нескольких онов, есть как прямые заимствования из китайского языка, так и лексемы, возникшие в самой Японии и не имеющие параллелей в китайском языке.

Европейские заимствования стали появляться в японском языке с XVI в., когда японцы впервые столкнулись с европейцами. Заимствования этого периода типа *пан* «хлеб», *табако* «табак» во многом потеряли характер заимствований и сблизились с исконными единицами. Массовый характер заимствования из европейских языков приняли после буржуазной революции Мэйдзи (1867—1868), когда в Японии шло освоение западной культуры. Особенно интенсивным процесс заимствования стал в послевоенные годы. До первой половины XX в. заимствовались единицы различных европейских языков, в последнее время почти все заимствуемые элементы приходят из английского языка, обычно в его американском варианте. Заимствования, восходящие к другим языкам, чаще всего приходят в японский язык через английский, что отражается в их фонетическом облике [11]. Процесс заимствований из европейских языков по своему ха-

---

[7] Наряду с иероглифами с VIII в. стали появляться специфически японские системы письма (виды так называемой каны) на основе иероглифов.

[8] См.: Н. А. Сыромятников, Классический японский язык (в печати).

[9] Об истории китайских заимствований в японском языке см.: Н. И. Конрад, О литературном языке в Китае и Японии, ВЯ, 1954, 3; «Нихонго-но рэкиси», 1—7, Токио, 1963—1965; Ямада Есио, Кокугоси, модзихэн, Токио, 1937; Тодо: Акиясу, Кондо: Мидуо, Камбун-гайсэцу, нихонго-о содатэта моно, Токио, 1960; R. A. Miller, The Japanese language, стр. 90—135.

[10] После второй мировой войны был установлен иероглифический минимум, в который не включены многие оны, однако и они еще в определенной степени употребляются.

[11] Об истории и современном состоянии европейских заимствований в японском см.: С. В. Неверов, Иноязычные слова в общественно-языковой практике современной Японии. АКД, М., 1966; R. A. Miller, The Japanese language, стр. 240—244, 249—256.

рактеру во многом отличен от процесса заимствования из китайского. Единицы европейского происхождения появляются в японском языке в основном устным путем; как правило, передается их произношение, а не написание, что отличает их как от китайских заимствований в японском, так и от большинства заимствований из одного западноевропейского языка в другой. В отличие от заимствований из китайского заимствования из европейских языков, как правило, целые лексемы. Лишь изредка встречаются лексемы, образованные в Японии: существуют слова *сарари* : *ман* «служащий», *заги:ру* «стюардесса», хотя в английском соответствующие сочетания *salary man, air girl* не фиксируются.

Так в японском языке сложилась система, в которой четко выделяются три основные подсистемы единиц, различающихся своим происхождением. Эти подсистемы до сих пор четко осознаются носителями языка. Хотя происходит взаимопроникновение подсистем и некоторые различия между ними стираются, принадлежность той или иной единицы языка к той или иной подсистеме не вызывает сомнения ни у лингвиста, ни у достаточно образованного носителя языка, чему способствует система японского письма: европейские заимствования, как правило [12], не записываются иероглифически, а пишутся одной из двух национальных азбук — катаканой, которая в современном языке в основном применяется для этих целей; китайские заимствования до реформы письма 1946 г. писались только иероглифами; исконные единицы пишутся частично иероглифами, частично другой национальной азбукой — хираганой. После реформы 1946 г. китаизмы в ряде случаев пишутся хираганой, а иногда и катаканой, что делает менее различимыми единицы в зависимости от их происхождения. Однако до сих пор каждому иероглифу приписываются «китайское чтение» (он) и «японское чтение» (кун), которые разграничиваются в словарях и в процессе обучения; даже если иероглиф связан с одним чтением, известно, к чему оно относится: к онам или кунам. Но, безусловно, кроме указанной традиции и особенностей письма на выделимость единиц в зависимости от их происхождения влияют их особенности на разных ярусах языковой системы, которые мы, по необходимости кратко, рассмотрим в данной статье.

Прежде всего рассмотрим строение фонологического яруса в каждой из трех подсистем, т. е. системы фонем и правила комбинирования их в составе слога в каждой подсистеме [13]. Системы фонем сами по себе отличаются друг от друга сравнительно мало: к числу основных отличий можно отнести существование в европейской подсистеме как особых фонем *ф* и *ц*, которые в двух других подсистемах являются позиционными вариантами соответственно *х* и *т*; некоторые периферийные фонемы, например, долгие *а*, *и*, не встречаются в китайской подсистеме; долгое *м* существует лишь в исконной подсистеме (впрочем, вопрос о существовании данной фонемы в японском языке спорен). Однако положение многих фонем внутри подсистем различно, разную роль играют и некоторые противопоставления фонем. Это прежде всего противопоставления согласных и гласных по долготе и краткости и противопоставление согласных по твердости — мягкости,

[12] Исключение составляют наиболее адаптированные слова.

[13] Существует другой подход, по которому, например, фонологическая система европейских заимствований в японском языке понимается как система особенностей, отличающих заимствования от исконных единиц; см. И. В. Неступны, Иноязычные фонологические элементы в японском языке (проблемы фонологии и языковой политики), «Языковая ситуация в странах Азии и Африки», М., 1967, стр. 170. Однако, на наш взгляд, правомерно считать, что европейские (как и китайские) заимствования в японском языке обладают, в частности, общей фонологической системой, куда входят все фонемы и их сочетания, возможные в данном классе элементов языка.

а также положение в системе конечнослоговой фонемы *н* [14]. Все указанные противопоставления отсутствовали в древнеяпонском языке и появились первоначально в китайских заимствованиях, это же относится и к конечнослоговому *н*; позднее ввиду взаимодействия подсистем эти специфические черты китайской подсистемы проникли в исконную, существуют они и в европейской подсистеме. Однако в исконной подсистеме, за исключением отдельных случаев, долгие и мягкие фонемы, так же как конечнослоговое *н*, периферийны, встречаясь в составе небольшого количества морфем, часто экспрессивного характера. В европейской подсистеме, хотя единиц, в которых содержатся долгие фонемы, численно много, противопоставление по долготе — краткости имеет сравнительно небольшое смыслоразличительное значение, что проявляется в значительных колебаниях их написания [15]. В китайской же подсистеме все указанные фонемы распространены очень широко и противопоставления по твердости — мягкости и краткости — долготе играют большую смыслоразличительную роль. Вообще китайская подсистема не имеет четкого деления фонем на периферийные и непериферийные, что свойственно исконной подсистеме. Однако в обеих этих подсистемах периферийна фонема *п*, встречающаяся лишь в ономатопоэтической лексике, в европейской подсистеме *п* встречается чаще.

Структура слога в исконной и китайской подсистемах весьма проста: за исключением слогов с *н* конечнослоговым в основном употребляются слоги типов CV и V. Структура слога в европейской подсистеме сложнее, в ней в большей степени допустимы стечения согласных. Сочетаемость фонем внутри слога с учетом указанных выше различий в исконной и китайской подсистемах принципиально не отличается друг от друга, в европейской же подсистеме существуют слоги, не встречающиеся в двух других: *ду*, *ту*, *е* и др. [16].

Наряду с фонологическими особенностями подсистемы имеют и морфонологические, проявляющиеся в разной слоговой структуре морфем. Подсистемы различаются, во-первых, разным количеством слогов в морфеме, во-вторых, возможностью или невозможностью проведения морфемных границ внутри слога. Единицы исконной и европейской подсистем не имеют принципиальных ограничений на количество слогов в морфеме, в обеих подсистемах преобладают многосложные морфемы. В китайской же подсистеме преобладают односложные морфемы и очень редки более чем двусложные. Это связано с тем, что единица китайской подсистемы, записываемая одним иероглифом (так называемый он), имеет очень строгие правила строения: они бывают либо односложными, либо двусложными, причем вторым слогом может быть лишь один из четырех: *ки*, *ку*, *ти*, *цу*. В большинстве случаев «он» равен морфеме, однако бывают случаи, когда последовательности, записываемые несколькими иероглифами, семантически неразложимы (например, *айсацу* «приветствие», *махи* «паралич»), в этих случаях морфемы китайской подсистемы имеют более сложное строение, чем обычно. Однако такие случаи не так часты.

В исконной подсистеме (только в глаголе) возможно проведение морфемных границ внутри слога (ср. *ёму* «читаю, читаешь, читает...», *еми* «читая», *ёмэ* «читай!»). Такие случаи не свойственны ни китайской, ни европейской подсистемам, но по разным причинам. В европейской подсистеме они принципиально возможны, но нехарактерны, так как европей-

[14] Мы исходим из наиболее распространенной в советской японистике точки зрения, в основном восходящей к работам Е. Д. Поливанова. Существуют другие взгляды на многие указанные здесь явления, например, мягкие согласные трактуют как сочетания с йотом, однако разные способы описания могут лишь по-разному распределить данные особенности между составом фонем и составом слога.

[15] См.: И. В. Неуступны, указ. соч., стр. 152.

[16] См. там же, стр. 155—158.

ские заимствования, как правило, лексемы, для японского языка не разложимые на морфемы, поэтому случаи, когда две заимствованные морфемы идут подряд, вообще редки. В китайской подсистеме эти случаи невозможны, так как они невозможны в языке-источнике, а процесс переразложения в японском языке не происходил.

Характер морфем в каждой из подсистем различен. Если исходить из предложенного Э. Сепиром деления единиц языка по значению на лексические, деривационные, конкретно-реляционные и чисто-реляционные [17], то можно видеть, что лишь исконной подсистеме свойственны все четыре класса единиц. В китайской подсистеме встречаются лексические, деривационные (суффикс прилагательных *-тэки*, суффикс *-сюги*, соответствующий русскому *-изм*, и др.), конкретно-реляционные (префикс вежливости *го-*, показатель императива *-тё*: *-дай*, показатель вероятности *-ё*: и некоторые другие [18]), но не чисто-реляционные единицы. В европейской подсистеме встречаются лишь лексические единицы. Такая картина отражает обычное в языках соотношение исконных и заимствованных элементов, однако наличие китайских по происхождению деривационных и особенно конкретно-реляционных элементов указывает на весьма большое влияние китайского языка на японский.

Большие различия существуют и в области словообразования. Лексемы европейской системы, как правило, одноморфемны, случаи многоморфемных лексем типа *сарари:ман* «служащий» немногочисленны, в европейской подсистеме отсутствуют продуктивные словообразовательные типы (но возможно образование сцеплений, см. ниже). Как бы другой полюс представляет собой китайская подсистема, лексемы которой, как правило, состоят из двух и более морфем; лексемы же, созданные за последние десятилетия, как правило, не менее чем трехморфемны [19]. Исконная подсистема занимает промежуточное положение: в ней распространены как одноморфемные, так и многоморфемные лексемы.

Исконная и китайская подсистемы имеют ряд продуктивных словообразовательных моделей и обладают своим набором деривационных аффиксов, которые, как правило, сочетаются с лексическими морфемами той же подсистемы. При словосложении китайские морфемы, как правило, сочетаются с китайскими, а исконные — с исконными, причем китайские морфемы сочетаются непосредственно, а исконные — обычно с помощью соединительных элементов [20].

Хотя исконная подсистема имеет продуктивные модели словообразования, ее словообразовательные возможности ограничены [21]. Морфемы же китайского происхождения имеют почти неограниченные возможности для их комбинирования и создания новых лексических единиц. Способствует этому и краткость китайских морфем по сравнению с исконными. Это во многом явилось причиной того, что исконных лексических единиц очень мало среди научной, технической, политической, военной и пр. терминологии. До середины XX в. в этих областях безраздельно господствовали китаизмы, которые в последнее время заметно вытесняются европейскими заимствованиями.

---

[17] См.: Э. Сепир, Язык, М., 1937, стр. 69—72.

[18] Эти единицы заимствовались как лексические и получили грамматический характер в самом японском языке.

[19] См.: Б. П. Лаврентьев, Китайская иероглифика и китайские заимствования в общественной жизни современной Японии. КД, М., 1966, стр. 171—172.

[20] Подробнее см.: А. А. Пашковский, Словообразование в современном японском языке, «Краткие сообщ. Ин-та востоковедения», XII, М., 1955; его же, Классификация японских сложных слов, «Японский лингвистический сборник», М., 1959, стр. 44—48.

[21] См.: Кинданаити Харухико, Нихонго, Токио, 1957, стр. 24—25, 98.

Однако лексемы китайской подсистемы имеют особенность, препятствующую их широкому распространению в устной речи. Простая структура слога в японском языке вообще и простая слоговая структура морфемы в китайской подсистеме приводят к исключительно большому числу омонимов, точнее, омофонов (в иероглифическом написании они обычно различаются). Поэтому языковая политика в Японии последнего времени, особенно в области средств массовой коммуникации, заключается в ограничении использования единиц китайской подсистемы и замене их на исконные и европейские [22].

Китайской подсистеме свойствен словообразовательный способ аббревиации, заключающийся в образовании сложных слов путем отсечения части онов от словосочетаний и сцеплений типа *дзэнно:* (дословно «все сельское хозяйство», а фактически «Всеяпонский крестьянский союз» — сокращение от *Дзэнкоку-но:мин-кумиаи* с тем же значением). Аббревиация свойственна и европейской подсистеме, но другого характера: происходит отсечение части слогов многосложной лексемы, например, *пуратохо:му* «платформа» сокращается до *хо:му*. Исконной подсистеме оба типа аббревиации не свойственны.

Только в китайской подсистеме возможны случаи типа *ню* : *ко* : «заход в порт», где зависимый элемент *ко:* «порт» присоединяется к главному элементу *ню:* «заход» постпозитивно. Здесь сохранен китайский порядок компонентов и нарушен общий закон порядка в японском языке, по которому всегда зависимый элемент предшествует главному.

Особым явлением, свойственным преимущественно китайской подсистеме, является существование так называемых сцеплений — последовательностей, состоящих из потенциально неограниченного числа лексических морфем, соединенных непосредственным соположением без участия каких-либо грамматических показателей; эти последовательности грамматически оформляются как единое целое и составляют один член предложения. Весьма сложным является вопрос о том, что представляют собой такие единицы: сложные слова или словосочетания. В советской японистике представлены как первая [23], так и вторая [24] точки зрения.

В любом письменном японском тексте можно встретить очень большое количество таких единиц, большинство которых состоит только из морфем китайского происхождения. Вот несколько примеров, взятых только из одного абзаца статьи из газеты «Акахата» за 14 июня 1975 г.: *ампо* : *-хакисёё:кю:-кантэцу-тю:о-дзикко:-иинкай* «центральный исполнительный комитет по исполнению требований о разрыве (договора) безопасности», *кэмпо:-кайги* «конституционная конференция», *дзию* : *-хо* : *со* : *-дан* «группа юристов-демократов», *го:до:-то:со:-хомбу* «объединенный штаб борьбы», *сэйдзи-сикин-кисэйхо:-рё:кайакуан* «план изменения в худшую сторону двух законопроектов о регулировании средств, расходуемых на политическую деятельность», *рё:кайакуан-соси* «задержка плана изменения в худшую сторону двух (законопроектов)», *санъин-данкай* «стадия (прохождения законопроекта через) палату советников».

Во всех приведенных выше примерах все морфемы китайского происхождения. Однако можно встретить и сцепления смешанного характера: в том же номере газеты *сё:хися-бэйка-хикиагэ* «повышение потребительских цен на рис» (*хикиагэ* «повышение» исконно), *О:хира-дзо:сё:* «министр

---

[22] См.: Т. И. Корчагина, Проблемы омонимии в современном японском языке. АКД, М., 1975, стр. 10.

[23] См.: О. В. Плетнер, Е. Д. Поливанов, Грамматика японского разговорного языка, М., 1930, стр. 44—45.

[24] См.: А. А. Пашковский, Слитные именные словосочетания в японском языке, «Японский язык», М., 1963.

финансов Охира» (фамилия *Охира* исконно японского происхождения), *кокунайсэй-рэмон* «лимоны, произведенные в Японии» (*рэмон* «лимон» — европейское заимствование). Могут быть и сцепления из одних европейских единиц (часто — прямая передача английских словосочетаний): в телепрограмме того же номера газеты *буру* : *сукаи-дансу-о* : *кэсутора* «танцевальный оркестр „Блу скай"». Сцепления из одних исконных единиц почти не встречаются. Несомненно, хотя в этом плане китайская подсистема влияет на исконную, сцепления остаются преимущественно особенностью китайской подсистемы.

Различия между подсистемами проявляются и в распределении лексем по частям речи. Все европейские заимствования, за незначительным исключением, существительные. Лексемы китайской подсистемы, как правило, существительные и лишь немногие из них могут быть непредикативными прилагательными [25], причем основы китайской подсистемы не имеют признаков части речи, которые проявляются лишь в разной сочетаемости с грамматическими показателями, причем некоторые основы могут сочетаться и с показателями, характерными для существительных, и с показателями прилагательного. Все единицы других частей речи исконны.

На уровнях более высоких, чем уровень лексемы (фактически на уровнях более высоких, чем уровень основы слова), если не учитывать сцепления, различия между подсистемами невелики. В плане сочетания основы слова с аффиксами словоизменения и в плане сочетания знаменательных слов со служебными европейские лексемы практически не отличаются от исконных. Единственное частное отличие можно увидеть в том, что по нормам языка европейские заимствования не рекомендуется сочетать с вежливым префиксом *о-/го-*, однако на практике такие сочетания вполне возможны [26]. Более заметны особенности китайской подсистемы. Во-первых, они также проявляются в сочетаемости с вежливым префиксом. Для единиц исконной подсистемы нормой является их сочетаемость с его вариантом *о-*, для единиц китайской подсистемы — с вариантом *го-* (сами варианты различаются по происхождению). Однако из этих правил существуют многочисленные исключения [27]. Во-вторых, более существенными являются различия в образовании глагольных синтагм. Как уже говорилось, среди лексем китайской подсистемы нет глаголов; но член предложения глагольного характера может быть образован от потенциально любого элемента китайского происхождения присоединением служебного слова *суру* (как самостоятельный глагол означает «делать»). Такие конструкции — яркая черта китайской подсистемы, однако встречаются случаи сочетания *суру* и с единицами исконного или европейского происхождения [28].

В остальном единицы китайской подсистемы соединяются с аффиксами словоизменения и служебными словами так же, как и единицы исконной подсистемы (если не считать ограничений, связанных с тем, что китаизмы принадлежат не к любой части речи). Китайские по происхождению грамматические элементы, кроме *го-*, в плане сочетаемости никак не отличаются от исходных единиц. Таким образом, морфология и система служебных слов в японском языке сохраняют исконный характер, хотя в числе аффиксов и служебных слов есть небольшое число единиц китайского происхождения.

---

[25] Если считать особой частью речи в японском языке числительное, то китаизмы будут входить и в этот класс.

[26] См.: В. М. Алпатов, Категории вежливости в современном японском языке, М., 1973, стр. 90—91.

[27] См. так же, стр. 85—86.

[28] См.: И. Ф. Вардуль, О глаголе *суру* в японском языке, «Японская филология», М., 1968, стр. 40.

Единицы более высокого уровня, начиная от синтаксем (членов предложения), и способы их соединения не имеют каких-то особенностей, связанных с различиями подсистем. Синтаксис японского языка не имеет китайских или европейских черт, имея сходство с синтаксисом алтайских языков [29]. В то же время надо учитывать, что в японском языке есть китайское по происхождению средство, эквивалентное синтаксису словосочетания — образование сцеплений (сцепления, кроме терминологичных, могут быть легко трансформированы в словосочетания путем вставления между компонентами грамматических показателей).

Подводя итоги, можно сказать, что различное влияние, оказанное на систему японского языка, со стороны других языков, было связано как с характером влияния на Японию того или иного народа и его культуры, так и со строем оказавшего влияние языка. Наиболее сильное влияние оказал китайский язык. В результате в системе языка образовалась особая подсистема, в которой сохранились многие черты строя китайского языка: односложность морфемы (неабсолютная в японском языке), словообразование путем непосредственного соположения компонентов, образование последовательностей, в которых отношения между элементами передаются только порядком компонентов без грамматических показателей (эти последовательности могут быть эквивалентны словосочетаниям); сильно отличалась от исконной подсистема китайских заимствований и фонологически. Отметим, что процесс заимствований китайских единиц по существу закончился более тысячи лет тому назад, более поздние заимствования из китайского не играют в японском языке значительной роли. В дальнейшем заимствованные из китайского языка единицы развивались исключительно в рамках системы японского языка; происходило взаимопроникновение исконной и китайской подсистем, но до сих пор они имеют отличия. Единицы китайской подсистемы в наибольшей степени свойственны книжным стилям языка, однако многие из них существуют и в разговорных стилях; трудно представить ситуацию, в которой совершенно бы не использовались китайские заимствования. Все это дало возможность таким ученым, как Н. И. Конрад и А. А. Холодович, говорить о том, что японский язык во многом можно назвать японо-китайским [30]. Однако грамматический строй японского языка в своей основе сохранил исконные черты.

Влияние европейских языков на японский оказалось значительно меньшим, в основном оно проявляется в заимствовании лексики, которая в целом более периферийна, чем лексика китайского происхождения. Кроме того, большое количество заимствований из английского языка привело к проникновению в японский язык некоторых его фонологических особенностей. На других уровнях влияния европейских языков не наблюдается, особенности европейских заимствований здесь если и есть, то в основном в негативном плане (почти полное отсутствие словообразования). Система европейских заимствований отличается также тем, что процесс лексического заимствования из европейских языков активно продолжается и в настоящее время.

Таким образом, японский язык представляет собой пример языка, где исконные единицы и два класса заимствований достаточно четко отграничены друг от друга.

---

[29] Не следует все же отрицать определенного влияния других языков на японский и в области синтаксиса, в частности, на развитие союзной связи в сложных предложениях.

[30] См.: Н. И. Конрад, Синтаксис японского национального литературного языка, М., 1937, стр. 31; А. А. Холодович, Синтаксис японского военного языка, М., 1937, стр. 27—28.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1976

З. Г. АБДУЛЛАЕВ

СООТНОШЕНИЕ КАТЕГОРИАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ДАРГИНСКОГО ГЛАГОЛА

Глагол даргинского языка характеризуется сложной и своеобразной парадигматикой. В ней представлены формы аспектуальной и темпоральной оппозиций, формы категорий класса и лица, финитности и инфинитности, переходности и непереходности и т. д. Сложность и своеобразие парадигматической структуры даргинского глагола объясняется не только наличием широкой системы форм оппозиции категориальной валентности, но и характером функционирования элементов выражения этой оппозиции. В системе оппозиций форм различных категорий особый интерес представляют межкатегориальные отношения единиц контенсивной и формальной структур. Достаточно отметить, что без учета аспектуальной оппозиции глагольных основ невозможно выявить полный комплекс форм временной парадигмы, без учета роли реляционного функционирования классных и личных формантов невозможно говорить ни о транзитивности — интранзитивности, ни о выражении оппозиционных значений залогов, а без учета категорий транзитивности — интранзитивности и действительности — страдательности не может быть и речи о субстанциальной структуре именных денотатов. Реляционная и субстанциальная валентность глагола составляет основу контенсивной и формальной структур конструктивной типологии предложения.

Если пользоваться ранговой шкалой, то реляционная валентность классно-личного глагола может быть представлена синтаксическими позициями двух рангов, характеризуемых различными типами связи соответствующих именных лексем с глаголом. К позиции первого (высшего) ранга относятся синтаксические позиции подлежащего и объекта (называемого еще «прямым» или «ближайшим» объектом), характеризуемые принципиально равнозначной взаимной координацией с глаголом. К позиции второго (низшего) ранга относятся синтаксические позиции остальных именных членов предложения (косвенного дополнения и различных обстоятельств), характеризуемые принципиально неравнозначной подчинительной связью с глаголом.

В новейшей теории залога (базирующейся в основном на фактах неэргативных языков) устанавливается связь синтаксических позиций именных лексем с глагольным ядром, при этом имеются в виду отношения возможных мыслительных единиц пропозиции, обусловленные субстанциальной валентностью глагольной основы, т. е. отношения единиц контенсивной структуры. Значение научного анализа этих отношений бесспорно. Однако анализ отношений единиц контенсивной структуры не может претендовать на полноту без учета роли соответствующих единиц формальной структуры. Больше того, единицы формальной структуры, маркирующие отношения единиц контенсивной структуры, составляют основу дефиниции синтаксических категорий. В этой связи трудно признать правомерной апелляцию к залоговой нейтральности глагольной основы кавказских языков в силу того обстоятельства, что дифференциация залоговых значений

проводится здесь не субстанциальной валентностью глагольной основы, а реляционной валентностью категориальных морфем глагола. К тому же глагольную основу нельзя считать нейтральной в отношении залоговых значений, если учесть синтаксическую роль классных формантов, функционирующих в составе этой основы. По крайней мере таково положение в дагестанских языках с классным и классно-личным спряжением глагола.

Представляется важным отметить, что выражение залоговых значений проводится в даргинском языке элементами разных уровней, но даже при наличии определенных противопоставляемых глагольных лексем (например, личных форм простого будущего времени, повелительного наклонения и т. д.) оппозиция залоговых значений является сферой синтаксической структуры, а не морфологической, так как валентность глагольных морфем предопределяет наличие соответствующих именных членов предложения и отношений между ними. Вне сферы этих отношений нет оппозиции залоговых значений. Функциональное единство элементов формальной структуры глагольных словоформ и именных единиц контенсивной структуры составляет сущностное содержание оппозиции залоговых значений.

В разрабатываемой в настоящее время универсальной теории залога каждое глагольное ядро имеет исходную конструкцию и производные конструкции пассивной деривации. Деривационные отношения между исходной и производной конструкциями считаются залоговыми. Пассивные конструкции характеризуются как стилистические варианты активной конструкции. В системе ядерных построений исходной считается конструкция, в которой а) партиципанты глагольной ситуации находят субстанциальное выражение, б) каждый партиципант имеет свой референт в реальной действительности и в) иерархии семантических и синтаксических понятий имеют тождество, изоморфность. Считается, что активная конструкция отвечает всем этим требованиям и потому она является исходной. В отличие от нее, критерии характеристики пассивной конструкции универсализуются. Фактически здесь оказывается достаточным один единственный признак: пассивными считаются любые конструкции, в которых лексически обозначенный субъект не занимает позиции подлежащего. Возникает при этом понятие «позиция подлежащего», которое служит решающим признаком пассивизации конструкции. Что же из себя представляет эта «позиция подлежащего»? В ответ на этот вопрос выдвигается формулировка: «обозначение субъекта подлежащим». Невыдержанность этой формулировки кроется в отсутствии грамматической характеристики подлежащего, в том, что это синтаксическое понятие без конкретизации его признаков представляется как нечто универсальное и само собою данное для всех языков. Если обобщить формулировку «обозначение субъекта подлежащим» применительно к языкам эргативного строя, то не исключена идея сведения роли эргатива субъекта к роли подлежащего.

На основании того, что «синтаксические категории (члены предложения) соответствуют реальным функциям субстанций и признаков в процессе» и «отношения между членами предложения „иконически" отображают реальные отношения между элементами процесса» [1], а «одним из условий „иконичности" является обозначение субъекта подлежащим», делается заключение, что «эргативную конструкцию можно трактовать как структуру, в которой субъект занимает позицию подлежащего,... тем самым... есть все основания утверждать, что эргативная конструкция является активной, имеющей пассивные дериваты...» [2].

[1] В. Г. Гак, К проблеме синтаксической семантики, сб. «Инвариантные синтаксические значения и структура предложения», М., 1969, стр. 79—80.

[2] В. С. Храковский, Пассивные конструкции, в кн. «Типология пассивных конструкций. Диатезы и залоги», Л., 1974, стр. 40.

По мнению представителей универсальной теории залога, такими пассивными дериватами эргативной конструкции оказываются, с одной стороны, фактитивная конструкция, с другой — абсолютная (или номинативная) конструкция, типологически противопоставляемая эргативной. Выносится также заключение, что «пассивная деривация изоморфна каузативной деривации» [3].

Эргативность, абсолютность (номинативность) и фактитивность представляют собой довольно интересные и сложные явления грамматической структуры кавказских языков. Каждое из них образует самостоятельную систему, характеризуемую определенными признаками. Эргативность и абсолютность противопоставляются друг другу оппозицией глагольных форм категориальной валентности. Что же касается фактитивности, то она имеет две системы: эргативную и абсолютную. Стало быть, существуют простая эргативность и фактитивная, простая абсолютность и фактитивная. Но они не являются стилистическими вариантами друг друга или залоговыми дериватами. Поэтому беспочвенно утверждение о пассивной и каузативной деривациях эргативной конструкции и об изоморфности этих деривaций.

В доказательство того, что из «исходной» эргативной конструкции может быть построен ее «каузативный дериват», берутся, например, построения типа даргинских: *дурхIяли гIинц беркун* «мальчик съел яблоко», *нуни дурхIялизи гIинц беркахъунра* «я заставил мальчика съесть яблоко». Первое построение характеризуется как эргативная конструкция, а второе — как ее «каузативный дериват». Сущность «деривационного» преобразования усматривается в том, что в первом построении имя эргатива *дурхIяли*, обозначая субъект действия, занимает позицию подлежащего, а во втором — та же лексическая единица выполняет иную функцию и не занимает позиции подлежащего, а в роли последнего появляется новое имя в эргативе (*нуни*), выполняя функцию каузатора (субъекта каузации).

Следует отметить, что при всем этом упускается из вида возможность второго фактитивного построения: *дурхIяли набзи гIинц беркахъун* «мальчик заставил меня съесть яблоко», где имя в эргативе «исходного» эргативного построения (*дурхIяли гIинц беркун*) остается без всяких изменений, хотя в роли сказуемого выступает тот же производный каузативный глагол, что и в построении *нуни дурхIялизи гIинц беркахъунра* «я заставил мальчика съесть яблоко».

Если построение *нуни дурхIялизи гIинц беркахъунра* «я заставил мальчика съесть яблоко» является каузативным дериватом эргативной конструкции *дурхIяли гIинц беркун* «мальчик съел яблоко», то по логике вещей таким же каузативным дериватом той же эргативной конструкции следует признать и построение *дурхIяли набзи гIинц беркахъун* «мальчик заставил меня съесть яблоко». Но в последнем нет требуемых условий деривационного преобразования: здесь имя субъекта продолжает оставаться в позиции той же синтаксической категории, что и в «исходной» эргативной конструкции.

Обратимся теперь к схеме «пассивной деривации» эргативной конструкции. В доказательство того, что из эргативной конструкции, являющейся не только «исходной», но и «активной», может быть построен «пассивный дериват», берутся, например, построения типа даргинских: *итини ниъ изули сари* «она доит молоко», *ниъ дирзили сари* «молоко надоено». Первое построение характеризуется как исходная эргативная конструкция, где имя, выполняющее функцию субъекта, оформлено эрг. падежом (*итини*) и занимает позицию подлежащего, имя, выполняющее функцию

[3] Там же, стр. 19.

объекта, оформлено абсол. падежом (*ниъ*), в роли же сказуемого выступает морфологически непроизводный глагол (*изули сари*). Второе построение характеризуется как производный «пассивный дериват» первого, так как имя, выполняющее функцию объекта, сохраняет эту же функцию и то же морфологическое оформление, имени в эрг. падеже, выполнявшего функцию субъекта, в нем нет, а в роли сказуемого выступает производный пассивный глагол (*дирзили сари*).

Кроме всего прочего, здесь также упускается из вида разновидность второго построения: *ит ниъли изули сари* «она доит молоко», где имя эргатива *итини* «исходной» эргативной конструкции (*итини ниъ изули сари*) в иной падежной форме (в абсолютиве: *ит*) продолжает обозначать тот же субъект и сохраняет ту же позицию подлежащего. Между тем преобразование падежной формы субъекта по универсальной теории залога не считается признаком деривационного преобразования, здесь важно лишь, чтобы имя субъекта исходной конструкции в производной конструкции не занимало позицию подлежащего. Предложение *ниъ дирзили сари* отвечает этому требованию, а предложение *ит ниъли изули сари* противоречит ему. Между тем оба эти предложения по синтаксической типологии своей конструкции изоморфны и составляют морфологические вариации абсолютной конструкции.

По мнению сторонников универсальной теории залога, номинативная конструкция может быть активной и пассивной. Активная является исходной, а пассивная — производной. Пассивная номинативная конструкция с агентивным дополнением является стилистическим вариантом активной номинативной конструкции. Эргативная конструкция также характеризуется как исходная и активная. А раз эргативная конструкция является исходной и активной, то по логике вещей она должна иметь соответствующие производные и пассивные дериваты, каковыми объявляются фактитивная и абсолютная конструкции. Вместе с тем утверждается, что эргативная конструкция «не имеет стилистических вариантов». Дело здесь оказывается в «агентивном дополнении». Номинативная пассивная конструкция считается стилистическим вариантом номинативной активной конструкции в силу того, что в ней представлено агентивное дополнение, а «пассивные дериваты» (фактитивная и абсолютная конструкции) эргативной конструкции не являются стилистическими вариантами последней в силу того, что в них якобы нет агентивного дополнения. «...Пассивная конструкция с агентивным дополнением выступает как стилистический вариант активной конструкции... Иное дело эргативная конструкция, которая не имеет стилистических вариантов. ... С самого начала следует исключить тезис о сходстве этих двух конструкций в области функционирования» [4].

Таким образом, у пассивной конструкции появляется новый признак — наличие агентивного дополнения. Чтобы номинативную пассивную конструкцию считать стилистическим вариантом активной номинативной конструкции и противопоставить ее эргативной конструкции, требуется, оказывается, подчеркнуть наличие в ней агентивного дополнения и отсутствие последнего в «пассивных дериватах» (фактитивной и абсолютной конструкциях) эргативной конструкции. Стало быть, для пассивизации и стилизации активного построения требуется не только замена семантической и синтаксической характеристики имени первой позиции, но и его преобразование. Например, *плотники строят дом — дом строится плотниками*. В линейной иерархии активного предложения первую позицию занимает член *плотники*. Семантически и синтаксически он представляет собой

[4] В. С. Храковский, указ. соч., стр. 37.

субъект и подлежащее, при пассивизации и стилизации конструкции заменяется членом *дом*, тем самым достигается условие, согласно которому имя субъекта исходной активной конструкции не занимало бы в производной пассивной конструкции позицию подлежащего. Но важным оказывается и дальнейшая судьба члена первой позиции исходной конструкции, его преобразование в величину третьего ранга — в агентивное дополнение. Такое преобразование помогает универсальной теории залога перекинуть мост от номинативной конструкции к эргативной, дает возможность сравнить не только эти конструкции, но и предполагаемые их дериваты. Подвергнув такому сравнительному анализу номинативную и эргативную конструкции разносистемных языков, выносится заключение, согласно которому обе эти конструкции являются исходными и тем самым занимают одно и то же место (т. е. имеют одну и ту же значимость) в деривационной системе конструкций. Напротив, эргативная и пассивная конструкции в этой системе занимают разные места (здесь в виду имеется пассивная конструкция неэргативных языков). «Таким образом,— резюмирует свой общий вывод В. С. Храковский,— мы, опираясь на анализ деривационной системы конструкций в языках номинативного и эргативного строя, подтвердили правильность точки зрения, развитой в советском языкознании еще в тридцатые годы и согласно которой „не может быть речи о пассивной конструкции или пассивном восприятии глагола в тех случаях, когда дело касается переходного глагола с субъектом в активном падеже и объектом в именительном“» [5].

Однако заключение, сделанное на материале одних языков, не обязательно должно быть адекватным по отношению к фактам других, если даже эти языки принято относить к одной генетической семье. Поэтому мнение пионера отечественного кавказоведения П. К. Услара о наличии в кавказских языках пассивной конструкции имеет полное право на существование в науке. Надо полагать, что не только можно, но и должно говорить о пассивной конструкции. Но необходимо только внести уточнение: что имеется в виду, когда при этом говорят о «переходном глаголе», какая «переходность» тут имеется в виду, семантическая или синтаксическая? Быть может, между этими понятиями не существует разницы? Обратимся к фактам. Возьмем два таких даргинских предложения: *нуни душман каршулра* «я убиваю врага», *ну душмай каршулра* «меня враг убивает».

В первом предложении в функции субъекта выступает имя в эргативе (*нуни*). В линейной иерархии оно занимает первое позиционное место. В функции объекта выступает имя в абсол. падеже (*душман*). Оно занимает второе позиционное место. В роли сказуемого выступает классно-личный глагол (*каршулра*), который по лицу координируется с субъектом в эргативе (суффикс *-ра* — показатель 1-го лица), а по классу — с объектом в абсолютиве (здесь префиксальный нуль — показатель 1 класса). Синтаксически субъект в эргативе занимает позицию подлежащего, объект в абсолютиве — позицию прямого дополнения. Налицо «иконичность» эргативной конструкции не только с соответствием синтаксических категорий реальным функциям субстанций, но и с формальным выражением отношений между этими категориями.

Во втором предложении представлены те же субстанции в той же позиционной последовательности, что и в первом предложении (впрочем последовательность имен в обоих предложениях можно менять свободно без какого-либо влияния на их синтаксическую сущность: *душман нуни каршулра*, *душмай ну каршулра*). Можно ли на основании тождества состава

[5] В. С. Храковский, указ. соч., стр. 40.

и последовательности расположения субстанций утверждать о синтаксической идентичности обеих конструкций и их единиц? Едва ли.

Член первого ранга линейной иерархии в первом предложении соответствует субъекту действия в эргативе, во втором предложении — объекту действия в абсолютиве. Член второго ранга линейной иерархии в первом предложении соответствует объекту действия в абсолютиве, а во втором предложении — субъекту действия в эргативе. Таким образом, члены поменялись функциями субстанций. Можно ли на основании субстанциальных функций членов эргатив субъекта действия во втором предложении характеризовать как подлежащее, а абсолютив объекта действия — как прямое дополнение, т. е. дать им такую же синтаксическую характеристику, какую они получили в первом предложении? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо еще рассмотреть характер выражения отношений между именными членами и финитным глаголом. Во втором предложении эти отношения существенно отличаются. Глагол по классу и лицу относится здесь к имени объекта действия в абсолютиве, имя же субъекта в эргативе не имеет формального выражения в глаголе.

При дефиниции синтаксических категорий можно ли игнорировать характер выражения отношений между именными членами и глаголом? Безусловно, нет. Стало быть, во втором предложении имя объекта действия в абсол. падеже реально претендует на функцию подлежащего. А имя субъекта действия в эргативе? Агентивное дополнение — вот его адекватная характеристика.

Выходит, что при одной и той же глагольной форме строятся две противоположные конструкции — эргативная и абсолютная? Да, именно так. Какая же из них исходная, а какая производная? Односторонний ответ на этот вопрос довольно рискован — в том и сущность амбивалентного глагола. Так что утверждение об исходности эргативной конструкции еще надо доказать.

Можно утверждать, что конструкция *нуни душман каршулра* является эргативной. В ней фиксируется полное тождество синтаксических категорий и реальных субстанций имен. Фиксируется также соответствующее выражение их отношений с глаголом, личный суффикс которого относится к субъекту в эргативе (*нуни*), а классный префикс — к объекту в абсолютиве.

Можно утверждать также, что конструкция *ну душмай каршулра* является абсолютной (или номинативной). В ней не фиксируется полное тождество синтаксических категорий и реальных субстанций имен, хотя налицо субъект и объект, эргатив и абсолютив. Отсутствие тождества синтаксических и семантических категорий объясняется здесь характером выражения отношений между именными субстанциями и глаголом-сказуемым.

Можно ли утверждать, что конструкция *нуни душман каршулра* является активной, а конструкция *ну душмай каршулра* — пассивной? Вполне можно. Значение второй конструкции гораздо точнее будет в буквальном переводе «я врагом убиваюсь», нежели в «правильном» переводе: «меня убивает враг». Активность и пассивность конструкций в языках эргативного строя не тождественны активности и пассивности конструкций языков номинативного строя. Если последние находятся друг с другом в деривационных отношениях одной хронологической типологии, то первые находятся в отношениях разных хронологических типологий.

Дифференциация залоговых значений в языках эргативного строя обусловлена, как уже отмечалось выше, отношениями между именными субстанциями и валентным глаголом, характером выражения этих отношений. Этими же признаками определяется наличие или отсутствие тождества синтаксических и семантических категорий, в том числе и соответствующих категорий переходности и непереходности глагола.

Если можно говорить о наличии в одних случаях и отсутствии в других соответствия (или тождества) синтаксических и семантических категорий именных членов, то такое утверждение тем более представляется корректным по отношению к глагольным категориям переходности и непереходности. Иначе и быть не может, ведь глагол, являясь ядром организации предложения, должен служить основой характеристики и его синтаксических единиц. Стало быть, основой дифференциации синтаксических и семантических категорий имени служит дифференциация соответствующих категорий глагола, в том числе и категорий переходности и непереходности. Между тем в литературе нередко наблюдается довольно упрощенный и односторонний подход к характеристике переходности и непереходности. Согласно такому подходу, переходность глагола определяется как чисто семантическое свойство, обусловливающее употребление двух субстанций: субстанции субъекта действия (того, кто совершает действие) и субстанции объекта действия (того, кто подвергается этому действию). Если налицо эти две субстанции, то глагол считается переходным. Для определения непереходности достаточно отсутствия субстанции объекта действия (того, кто подвергается действию): семантическое свойство непереходности обусловливает лишь употребление субстанции субъекта.

Таковы в общих чертах критерии определения переходности и непереходности глагола. Существует мнение, согласно которому словосочетание не может дать достаточной информации об участниках действия и характере процесса, поэтому выражение переходности-непереходности следует искать в предложении, а именно в его пропозиции, под которой принято понимать вневременной набор отношений между глаголом и именами. Вполне возможно, что такое мнение опирается на материал определенных языков, но применительно к кавказским языкам, в частности к дагестанским, его трудно считать адекватным.

Как известно, в дагестанских языках (да и в других кавказских) глагольные формы делятся на финитные и инфинитные. Главной отличительной особенностью их грамматической сущности является способность финитных форм организовать предложение со всеми присущими ему признаками и неспособность инфинитных форм организовать предложение в силу отсутствия достаточных признаков предикативности. Собственно финитные и инфинитные формы сущностную оппозицию составляют характером предикативного функционирования. Впрочем, этот вопрос для некоторой части дагестановедов все еще остается спорным, хотя достигнут довольно значительный прогресс в аргументации высказанного мнения.

К инфинитным формам глагола относятся причастие, деепричастие, масдар. Не обладая достаточными признаками предикативности для организации предложения, они в то же время способны иметь при себе субстанции процесса переходности и непереходности и дать вполне достаточную информацию об этом процессе в пределах организуемого ими словосочетания. Здесь нет возможности остановиться на функциональных свойствах инфинитных форм, к тому же эти свойства достаточно подробно описаны в научной литературе. Хочется лишь подчеркнуть, что переходность и непереходность глагола составляют не чисто семантическую категорию, ограниченную узкими рамками контенсивной структуры, а представляют собой семантико-синтаксическую категорию, включающую в себя как содержательную, так и формальную структуру. Проиллюстрируем сказанное на примерах даргинского языка. В предложениях: *нуни душман каршулра* «я убиваю врага» и *ну душмай каршулра* «меня убивает враг» представлена одна и та же глагольная форма. В обоих предложениях представлены также субстанции субъекта и объекта. Субъект производит действие, объект подвергается этому действию. Глагол выступает оператором этого

процесса. В обоих предложениях репрезентируются совершенно одинаковые условия контенсивной структуры. Тем не менее конструкции различаются, и различие это коренится в системе выражения отношений между единицами контенсивной структуры.

В первом предложении (*нуни душман каршулра*) глагольный суффикс лица обращен к субъекту в эргативе (*нуни*), префикс класса — к объекту в абсолютиве (*душман*). Значит двумерные отношения единиц контенсивной структуры имеют в глаголе свою соответствующую двумерную маркировку.

Во втором предложении (*ну душмай каршулра*) глагольный суффикс лица и префикс класса обращены к одному и тому же члену — к объекту в абсолютиве (*ну*). Имя субъекта в эргативе не имеет в глаголе формальной валентной единицы. Стало быть, в данном предложении маркировка тех же отношений единиц контенсивной структуры является одномерной.

Функционально разнонаправленная двумерная маркировка категориальных аффиксов — характерная особенность переходности глагольной формы. Если при глагольной форме двумерной маркировки категориальных аффиксов именные единицы субъекта и объекта имеют соответствующую падежную маркировку (субъект — в эргативе, объект — в абсолютиве), то такая конструкция предложения является эргативной и активной.

Функционально однонаправленная или одномерная маркировка категориальных аффиксов — характерная особенность непереходности глагольной формы. При глагольной форме одномерной маркировки категориальных аффиксов конструкция предложения является абсолютной (или номинативной) и пассивной, так как маркируется субстанция абсолютива (субстанция эргатива в такой конструкции занимает позицию третьего ранга и выполняет функцию агентивного, пациентивного или инструментального дополнения).

Из сказанного вытекает, что не сами отношения единиц контенсивной структуры, а характер выражения этих отношений является дифференциальным признаком синтаксических категорий. Вопрос о совмещении или несовмещении в глагольной форме дифференциальных элементов разных синтаксических категорий относится к сфере иных лексико-грамматических категорий, в частности, по отношению к именным субстанциям действует сфера категории денотативной системы лексических единиц, по отношению же к глаголу действует сфера категорий аспекта и времени. Например, в приведенных предложениях представлена одна и та же глагольная форма *каршулра*. В ней совмещаются дифференциальные признаки переходности и непереходности, активности и пассивности конструкций. Это связано с тем, что в обоих предложениях сочетающиеся с ней именные субстанции относятся к одному и тому же денотативному классу, а сама глагольная форма имеет одну и ту же дуративную основу. При сочетании субстанций разных классов дифференциальные признаки синтаксических категорий не совмещаются. Ср.: *уршили бецI кабуршули сай* «мальчик убивает волка», *рурсили бецI кабуршули сари* «девушка убивает волка», *бецIли урши каршули сай* «волк убивает мальчика», *бецIли рурси каруршули сари* «волк убивает девушку».

В первых двух предложениях имена субъекта различаются по классам (имя *уршили* относится к первому классу, имя *рурсили* — ко второму классу), имена объекта относятся к одному и тому же классу. Классно-различающиеся имена субъекта в аналитической форме глагола маркируются разными аффиксами: класс имени *уршили* маркируется аффиксом *-й*, класс имени *рурсили* — аффиксом *-р*. Имя объекта, поскольку в обоих предложениях представляет один и тот же класс, маркируется одним и тем же аффиксом *-б-*. Между прочим, забегая вперед, отметим, что линей-

ная иерархия расположения категориальных морфем в структуре глагола играет значительную роль для характеристики синтаксических категорий, эта роль гораздо значительнее, чем роль обращавшей на себя внимание многих исследователей линейной иерархии расположения именных членов в структуре предложения.

В последних двух предложениях имена субъекта представляют один и тот же класс, а имена объекта относятся к разным классам. Но здесь важно не только различие между собой классов объектных имен, но и различие между классами имен субъекта и объекта. Важно также и то, к какому классу относится имя производителя действия и к какому классу относится имя субстанции, подвергающейся этому действию. И вот при учете этих важных обстоятельств в последних двух предложениях наблюдается такая картина. Имя субъекта действия не имеет своей категориальной маркировки в глагольной форме сказуемого, поскольку, относясь к третьему классу, является производителем действия, которому подвергаются объектные субстанции, относящиеся к первому и второму классам. Такую маркировку получают объектные субстанции первого и второго классов, поскольку глагольная форма является аналитической, эта маркировка является двукратной: объектное имя первого класса *урши* маркируется нулевым аффиксом деепричастия *каршули* и аффиксом *-й* связки *сай* (нуль и *-й* — соответствующие аффиксы первого класса), объектное имя второго класса *рурси* маркируется аффиксом *-р* деепричастия *каруршули* и аффиксом *-р* связки *сари*.

Следует подчеркнуть, что денотаты имен 1-го и 2-го классов — это люди обоего пола, существа класса разумных, стало быть, и одушевленных, а денотаты имен 3-го класса — это неодушевленные предметы и явления природы, в их числе и неразумные одушевленные существа. Отнесение неразумных одушевленных существ к классу неодушевленных предметов лишний раз подчеркивает изначальность денотативной классификации по признаку активности ~ инактивности. Зависимость маркировки категориальных аффиксов глагола от классной дифференциации сочетающихся с ним именных членов предложения, равно как и проникновение различия пола в именную классификацию,— свидетельство отражения в языке деления предметов на активные и пассивные. Поэтому представляется адекватным предположение С. Д. Кацнельсона о том, что: «Различия пола проникли, по-видимому, в именную классификацию в результате позднейшей „рационализации“ частичного переосмысления более древнего деления предметов на активные и пассивные»[6].

При сочетании субъектно-объектных имен, относящихся к 1-му и/или 2-му классу, маркировка их в категориальных аффиксах глагола проводится идентично, без «ущемления» имени какого-либо класса. Ср.: *нешли урши валхули сари* «мать кормит сына», *дудешли рурси ралхули сай* «отец кормит дочь».

В первом предложении имя субъекта действия относится ко 2-му классу, а имя объекта действия — к 1-му классу, во втором предложении — наоборот, имя субъекта относится к 1-му классу, а имя объекта действия — ко 2-му классу. И то и другое имя маркируется категориальным аффиксом глагола-сказуемого: субъект действия маркируется классным суффиксом, а объект действия — классным префиксом. Линейная иерархия расположения аффиксов категориальной валентности глагола обусловливает синтаксическую характеристику именных членов предложения: суффикс маркирует подлежащее, префикс — объект (прямое дополнение).

---

[6] С. Д. Кацнельсон, Типология языка и речевое мышление, Л., 1972, стр. 26.

Такая маркировка имеет силу закона независимо от линейной иерархии именных членов в структуре предложения.

И, наконец, важно подчеркнуть одну специфическую особенность описанного механизма отношений единиц контенсивной и формальной структур даргинского языка. Имеются в виду случаи, когда при сочетании субъектно-объектных имен одного и того же 1-го или 2-го класса (в отличие от 3-го класса!) наблюдается двоякая их маркировка: двумерная и одномерная. Раскрыть эту особенность помогает квантитативная оппозиция форм именных членов. Ср.: *нешли рурсби балхули сари* «мать кормит дочерей», *рурсба неш ралхули сари* «дочери кормят мать», *дудешли уршби балхули сай* «отец кормит сыновей», *уршба дудеш валхули сай* «сыновья кормят отца».

В первых двух предложениях имена субъекта и объекта относятся к одному и тому же 2-му классу, в последних двух предложениях — к одному и тому же 1-му классу. В первом и третьем предложениях имя субъекта действия представлено формой единственного числа, а имя объекта действия — формой множественного числа. Во втором и четвертом предложениях — наоборот, имя субъекта действия представлено формой множественного числа, а имя объекта действия — формой единственного числа. Поскольку сочетающиеся в конструкции имена субъекта и объекта относятся к одному и тому же классу и глагол должен иметь один и тот же аффикс классной валентности, для выяснения характера маркировки отношений единиц контенсивной структуры приходится прибегать к помощи квантитативной оппозиции классных аффиксов. Благодаря этому обнаруживается картина двоякой маркировки субъектно-объектных имен одного и того же класса. В одном случае маркировка является двумерной (1 и 3 предложения), в другом — одномерной (2 и 4 предложения). Выяснение этого факта и сравнение его с выражением отношений единиц контенсивной структуры при сочетании субъектно-объектных имен одного и того же 3-го класса, которое характеризуется одномерной маркировкой, дает возможность установить общую закономерность функционирования системы валентных свойств глагола и отметить тенденцию развития этой системы.

Если последовательно придерживаться показанной системы функционирования элементов категориальной валентности глагола, то эргативная конструкция предложения с зависимостью классной или классно-личной формы глагола от субъектного имени в эргативе является вторичной по отношению к противопоставляемой ей абсолютной (или номинативной) конструкции. Кроме всего прочего, это доказывается еще и тем, что категориальные аффиксы глагола, которые обращены к имени субъекта в эргативном падеже, всегда являются суффиксами, а суффиксация, как известно, является в дагестанских языках вторичной по отношению к префиксации.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1976

Б. Б. ТАЛИБОВ

РЕДУКЦИЯ СОГЛАСНЫХ В ЛЕЗГИНСКИХ ЯЗЫКАХ

Редукция согласных звуков — одно из распространенных фонетических явлений, характеризующееся в разных языках своей спецификой. В одних языках это явление приводит к полному затуханию какого-либо согласного, в результате чего в структуре конкретного слова (словоформы) могут произойти существенные изменения, в других языках редуцироваться может только какой-то момент, характеризующий данный звук при его артикуляции.

Объектом редукции оказываются преимущественно сонорные звуки, шумные согласные редуцируются спорадически, а утеря момента какого-либо качества определенного согласного наблюдается в области губных и некоторых других согласных звуков.

В лезгинских языках встречается редукция троякого рода: редукция переднеязычной смычки, редукция губной смычки и редукция гортанной смычки. Во всех этих случаях согласный может или полностью редуцироваться, или же настолько ослабляться, что лишь оставляет свой след на смежном согласном и гласном. В ряде случаев редуцируемый согласный переходит в спирантоид или же теряет определенный момент своей артикуляции. Как справедливо отмечает Т. Е. Гудава, «переднеязычная смычка является составной частью при артикулировании звонких *d*, *n*, *r*. Первый из них собственно смычный, второй (*n*) — сонорный и, помимо альвеолярной смычки, характеризуется и назальностью. Сонорный вибрант *r*, конечно, не является смычным в прямом смысле, но по результатам изменения *r*, действие кончика языка при его артикулировании условно можно приравнять к смычке. В андийских языках наблюдается тенденция к позиционному изменению всех упомянутых звонких: редуцируется момент смычки» [1].

Характерной особенностью многих лезгинских языков является то, что носовой *н* во всех позициях слова, кроме начала слова или слога и положения между гласными, ослабляется до полного выпадения.

Так, в лезгинском языке редукция носового *н* или приводит к полному его затуханию, или же оставляет носовой оттенок в предыдущем гласном звуке. Эта фонетическая закономерность как в литературном языке, так в самурском и кубинском наречиях этого языка действует строго последовательно, подчиняя себе и заимствованные слова: *балкIа*^{н} < *балкIан* «лошадь», *хъса*^{н} < *хъсан* «хороший; хорошо», *кьуру*^{н} < *кьурун* «сохнуть», *и*^{н}*са*^{н} < *инсан* «человек», *ва*^{н} < *ван* «голос», *чча*^{н} < *ччан* «душа», *ви*^{н}*т* < < *винт*, *ццу*^{н} < *ццун* «наливать», *куь*^{н} < *куьн* «вы», *къени*^{н} < *къенин* «сегодняшний» и др. Однако в целом в лезгинском языке носовой *н* с предшествующим гласным звуком может полностью исчезать (особенно в беглой речи) в форме род. падежа тех имен, эрг. падеж которых в ед. числе образуется посредством аффикса *-ди*: *дидед гъил* < **дидедин гъил* «материнская рука», *бубад гаф* < **бубадин гаф* «отцовское слово», *столд ви-*

[1] Т. Е. Гудава, Консонантизм андийских языков, Тбилиси, 1964, стр. 38.

нел < **столдин винел* «на столе» и др. Аналогичный процесс имеет место и в тех случаях, когда род. падеж образуется у слов, по своей структуре напоминающих форму мн. числа: *ракIар кьил* < **ракIарин кьил* «верхняя часть дверного косяка», *мехъер йугъ* < **мехъерин йугъ* «день свадьбы», *сувар йугъ* < **суварин йугъ* «праздничный день» и др.

По свидетельству У. А. Мейлановой, в яркинском и курахском диалектах сонант *н* ведет себя несколько иначе. Во многих случаях, в частности, в нютюгском говоре, *н* бесследно отпадает (*къва* < **къван* «оказывается; мол; как», *икьва* < **икьван* «столько», *гьикьва* < **гьикьван* «сколько» и др.), в других случаях полная редукция носового *н* вызывает долготу предшествующего гласного: нютюг. *пааливаа* ~ лит. *пагълива*^{н} «богатырь; акробат», *гIаждагьаа* ~ *аждагьа*^{н} «дракон», *кIаа хъана* ~ ~ *кIа*^{н} *хъана* «полюбил», *ваа* ~ *ва*^{н} «звук», *балкIаа* ~ *балкIа*^{н} «лошадь», *лааш* ~ *ла*$^{'}$*ш* «палка», *рааг* ~ *ра*^{н}*г* «краска», *саадух* ~ *са*^{н}*дух* «сундук», *айваадик* ~ *айва*$^{'}$*дик* «под балконом, на балконе» и др. [2].

Описывая процесс редукции сонанта *н*, У. А. Мейланова отмечает весьма и тересную особенность яркинского диалекта относительно произношения имен собственных, оканчивающихся компонентом *хан*. По поводу последнего слова автор пишет: «Слово *хан* с титульным значением „князь" присоединяется к целому ряду собственных имен, преимущественно мужских, а в редких случаях и женских. В гюнейском и других диалектах конечный *н* в таких именах по закону лезгинской фонетики назализуется, как и в других именах собственных, оканчивающихся на *н*: *Рамаза*^{н}, *Сулема*^{н} и т. д. В яркинском же диалекте имена собственные со словом *хан*, как и вообще со звуком *н* на конце, теряют конечный *н*. Звук этот отпадает, не оставляя после себя даже носового оттенка в предыдущем гласном: *Савзиха*, *Р(и)заха*, *Келбиха* — мужские имена, *Шеерихa* — женское имя и др. Такое же положение наблюдается в некоторых словах, означающих профессию, клички и т. д. и оканчивающихся на *н*: *нехирба* „пастух" (лит. *нахирба*$^{'}$), *чаплахъа* „левша" (лит. *чаплахъа*^{н}) и др.» [3].

Все это, по всей вероятности, регулируется законом лезгинского ударения, которое падает, как правило, на второй слог от начала слова, но никак не является следствием «семантической связи двух совпадающих падежных форм» [4].

Сонант *н* редуцируется также в хивском говоре табасаранского языка. К. Т. Шалбузов в своей работе, посвященной изучению диалектов табасаранского языка, отмечает ряд случаев, когда ауслаутный *н*, редуцируясь, в плавной речи ослабляется настолько, что его след сохраняется в предшествующем гласном в виде элемента назальности, в то время как в беглой речи его выпадение никаких следов не оставляет [5]. Сонант *н* редуцируется в следующих формах слова:

1. В форме род. падежа: *йизни(н) джакьв* «птица», *хъифра(н) гьар* «ореховое дерево», *мургли(н) тIул* «ребро», *бали(н) аил* «рука мальчика», *рукьа(н) раIкъ* «железная дорога», *усттайи(н) дагьур* «серп мастера», *ппазджи(н) тIунтIар* «вид ягоды» и др.

2. В окончании мест. падежа VII серии: *джил* «земля» > *джилъи(н)* «на земле», *шалман* «столб» > *шалмниъи(н)* «на столбе», *гьайван* «лошадь» > *гьайвниъи(н)* «на лошади» и др.

---

[2] См.: У. А. Мейланова, Очерки лезгинской диалектологии, М., 1964, стр. 62—63.

[3] Там же, стр. 80—81.

[4] Л. И. Жирков, Грамматика лезгинского языка, Махачкала, 1941, стр. 24, 35—37.

[5] Рукопись К. Т. Шалбухова «Очерки табасаранской диалектологии» хранится в Рукописном фонде Института ИЯЛ Дагестанского филиала АН СССР.

3. В окончании исх. падежей: *гьар* «лес» > *гьара(н)* «из лесу», *хил* «рука» > *хилъа(н)* «из руки», *сив* «гора» > *сиеъа(н)* «с горы» и др.

4. В вопросительной форме глаголов: *гъиIри(н)* «придет ли?» *апIури(н)* «сделает ли?», *швури(н)* «ударит ли?», *гъушнийи(н)* «пошел ли?» и др.

5. В запретительной форме глаголов: *махъахъа(н)* «не наваливайся», *мапIа(н)* «не делай», *мидзигга(н)* «не тяни» и др.

Надо полагать, что редукция сонорного *н* в определенных условиях в хивском говоре — результат влияния лезгинского языка, где данный процесс, как это было показано выше, является живой нормой.

Наиболее отчетливо процесс ослабления сонорного *н* наблюдается в хиналугском языке. В одних случаях редукция *н* приводит к полному его выпадению, в других она результирует в назализации предшествующего гласного.

Полная редукция *н* наблюдается здесь в форме род. падежа: им. п. *луцоз* «корова» — род. п. *луцози* < **луцозин*, *усттул* «стол» — *усттули* < **усттулин*, *бий* «отец» — *бийи* < **бийин*, *азар* «болезнь» — *азари* < < **азарин*, *ысттал* «палец» — *ысттали* < **исталин*, *цулоз* «палец» — *цулози* < **цулозин*. Полная редукция формы род. падежа привела к тому, что форма род. падежа ед. числа в основной своей массе сблизилась с формой эрг. падежа [6], что частично наблюдается также и в некоторых других лезгинских языках.

Частичная редукция ведет к назализации предшествующего гласного звука, что иллюстрируется следующими примерами: хиналуг. *къа*^{н} < < *къан* < **къад* ~ лезг. *къад* «двадцать», *шу*^{н}*кIоч* < **шункIоч* ~ *шуркIунт* «осленок», *у*^{н}*кIв* < **ункIв* «облако» и др. Встречается определенный ряд слов, в которых сонорный *н* одни произносят в полной своей форме, а другие — в ослабленном виде (*у*^{н}*г/унг* «сердце», *бло*^{н}*/блон* «конокрады», *ы*^{н}*газ/ынгаз* «соха» и др.), что говорит о дифференциации хиналугского языка в диалектном отношении [7]. Отсюда понятны те неточности, которые Ю. Д. Дешериев обнаружил в материалах Р. М. Шаумяна. По этому поводу Ю. Д. Дешериев пишет, что «проверяя материалы Р. М. Шаумяна, я часто находил случаи несоответствия между тем, что написал Р. М. Шаумян, и произношением хиналугцев. Так, например, у Р. М. Шаумяна начальный звук *и* в слове *инкI* „канат", „восемь" охарактеризован как назалированная фонема. Между тем выяснилось, что в этом случае хиналугцы четко произносят простой, неназалированный звук *и* и последующий самостоятельный сонорный *н*» [8].

В агульском языке сонорный *н* также может редуцироваться, здесь встречается как полная редукция, так и частичная.

Полная редукция *н* наблюдается в определенной группе агульских говоров, аналогией чему могут явиться также данные некоторых родственных языков: тп. *чагур* < **чангур* «струнный музыкальный инструмент», ср. также лезг. *чуьнгуьр*, тп. *къвацц* < **къванцц* «копыто», ср. ус. *къванц*, тп. *чира* < **чинра* «хотя», ср. ус. *чинра*, рич. *абакъун* < **абанкъун* «лоб», ср. тп. *абанкъул* и др.

Частичная редукция *н* приводит к назализации предшествующего гласного. Это явление особенно четко протекает перед губно-губным спирантом *ф*, выполняющим функцию показателя прилагательных: *ттиа*^{н}*ф* «нынешний», *цаца*^{н}*ф* «прошлогодний», *забу*^{н}*ф* «худой», *хъилаба*^{н}*ф* «пеший», *артухъи*^{н}*ф*, «лишний», *жикIила*^{н}*ф* «холодный», *байирди*^{н}*ф* «внешний», *лиитти*^{н}*ф* «такой», *илгу*^{н}*ф*, «легкий», *къускъу*^{н} *ф* «горбатый» и др.

[6] См.: Ю. Д. Дешериев, Грамматика хиналугского языка, М., 1959, стр. 23.

[7] В этом мы лишний раз убедились во время летней экспедиции к хиналугцам в 1970 г.

[8] Ю. Д. Дешериев, указ. соч., стр. 11.

Ослабление сонанта *н*, как это видно по его фонетическому окружению, вызвано трудностью артикуляционного перехода от зубного смыка к губному полусмыку.

Казалось бы, что в агульском языке аналогично лезгинскому и табасаранскому форма род. падежа также будет усекать или по крайней мере ослабит конечный *н*. Однако обычно этого мы пока не наблюдаем, хотя в речи определенной категории лиц (преимущественно хорошо знающих лезгинский язык) процесс редукции *н* и наблюдается. Надо полагать, что в агульском данное явление находится в стадии зарождения.

Редукция сонанта *н* наблюдается и в других лезгинских языках, хотя там она не носит систематического характера.

Ослабление губной смычки характерно для части лезгинских языков (агульского, табасаранского, удинского), в то время как в других оно носит спорадический характер. Существо данного фонетического явления заключается в том, что губно-губной смычный *б*, сохраняясь в одних языках (или же в одних диалектах), переходит в других языках (или же в других диалектах конкретного языка) в ослабленный губно-губной *в* или же полностью редуцируется, что видно из следующих примеров: табас. *ив* (сев. н.) < **иб*, агул. *ивур* (бурк., дул.) < **ибур*, удин. *илух* < **ибух* (< *иб-ух*, где — *ух* квалифицируется как pluralia tantum [9]) «ухо», ср. лезг. *йаб*, табас. *иб* (юж. н.), агул. *ибур* (тп.), рутул. *убур*, крыз. *ибер*, будух. *ибир* то же; агул. *силев* (бурк., кош.)< **силеб*, табас. *силив* (сев. н.) < < **силиб* «зуб», ср. агул. *силеб* (тп., рич.), табас. *силиб* (юж. н.), рутул. *сылаб* то же.

В других языках конечный слог выпал, что можно демонстрировать данными следующих языков:

цахур. *сили*, крыз. *сили*, будух. *сили*, удин. *улух* (<*ул-ух* < *сул-ух* < < **сул*) [10], хиналуг. *цулоз*. (< *цул-оз-* < **цул*), ср. также авар. *ца* < < **цал*, ахвах. *чило*, карат. *сали*, тинд. *салу*, чамал. *сал*, ботл. *салу*, анд. *сал*, бежт. *сила*, хварш. *сел*, гунз. *сила* то же. Остается загадкой, какую смысловую нагрузку выполнял конечный слог в некоторых лезгинских языках, в частности *б* (*в*) с предшествующим гласным в табасаранском и агульском языках, *оз* — в хиналугском и *ух* — в удинском, квалифицируемый Е. Ф. Джейранишвили как показатель pluralia tantum;

агул. *сев* (бурк.) < **себ*, табас. *сив*, *ссви* (сев. н.) < **сиб* «желчь», ср. лезг. *себ*, табас. *себ* (юж. н.), агул. *себ* (тп.), рутул. *саьб* (ихрек.), ср. также авар. *ццим* (< *ссим* < **ссиб*) [11], ахвах. *ссими*, карат. *ссиме*, тинд. *ссими*, чамал. *ссим*, багул. *ссим*, ботл. *ссими*, анд. *ссим*, бежт. *ссиме*, цез. *ссеми*, хварш. *ссеми*, гинух. *ссеме*, гунз. *ссими*, дарг. *гьими*, *семи*, лак. *сси* (< *ссим* < **ссиб*), арчин. *ссам*, то же;

агул. *тав* (бурк., бур.) < **таб*, табас. *тав* (сев. н.) < **таб* «жила», ср. лезг. *таб*, агул. *таб* (тп.), табас *таб* (юж. н.) то же;

агул. *тIавучI* (бурк.) < **тIабучI* «веретено», ср. агул. *тIубучI* (тп., рич.), лезг. *туппучI* < **тубучI* то же;

агул. *рув* (бурк.) < **руб*, табас. *рув* (сев. н.) < **руб* «иголка», ср. лезг. *раб*, агул. *руб* (тп., рич.), табас. *руб* (юж. н.) то же;

агул. *рев* (бурк.) < **реб*, табас. *рив* (сев. н.) < **риб* «шило», ср. лезг. *риб*, агул. *реб* (тп., ус.), табас. *риб* (юж. н.), рутул. *раб*, цахур. *раб*, крыз. *раьб*, будух. *раьб*, арчин. *даб* то же;

---

[9] См.: Е. Ф. Джейранишвили, Случаи pluralia tantum в удинском языке, ИКЯ, II, Тбилиси, 1948, стр. 239.

[10] Там же.

[11] Иного мнения в отношении перехода *сс* > *цц* придерживается Т. Е. Гудава (см. указ. соч., стр. 102).

агул. *гIав* (бурк., дул.) < **гIаб* «колыбель», ср. агул. *гIаб* (тп.), лезг. *кьеб*, арчин. *чIеп* (< *чIеп* < *кIеб* < **кьеб*), ср. также авар. *чIеп*, дарг. *чIап*, лак. *чIапа* «корзина» и др.

Особенно наглядный материал на переход *б* > *в* дает табасаранский язык [12], в северном диалекте которого регулярность данного процесса наблюдается наиболее отчетливо: ю. н. *шиб* ~ с. н. *шав* «ноготь», *саб* ~ ~ *сав* «один», *кьаб* ~ *кьав* «корень», *кьаби* ~ *кьави* «старый», *ухъруб* ~ ~ *угърув* «старый», *тIуб* ~ *тIув* «палец», *тIублан* ~ *тIувлан* «перстень», *йагълиб* ~ *йагълив* «высокий», *кIуIби* ~ *кьаIви* «оба», *гъадабгъуз* ~ ~ *къаравкъус* «брать», *хаб* ~ *хав* «охапка», *чIаб* ~ *чIав* «зелень, ботва», *каб* ~ *кав* «гроздь», *чIиб* ~ *чIив* «пядь», *чIикаб* ~ *чIикав* «пирог».

Весьма любопытная картина засвидетельствована в агульском языке, где ослабление губной смычки ведет не только к переходу *б* > *в*, но и к полному затуханию губно-губного. Последнее явление наблюдается преимущественно в его буркиханском, цирхинском и дулдугском говорах:

т*Iу* (бурк., цир., дул.) < *тIув* < **тIуб*, ср. тп. *тIуб*, ус., фит. *тIуб* «палец», ср. также лезг. *тIуб*, табас. *тIуб*, *тIув*, цахур. *тIыб*, хварш. *тIу* (< **тIуб*) то же;

агул. *ру* (бурк., цир., бур.) < *рув* < **руб*, ср. тп., ус., фит. *руб* «игла», ср. также лезг. *раб*, табас. *руб*, *рув*, рутул. *руб*, цахур. *вейба*, крыз. *рыб*, будух. *раьб*, дарг. *буреба* то же;

агул. *хIу* (бурк.) < *хIув* < **хIуб*, ср. тп. *хIуб*, ус. *хуьб* «овца», ср. также лезг. *хеб* то же;

агул. *гIу* (бурк.) < *гIув* < **гIуб*, ср. тп., ус. *гIуб* «лягушка», ср. также лезг. *къиб*, табас. *къуIб*, *гъуIб*, рутул. *гъиIб*, крыз. *къуб* то же и др.

Факт выпадения конечных губных подтверждается также внутренними свидетельствами самого говора, иначе говоря, методом внутренней реконструкции языковых фактов — выпавший конечный губной «восстанавливается» в формах мн. числа: *тIу* > *тIувар* < **тIубар* «палец», *ру* > *рувар* > **рубар* «игла», *хIу* > *хIувар* < **хIубар* «баран», *гIу* > *гIувар* < **гIубар* «лягушка» и др.

Губная смычка ослабляется преимущественно в исконных словах, однако в ряде языков в отдельных случаях засвидетельствованы и факты такого ослабления в некоторых заимствованиях. Ср., например, табас. *авдал* < **абдал* «блаженный», табас. *кьавул* < **кьабул* «принятие», агул. *хавар* (бурк.) < **хабар* «весть», ср. агул. *хабар* (тп., ус., худ.), агул. *генев* (бурк.) «конопля» < **генеб*, ср. агул. *ганаб* (тп.), ср. также лезг. *кканаб* то же, агул. *кIалив* (бурк.) «колодка» < **кIалиб*, ср. агул. *кIалиб* (тп., кош.), ср. также лезг. *кIалуб* то же; удин. *хавар* (нидж. д.) «весть» < **хабар*, ср. варт. д. *хабар*, ср. также лезг. *хабар* то же и др.

Этот процесс хорошо прослеживается в ниджском диалекте удинского языка, где *б*, сохранившийся в варташенском диалекте, в ниджском в анлауте и инлауте переходит в губно-зубной *в* (в определенных фонетических условиях — в губно-губной продувной *в*) [13]: варт. диал. *аба* ~ нидж. диал. *ава* «знаток», *абазакк* ~ *авазакк* «вор», *абуз* ~ *авуз*/*агъуз* «больше, выше», *баба* ~ *бава* «отец», *чабал* ~ *човал* «воробей», *ччабаки* ~ *ччоваки* «прошедший», *хабар* ~ *хавар* «весть», *боIхъ* ~ *воIхъ* «свинья», *ккабен* ~ ~ *ккаьвен* «что делать», *ттебар* ~ *ттевар* «недавно», *без бахттин* ~ ~ *без вахттин* «для меня», *за тезаба* ~ *за тезава* «я не знаю» и др.

---

[12] См.: А. А. Магометов, Табасаранский язык, Тбилиси, 1965, стр. 64—65.

[13] См. также: В. Н. Панчвидзе, К вопросу о взаимоотношении диалектов удинского языка, Сообщение первое, «Сообщения Грузинского филиала АН СССР», I, 9, Тбилиси, 1940, стр. 708; Г. Ворошилл, Ниджский диалект удинского языка, «Изв. АН АзербССР», Серия обществ. наук, 3, Баку, 1963, стр. 88—89.

В определенной группе слов губно-губной *б*, наличный в варташенском диалекте, в ниджском переходит в одних словах в увулярный *гъ* (*агъуз*, ср. варт. *абуз* «больше, свыше», *цацна гъаIгъаIл*, ср. варт. *цацна беIгъал* «ёж» и др.), в других — в ларингальный *гь* (*чугьух*, ср. варт. *чубух* «женщина, жена», *сугьук*, ср. варт. *субук* «легкий», *шагьат*, ср. варт. *шасат* «хорошо», *асттагьар*, ср. варт. *асттавар* «крепкий» и др.). Процесс ослабления губной смычки протекает не только в ниджском, но он имеет место и в варташенском, что можно показать на примере некоторых заимствований: *вахтт*, ср. лезг. *бахт* «счастье», *гьавгаь*, ср. лезг. *гьебге* «переметная сума», *шавалутт*, ср. лезг. *шабалут* «каштан», *къавар*, ср. лезг. *къабар* «мозоль» и др. Все это говорит о том, что, как и во многих других лезгинских языках, в удинском также идет процесс редукции губной смычки. В ниджском диалекте этот процесс протекает интенсивнее, нежели в варташинском.

В заключение отметим, что приведенный материал наглядно свидетельствует о том, что ослабление губной смычки в табасаранском и агульском языках происходит исключительно в инлаутной и ауслаутной позициях, а в удинском он имеет место в анлауте и инлауте. Это приводит к тому, что губно-губной звонкий смычный $б_{1}^{1}$ переходит в одних случаях в губно-зубной (в ряде случаев в ослабленный губно-губной) *в*, в других случаях, что характерно для буркиханского говора агульского языка, этот *б* в результате ослабления затухает. Факт перехода $б > в$ позволяет заключить также, что в современном *в* в ряде лезгинских языков совпали два исторических звука — звонкий губной смычный *б* и звонкий губно-зубной (в определенных позициях — губно-губной) *в*.

Говоря о редукции губной смычки, следует остановиться также на факте редукции момента лабиализации лабиализованных согласных. Как известно, одной из характерных особенностей дагестанских языков является наличие в их фонетической системе большого числа лабиализованных согласных, в артикуляции которых, кроме признаков соответствующего нелабиализованного согласного, примешивается также действие губ как активного звукоосложняющего фактора. Из лезгинских языков лабиализованные согласные наиболее широко представлены в лезгинском, табасаранском, агульском, арчинском и хиналугском языках [14], причем в первых трех, кроме билабиализованных, встречаются также дентолабиализованные [15]. В рутульском и цахурском языках эти звуки представлены менее широко [16]. Еще в меньшей степени функционируют лабиализованные согласные в будухском и крызском [17] языках, а в удинском [18] языке они деградированы. Процесс деградации лабиализованных согласных происходит почти во всех лезгинских языках, в одних языках этот процесс в большей степени, в других — в меньшей, что объясняется распадом момента лабиализации с последующим затуханием его или же переходом на один

---

[14] Л. И. Жирков, Грамматика лезгинского языка, стр. 13—15; его же, Табасаранский язык, М.—Л., 1948, стр. 40; А. А. Магометов, Табасаранский язык, стр. 51—54; его же, Агульский язык, Тбилиси, 1970, стр. 24—27; К. Ш. Микаилов, Арчинский язык, Махачкала, 1967, стр. 34; Ю. Д. Дешериев, указ. соч., стр. 13—14.

[15] Л. И. Жирков, Табасаранский язык, стр. 40; А. А. Магометов, Табасаранский язык, стр. 53—54; У. А. Мейланова, указ. соч., стр. 387.

[16] Е. Ф. Джейранишвили, Основные вопросы фонетики и морфологии дахского и мухадского (рутульского) языков. ДД, Тбилиси, 1966, стр. 12—14.

[17] А. Ш. М. Саадиев, Опыт исследования крызского языка. ДД, Баку, 1972, стр. 9.

[18] Евг. Джейранишвили, Удийский язык, Тбилиси, 1971, стр. 275 (на груз. языке).

из гласных элементов, в результате чего происходит процесс трансформации последнего [19].

В результате делабиализации лабиализованного согласного элемент лабиализации подвергается следующим изменениям:

1. Элемент лабиализации лабиализованного согласного полностью затухает, не оставляя каких-либо следов:

табас. *руIхъ*, агул. *руIхъ*, рутул. *руIхъ*, цахур. *йиIхъ*, крыз. *рахъ*, будух. *раIхъ*, хиналуг. *зекI*, удин. *ихъ*, арчин. *диIкьь* «зола; пепел», ср. лезг. *руIхъе*, ср. также авар. *рахъу*, цез. *налIу*, хварш. *йоʷлIу*, гинух. *йолIу*, гунз. *йолIу* то же. В аварском и цезских языках исконно лабиализованный согласный распался, в результате чего развился ауслаутный губной *у*;

арчин. *ххеIл*, удин. *агъала* «дождь», ср. лезг. *къвал*, агул. *угъвал*, цахур. *угъол*, хиналуг. *къула* то же;

лезг. *мах*, будух. *магъ* «сказка», ср. табас. *махъв*, рутул. *мавх*, цахур. *мехва*, арчин. *маIху* то же;

лезг. *рикI*, табас. *йикI*, рутул. *йикI*, цахур. *йикI*, будух. *йыкI*, крыз. *йикI*, удин. *ук* (варт. д.), *укк* (нидж. д.), хиналуг. *уʷкI* «сердце» (в последних двух примерах элемент лабиализации перемещается на предшествующий гласный звук), ср. арчин. *икIв*, агул. *йиркIв*, ср. также ахвах. *ракIва*, карат. *рикIва*, тинд. *ракIва*, чамал. *йакIва*, багул. *ракIва*, ботл. *ракIва*, годоб. *ракIва*, хварш. *локIва* то же. Анализируя данное слово во всех дагестанских языках, Т. Е. Гудава пишет, что «во всех языках дагестанской группы за корневым согласным выступает *ḳ*, который сохранил лабиализованность в андийских языках (анд., ботл., чамал. ...), в дидойских языках (дид., хварш., гинух.), а так же в агульском и арчинском языках. В других языках *ḳ* не лабиализован.

Был ли *ḳ* лабиализован в тех языках, в которых ныне он выступает без лабиального элемента? Ряд фактов позволяет думать, что вопрос надо решать положительно. Корень слова „сердце" в даргинском, табасаранском и удинском языках доныне сохранил след прежней лабиализации» [20].

Большой материал на полное затухание элемента лабиальности лабиализованных согласных находим в конкретном языке при сравнении фактов одного диалекта или говора с аналогичными фактами другого [21].

2. Элемент лабиализации переходит на предыдущий гласный звук:

цахур. *муIхъ* «дуб», ср. лезг. *мегъв*, табас. *маIхъв*, рутул. *маIхв*, цахур. *маIхъв* (сувагил. д.) то же;

цахур. *тIотI* (гельм. д.) «муха», ср. лезг. *тIетIв/тIветI*; в других лезгинских языках в данном слове элемент лабиальности редуцировался: лезг. *цIетI* (ахт. д.), агул. *тIитI*, рутул. *дыд*, крыз. *тIытI*, удин. *ттатт*, а в аварских языках рассматриваемый элемент перешел на предыдущий гласный звук: бежт. *тIотI*, цез. *тIутI*, гинух. *тIутI*, гунз. *тIотI*, авар. *тIутI*, карат. *тIунтIу*, ср. багул. *тIунтIв* то же;

будух. *йукI*, крыз. *йукI* «топор», ср. лезг. *йакIв*. табас. *йекIв*, цахур. *йакIв*, ср. также лак. *рикIв* то же и др.

[19] Е. Ф. Джейранишвили, Лабиализованные согласные и их изменения в цахско-мухадском (=рутульском) и других языках лезгийской группы, ИКЯ, XV, Тбилиси, 1966, стр. 358—361; Б. Б. Талибов, О процессе делабиализации лабиализованных согласных в лезгинских языках, «Сборник статей по вопросам дагестанского и вейнахского языкознания», Махачкала, 1972, стр. 31—49.

[20] Т. Е. Гудава, К изменению лабиализованных согласных в аварском и андийских языках, ИКЯ, VIII, Тбилиси, 1956, стр. 229.

[21] См.: У. А. Мейланова, указ. соч., стр. 82; А. А. Магометов, Табасаранский язык, стр. 53; Ю. Д. Дешериев, указ. соч., стр. 17; Ш. М. Саадиев, Изучение звуковых соответствий, наблюдаемых между родственными языками и диалектами, «Изв. АН АзербССР», Серия обществ. наук, 5, Баку, 1958, стр. 78; К. Ш. Микаилов, указ. соч., стр. 38.

3. Элемент лабиализации переходит на последующий звук:

цахур. *хойа* (сапун. д.), будух. *хор*, табас. *ху*, агул. *гъуй* «собака», ср. цахур. *хваI*, рутул. *хве*, крыз. *хвар*, ср. также авар. *гьве*, ахвах. *хве*, карат. *гьве*, *тинд. гьвай*, чамал. *хвай*, багул. *гьвай*, ботл. *хвай*, цез. *гъваIй*, хварш. *гъвеI*, гинух. *гъве* то же;

цахур. *кьоIд*, хиналуг. *кIу*, табас. *кьуIб*, агул. *кьуIд* «два», ср. лезг. *кьвед*, рутул. *кьваIд*, крыз. *кьвад*, арчин. *кьвеву*, ср. также бежт. *кьоно*, хварш. *кьуни*, гинух. *кьоно* то же;

будух. *кIул*, крыз. *кIул*, удин. *ккодж* «дом», ср. лезг. *кIвал*, хиналуг. *цIва* (*кIва* < **кIвал*) то же и др.

4. Элемент лабиализации перескакивает и модифицируется в самостоятельный звук. Это явление хорошо прослеживается в большинстве лезгинских языков, а также в некоторых других дагестанских языках. Так, Т. Е. Гудава указывает, что в годоберинском языке элемент лабиализации перескакивает от лабиализованного согласного и в виде *у* переставляется непосредственно перед данным согласным звуком: *беукь-* «сушить» < < *бекьв-*, ср. авар. *бакьв-*, *бекьв-* [22]. По свидетельству Э. Ломтадзе в некоторых цезских языках лабиализованный комплекс разлагается на отдельные фонемы, вследствие чего из комплекса сохраняется один из элементов, а другой — утрачивается [23], что видно из следующих примеров: гунз. *во* < **гъво* «собака», ср. гинух. *гъве*, цез. *гъваIй*, хварш. *гъве* то же; гунз. *вара* < **гъвара* «корова», ср. гинух. *гъверо*, цез. *гъуро*, хварш. *гъвало* «скот», гунз. *водо* < **гъведо*, бежт. *водо* < **гъведо* «день», ср. гинух. *гъведе*, цез. *гъуди* то же и др. На аналогичное же явление в даргинском языке обратил внимание А. А. Магометов, где в некоторых урахинских словах разложение лабиализованных согласных ведет к трансформации элемента лабиализованности в самостоятельной губной согласный (урах. *див* «засуха», ср. кубач. *дигъв*, акуш. *дегъ*) [24]. Е. Ф. Джейранишвили указывает на то обстоятельство, что процесс делабиализации в рутульском языке ведет или к полному стиранию элемента лабиализации, или же к перестановке элемента лабиализации вперед или назад. Отмечается, что в ряде случаев переставленный элемент лабиализации, трансформируясь, переходит в губно-губной *м* [25].

Материалов, указывающих на перескок элемента лабиализации, в лезгинских языках больше чем достаточно. Приведем некоторые из них:

арчин. *набкI* (< *навкI* < **накIв*) «сон», ср. табас. *никIв* (ср. также табасаранские диалектные формы: *нибкI*, *нивкI*, *нимкI*), рутул. *накъ*, цахур. *наькI*, хиналуг. *микIаь* «сновидение», будух. *некьир* то же;

арчин. *напхъ* (< *набхъ* < *навхъ* < **нахъв*) «слеза», ср. табас. *никъв* [ср. также табасаранские диалектные формы: *нибкъ* (тин.) *нивкъ* (хур.), *никъ* (тюг.)], агул. *негъв*, лезг. *нагъв*, рутул. *нагъв*, цахур. *нагъ*, удин. *негъ* то же;

хиналуг. *пхра* (< *бхра* < *хвара* < *хвар*) [26] «собака», ср. крыз. *хвар*, будух. *хор*, рутул. *хве*, цахур. *хваI*, агул. *гъуй* то же;

[22] Т. Е. Гудава, К изменению лабиализованных согласных в аварском и андийских языках, стр. 219.

[23] Э. А. Ломтадзе, Гинухский диалект дидойского языка, Тбилиси, 1963, стр. 18—21.

[24] А. А. Магометов, Лабиализованные звуки в даргинском языке, ИКЯ, V, Тбилиси, 1953, стр. 395—415.

[25] Е. Ф. Джейранишвили, Лабиализованные согласные и их изменения..., стр. 395.

[26] Это фонетическое явление в хиналугском языке в свое время мы квалифицировали морфологически, имея в виду, что начальный губно-губной *б* (*п*) в структуре хиналугского слова является окаменелым классным показателем (см.: Б. Б. Талибов, Место хиналугского языка в системе языков лезгинской группы, «Уч. зап. ИИЯЛ», VII, Махачкала, 1960, стр. 283—284).

хиналуг. *пши* (< *бши* < **шви*) «лошадь», ср. лезг. *шив* (< **шви*), арчин. *нолш* (< *молш* < *болшь* < *волш* < *швол* < **шви*), ср. также лак. *чу*, авар. *чу*, дарг. *урча* то же;

хиналуг. *псы* (< *бсы* < **све*), лезг. *сев* (< **све*), удин. *шуве* (< **шве*) «медведь», ср. табас. *швеъ*, цахур. *с'о*, рутул. *си*, крыз. *сар*, будух. *сор* то же;

агул. *сивх* (< **сихв*) «зуб», ср. агул. *сихв* (фит. г.), ср. также лезг. *сахв*, табас. *сахв*, крыз. *сохв* то же и др. [27]

Полная редукция гортанной смычки отчетливо прослеживается в удинском языке. В вопросе об абруптивных (смычно-гортанных) согласных удинского языка существуют разные мнения. Одни исследователи (А. М. Дирр, Д. П. Карбелашвили) в фонетической системе удинского языка находят наравне с преруптивами (непридыхательными) и три абруптивных согласных звука (*кь*, *чI*, *цI*) [28], другие исследователи удинского языка (В. Н. Панчвидзе, Е. Ф. Джейранишвили, В. Гукасян) указывают на наличие полного комплекта абруптивных (*пI*, *тI*, *кI*, *кь*, *цI*, *чI*, *чIчI*) [29], аналогичного абруптивам в других дагестанских языках.

Исследование удинского языка, проведенное нами в сс. Варташен и Нидж АзербССР, показало, что на современном этапе в удинском не представлены абруптивные согласные звуки. В варташенском диалекте эти согласные деградировали, а в ниджском диалекте процесс деградации абруптивов находится в стадии окончательного завершения, причем исторически сильные абруптивы дагестанского праязыка перешли в удинском в преруптивы (хотя имеются и случаи их редукции), а исторически несильные — дали нулевой показатель [30], но есть и исключения, что демонстрируют следующие примеры:

удин. *укк* < *укI* < **рукI* (нидж. д.) «сердце», ср. лезг. *рикI*, табас. *йукI*, агул. *йиркIв*, цахур. *йикI*, рутул. *йикI*, хиналуг. *ункI*, будух. *йикI*, арчин. *икIв* то же;

удин. *ццам* < *** *цIам* «пуповина», ср. лезг. *ппицI*, хиналуг. *цIум*, крыз. *бичI*, будух. *бучI*, арчин. *цIцIан* то же;

удин. *ццu* < *ццир* < *** *цIир* «имя», ср. табас. *цIур*, хиналуг. *цIу* < < **цIур*, арчин. *цIор*, лезг. *тIвар*, агул. *тур*, рутул. *дур*, цахур. *до* < < **дор*, крыз. *тур*, будух. *тур*, ср. также лак. *цIа* < **цIар*, авар. *цIцIар*, ахвах. *цIцIери*, тинд. *ццера*, чамал. *сIсIе* < **сIсIер*, анд. *цIцIери*, бежт. *цан*, цез. *ци*, гинух. *це*, гунз. *цанру*, дарг. *зу* то же;

удин. *нецц* < **нецI* «вошь», ср. арчин. *нацI*, хиналуг. *нимцI*, табас. *ницц*, лезг. *нет*, агул. *нетт* то же;

удин. *ин* < *ччин* < *чIин* < **чIид* «блоха», ср. цахур. *чIин* < **чIид*, лезг. *чIид* (ахт. д.), *чIут* (лит. яз.), табас. *чIуд*, агул. *чIид*, рутул. *чIит*, хиналуг. *чIуIт*, крыз. *чIид*, будух. *чIид*, ср. также авар. *чIетI*, ахвах. *чIантIи* < *** *чIанди*, карат. *чIанте*, тинд. *чIанде*, бугул. *чIант*, анд. *чIонни*, арчин. *чIин* < **чIид* то же;

---

[27] Об этом более подробно см.: Б. Б. Талибов, О процессе делабиализации лабиализованных согласных в лезгинских языках, стр. 44—49.

[28] А. М. Дирр, Грамматика удинского языка, «Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа», XXXIII, Тифлис, 1903; Д. П. Карбелашвили, К фонетике удинского языка, «Язык и мышление», III—IV, М.—Л., 1935.

[29] В. Н. Панчвидзе, Грамматический анализ удинского языка. АДД, Тбилиси, 1949, стр. 9; Евг. Джейранишвили, Удийский язык, стр. 275; В. Л. Гукасян, Фонетические и морфологические особенности ниджского диалекта удинского языка. АКД, Баку, 1965, стр. 9.

[30] И. И. Церцвадзе, О соответствии аварско-андийскому пятому латеральному согласному в удинском языке, ИКЯ, XIV, Тбилиси, 1904, стр. 362; Б. Б. Талибов, К вопросу об абруптивных согласных в удинском языке, «Ежегодник иберийско-кавказского языкознания», I, Тбилиси, 1974, стр. 209—215.

удин. *эл* $<$ **кьел* «соль», ср. лезг. *кьел*, табас. *кьил*, агул. *кьел*, рутул. *кьаIл*, хиналуг. *кьа* $<$ **кьаIл*, будух. *кьел*, крыз. *кьел*, цахур. *кьев* то же;

удин. *о* $<$ **окI* «трава, сено», ср. табас. *укI*, *вукI*, агул. *укI*, цахур. *окI*, рутул. *укь*, лезг. *екь* то же;

удин. *ми* $<$ **микI* «холод», ср. агул. *мекI*, табас. *мичIил* $<$ **микIил*; цахур. *мыкIалла*, лезг. *мекь*, рутул. *мыкь* то же;

удин. *бул* $<$ **букIул* «голова», ср. авар. *бекьIер* (гид. д.), *бетIер* (лит. яз.), лак. *бакI*, дарг. *бекI*, лезг. *кьил*, табас. *кIул*, агул. *кьил*, рутул. *кьул*, цахур. *вукIул*, *букьул* (гельмец.), хиналуг. *микIир*, крыз. *кьыл*, будух. *кьыл* то же.

Список подобных слов можно было бы продолжить, но и приведенный материал довольно наглядно показывает исторический процесс трансформации удинских абруптивов и переход их в одних случаях в преруптивы, в других — в нуль звука.

Засвидетельствована и редукция прочих согласных. Наблюдение над фонетической структурой слова лезгинских языков показывает, что многие исконные слова потеряли тот или иной согласный. Усечению подвергаются преимущественно сонорные *л*, *р*, среднеязычный *й* и некоторые другие согласные в любой позиции слова (чаще этот процесс наблюдается в анлауте или же ауслауте).

По усечению согласных не все лезгинские языки обнаруживают единое состояние: наиболее интенсивно этот процесс произошел в хиналугском, удинском и цахурском языках, в других языках он наблюдается эпизодически. Покажем на материале конкретных языков переход $р >$ $>$ нуль:

хиналуг. *ункI* ($<$ *уⁿкI* $<$ *руⁿкI* $<$ **рукI*), удин. *ук* ($<$ *укк* $<$ *укI* $<$ $<$ **рукI*) «сердце», ср. лезг. *рикI*, табас. *йукI*, агул. *йиркIв*, рутул. *йикI*, цахур. *йикI*, крыз. *йикI*, будух. *йыкI* то же;

рутул. *хве* ($<$ **хвер*), табас. *ху* ($<$ **хур*), удин. *хаI* ($<$ **хаIр*), цахур. *хваI* ($<$ **хваIр*) «собака», ср. будух. *хор*, крыз. *хвар*, хиналуг. *пхра*, агул. *гъуй* (тп.), тинд. *гьвай*, чамал. *хвай*, багул. *гьвай*, ботл. *хвай*, годоб. *хвай*, анд. *хой*, цез. *гъвай*, ср. также авар. *гьве*, ахвах. *хве*, карат. *гьве*, хварш. *гъвеI*, гинух. *гъве*, дарг. *хаь* то же;

удин. *гъоIгъ* ($<$ **гъаIр* — конечный *гъ* результат редупликации корневого согласного) «заяц», ср. лезг. *къуIр*, табас. *къуIр*, *гъуIр*, агул. *гъуIр* (ус., цир., фит.), *гIур* (тп., дул.), рутул. *гъиIр*, цахур. *къиIйе*, хиналуг. *кIизаь* ($<$ *кIираь*), крыз. *къур*, будух. *къур*, ср. также дарг. *гIаIра*, цез. *хъаый*, хварш. *хъеъ*, гинух. *хъи*, гунз. *хъи* то же;

удин. *цци* ($<$ *ццир* $<$ **цIир*). цахур. *до* ($<$ **дор*), хиналуг. *цIу* ($<$ **цIур*) «имя», ср. лезг. *тIвар*, табас. *цIур* (*ццур*, *зур*), агул. *тур*, рутул. *дур*, крыз. *тур*, будух. *тур*, арчин. *цIор* «имя», ср. также авар. *цIцIар*, ахвах. *цIцIери*, карат. *цIцIери*, тинд. *ццера*, ботл. *цIцIери*, годоб. *ццери*, анд. *цIцIер*, бежт. *царо* (тляд.), гунз. *цаⁿру* то же; ср. также лак. *цIа*, дарг. *ъу*, *зу*, чамал. *сIсIе*, бежт. *цаⁿ*, гинух. *це*; в последних также наблюдается усечение конечного исконного *р* [31].

Примеров, иллюстрирующих переход *л* $>$ нуль, также достаточно:

цIахур. *тIоьъ* ($<$ **тIоьл*), рутул. *тIоьъ* ($<$ **тIоьл*) «канат», ср. лезг. *цIил*, табас. *тIил* (хюр.), *чIил* (хив.), агул. *тIил* (надо заметить, что в цахурском и рутульском конечный ларингальный *ъ* возмещает собой редуцированный сонорный *л*);

цахур. *чIийе* ($<$ *чIиле* $<$ *чIил* $<$ *ччил* $<$ **джил*), хинал. *инче*

[31] Б. Гигинейшвили, говоря об исконном общедагестанском **р*, пишет следующее: «В одном случае (слово „имя“) исконное **г* утрачено также в даргинском и удинском языках» (Б. К. Гигинейшвили, Общедагестанские *l* и *r*, «Сообщения АН ГрузССР», 49, 1, Тбилиси, 1968, стр. 246).

(< *и*чче < *ичче* < *ччийел* < **ччил*) «земля», ср. лезг. *ччил*, табас. *джил*, агул. *джил*, рутул. *ччил* то же;

цахур. *магъа* (< **магъал*) «крапива», ср. рутул. *макъвал* (мюхед.), *махъвал* (шин.);

цахур. *тIатIа* (< *тIатIал* < *тIал* < **тIвал*) «палка», ср. рутул. *тIатIал*, лезг. *тIвал*, табас. *тIул*, крыз. *тIыл*, будух. *тIул*, ср. также арчин. *дала* «бревно»;

хиналуг. *кIу* (< **кIул* > *кIули* — эрг. пад.) «ягненок», ср. лезг. *кIел*, *ккел* (ахт.), табас. *ччил* (< *джил* < **гил*), *джал* (< **гал*) (тин.), агул. *кIал*, *ккел*, рутул. *гаъл*, цахур. *гев*, *гел*, крыз. *кел*, будух. *кел*, уд. *къал*, арчин. *кьъал* то же.

Редуцироваться в лезгинских языках могут также носовой *н*, среднеязычный *й*, дентальный *д* и ряд других согласных:

удин. *хе* (< *хъе* < *хъен* < * *хъед*), хиналуг. *хъу* (< * *хъуд*) «вода», ср. лезг. *йад*, табас. *шар*, *шад*, агул. *хъед*, *шед*, рутул. *хъед*, цахур. *хъаьн* (< * *хъаьд*), крыз. *хъад*, будух. *хъад*, арчин. *лълъан*, ср. также авар. *лълъин*, ахвах, *лълъени*, карат. *лълъени*, тинд. *лълъе*^{н}, чамал. *лълъи*^{н}, багул. *лълъе*^{н}, ботл. *лълъен(и)*, годоб. *лълъени*, анд. *лълъен*, хварш. *лъа*^{н}, гунз. *лъы*^{н}, дарг. *шин*, лак. *шшин*; ср. также в том же значении бежт. *лъи*, цез. *лъи*, гинух. *лъе*, где мы видим аналогичное явление стирания конечного согласного;

хиналуг. *пи* (< *хьи* < *хьин* < * *хьид*, ср. эрг. пад. *хийи* < * *хьиди*) «навоз», ср. лезг. *фид* (< * *хьид*), табас. *уршъид*, агул. *фурд*, рутул. *хьид* цахур. *хьид*, крыз. *хьид* то же;

удин. *ттe* (< *ттен* < **тIен*) «гнида», ср. лезг. *нетI* (ахт.), табас. *нитI*, *нитт* (гум.), агул. *нетI*, рутул. *нетI*, цахур. *натI*, арчин. *натI*, ср. также ахвах. *тIани*, карат. *тIане*, чамал. *тIана*, багул. *тIана*, годоб. *тIана*, анд. *тIана* то же; в том же значении лакское *тIу*, структура которого упростилась в результате выпадения конечного *н*: *тIу* < * *тIун*.

Можно было бы указать и на другие случаи редукции согласных звуков, но они не носят систематического характера. Вместе с тем, становится ясным, что исконная фонетическая структура слова в лезгинских языках во многих случаях характеризовалась более сложным составом консонантов.

СПИСОК ПРИНЯТЫХ В СТАТЬЕ СОКРАЩЕНИЙ

Авар.— аварский язык; агул.— агульский язык; акуш.— акушинский диалект даргинского языка; анд.— андийский язык; арчин.— арчинский язык; ахвах.— ахвахский язык; ахт.— ахтынский диалект лезгинского языка; багул.— багулальский язык; бежт.— бежтинский язык; ботл.- ботлихский язык; буд.— будухский язык; бур.— буршагский говор агульского языка; бурк.— буркиханский говор агульского языка; варт.— варташенский диалект удинского языка; гельмец.— гельмецкий диалект цахурского языка; гинух.— гинухский язык; годоб.— годоберинский язык; гунз.— гунзибский язык; гюг.— гюграхский говор табасаранского языка; дарг.— даргинский язык; дид.— дидойский язык; дул.— дулдугский говор агульского языка; карат.— каратинский язык; кубач.— кубачинский диалект даргинского языка; кош.— кошанский говор агульского языка; крыз.— крызский язык; лак.— лакский язык; лезг.— лезгинский язык; лит.— литературный; мюхед.— мюхедский говор рутульского языка; нидж.— ниджский диалект удинского языка; нютюг.— нютюгский говор лезгинского языка; ряч.— ричинский говор агульского языка; рутул.— рутульский язык; сапун.— сапунджинский говор цахурского языка; сев. н.— северное наречие; сувагил.— сувагильский говор цахурского языка; табас.— табасаранский язык; тин.— тинитский говор табасаранского языка; тинд.— тиндинский язык; тляд.— тлядальский говор бежтинского языка; тп.— тпитский говор агульского языка; удин.— удинский язык; ус.— усугский говор агульского языка; фит.— фитинский говор агульского языка; хварш.— хваршинский язык; хпв.— хивский говор табасаранского языка; хиналуг.— хиналугский язык; худ.— худитский говор агульского языка; хур.— хурикский говор табасаранского языка; цахур.— цахурский язык; цез.— цезский язык; цир.— цирхинский говор агульского языка; чамал.— чамалинский язык; шин.— шиназский говор рутульского языка; юж. н.— южное наречие.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1976

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

J. Rischel. **Topics in West Greenlandic phonology** (Regularities Underlying the Phonetic Appearance of Wordforms in a Polysynthetic Language). — Copenhagen, Akademisk forlag, 1974. 478 стр.

Фактический материал эскимосского языка с его поистине классическим аглютинативным строем широко используется для сопоставительно-типологических целей и других видов общелингвистических исследований. Лингвисты, не являющиеся непосредственными специалистами в области эскимологии, часто не знают того, что единого эскимосского языка в природе не существует, а есть совокупность большого числа территориально разобщенных эскимосских диалектов и говоров, распространенных на арктическом пространстве от Берингова пролива до Гренландии. Одна часть диалектов составляет группу «инуит» (иначе «инупик»), другая — группу «йугыт» (иначе «йупик», «йуит»). Некоторые диалекты в силу многовековой изоляции переросли в самостоятельные языки, поэтому в настоящее время можно говорить о нескольких эскимосских языках, а термин «эскимосский язык» следует понимать абстрактно как общеэскимосский язык (конгломерат эскимосских языков и диалектов), в котором обнаруживаются общие строевые черты, присущие каждому территориально-диалектному подразделению.

Автор рецензируемой книги взял на себя весьма сложную задачу установления фонологических закономерностей западногренландского (эскимосского) языка в рамках трансформационной грамматики. Задача такого широкого исследования усложняется тем, что оно базируется на материале одного диалекта, тогда как факты других диалектов и говоров общеэскимосского языка в работе привлекаются только фрагментарно.

Следует, однако, отметить, что предпринятая Й. Ришелом попытка установления наиболее важных моделей фонологических правил для западногренландского диалекта во многих случаях осуществляется позитивно, и ряд таких моделей может в дальнейшем послужить для выявления общеэскимосских (междиалектных) фонетических и фонологических закономерностей. Автор выражает надежду, что его работа «окажется полезной для эскимологов», и с этим нельзя не согласиться, поскольку эскимосские языки и диалекты до настоящего времени исследовались изолированно и на синхронном уровне, тогда как широких сопоставительных работ, вскрывающих глубинные аспекты строя общеэскимосского языка, до сих пор не было. В этом смысле ряд фонологических моделей западногренландского языка, устанавливаемых Й. Ришелом на синхронном уровне, может послужить прототипом для сопоставительных исследований диалектов инуит и йугыт.

Положительной стороной рецензируемой работы является фактический материал, зафиксированный автором непосредственно от носителей языка — гренландцев, а также корректно интерпретируемые им языковые факты и выводы из работ по эскимосскому языку таких авторитетных исследователей, как С. Клейншмидт, В. Талбитцер, Г. В. Шульц-Лоренцен, М. Свадеш, Т. Ульвинг, К. Бергсланд, О. Мияока, Х. Пайл, Р. Петерсен и ряд других (стр. 460—468).

Книга Й. Ришела состоит из трех частей. В I части дается характеристика звуковых закономерностей и систематической транскрипции западногренландского языка. II часть посвящена спорным моделям фонологических изменений. В III части ставятся ключевые вопросы описания фонологической структуры исследуемого языка. Совершенно очевидно, что в краткой рецензии невозможно охватить всех проблем, решаемых автором в столь обширном фонологическом исследовании, поэтому мы отметим лишь те позитивные

и негативные, с нашей точки зрения, положения и заключения, которые представляют интерес для большинства территориально-диалектных подразделений общеэскимосского языка.

Й. Ришел справедливо отмечает, что в работах по языку гренландских эскимосов, начиная с XVIII в. и по настоящее время, не установилось унифицированной транскрипции. Несмотря на то, что гренландцы уже длительный период имеют свою письменность и обучение в школах осуществляется на родном языке, одни и те же фонемы у разных авторов в ряде случаев обозначаются различными буквенными знаками. Данное обстоятельство ведет к тому, что одинаковые по лексическому значению и морфологической структуре слова фиксируются часто неадекватными графическими способами, а это затрудняет правильное их восприятие. Особенное разнообразие при использовании буквенных знаков наблюдается при изображении велярных звуков [ŋ], [g], [x], увулярных [ʁ], [χ], дентальных [l], [ɾ], [j], [s], билабиальных [v], [f].

Наибольшую путаницу в гренландскую транскрипцию вносят знаки для обозначения увулярного звонкого.

Так, задненязычный сонант [ŋ] обозначается знаками [ŋ], [ɳ], [ng]; велярный фрикативный [x] — знаками [χ], [g], [x], в то время, как знак [χ] традиционно для многих языков используется для обозначения увулярного фрикативного глухого; увулярный фрикативный звонкий обозначается знаками [r], [ɣ], [ʁ] — между тем знак [r] у ряда исследователей других эскимосских диалектов используется, как и в латинской транскрипции, для обозначения переднеязычного дрожащего [r], который встречается в диалектах «йугыт» (ср. *túrik* «кулик», *nasápraq* «шапка»). В последних совершенно четко различаются билабиальные фонемы [v] и [w] (ср. *qawak* «птица» и *qavaq* «сон»), тогда как в гренландском, входящем в группу «инуит», дифференциации этих звуков, повидимому, нет, а потому одни исследователи этого языка для билабиального звонкого используют знак [w], другие [v]. Увулярный фрикативный глухой также обозначается разными знаками: [ʀ], [ɣ], [ɾ], [χ]. Если сравнить системы транскрипции одних и тех же звуков гренландских, канадских, аляскинских и азиатских эскимосов, то вскроется весьма неутешительная картина исключительного несоответствия буквенных знаков для их обозначения. Представляется очевидной необходимость установления общих для всех эскимосских языков и диалектов буквенных знаков, что могут осуществить эскимологи в результате взаимных консультаций и согласия.

Особый интерес в работе Й. Ришела представляют модели основных фонологических закономерностей гренландского языка, которые находят типологические соответствия в других эскимосских языках и диалектах.

Фонетическая структура гренландского слова тесным образом связана с проблемой слогоделения (§ 2.2.1). При последовательности формантов в эскимосском языке нередко возникает сочетание двух гласных. В гренландских диалектах сочетаемость одинаковых гласных образует соответствующий долгий гласный (*nipa* + *a* = *nipaa* «земля-его», где *-a* — показатель посессивности), сочетаемость же различающихся гласных образует их раздельное произношение (*nipa* + *i* = *nipai* «земли-их»). В первом случае слово *nipaa* дает два слога, во втором — *nipai* — три слога. В слове *nipaa* конечный [a] основы сливается с грамматическим показателем [-a], что дает долготу, но не раздельное произношение двух [-a-a]. Слова *nipa* «земля» и *nipaa* «его земля» по своему лексико-грамматическому значению, обусловленному различным ударением, знаменуют разные грамматические формы. С точки зрения слогоделения в случаях типа *nipaa* (*ni-pā*) имеют место два слога, морфологически же можно фиксировать второе [a] как показатель посессивности (*nipaa*), но такая фиксация всегда будет условной, не отвечающей фонетическим законом эскимосского языка. Между тем в работах по диалектам гренландского языка, как, впрочем, и по некоторым диалектам аляскинских эскимосов, долгие гласные [ā], [ū], [ī] транскрибируются часто как двойные гласные, обозначаемые термином «гемината». Представляется, что такое обозначение не имеет убедительного обоснования, поскольку при встрече двух одинаковых гласных происходит процесс ассимиляции, а не раздельной их артикуляции.

Синхронным исследованием гренландского материала не всегда можно убедительно доказать появление долгих гласных (*a* + *a* = *ā*, *u* + *u* = *ū*, *i* + *i* = *ī*) в различных комбинациях соединения морфем. И это хорошо показано в работе Й. Ришела. Между тем использование метода сопоставительного исследования далеко отстоящих территориально и во времени эскимосских диалектов в этом отношении дает весьма доказательные свидетельства появления долгих гласных на границах соединения морфем в одних случаях и разъединения этих гласных консонантными элементами — в других. Так, например, в чаплинском диалекте языка азиатских эскимосов на границе соединения двух одинаковых или разных гласных становится соединительный согласный [ŋ], ср. словоформы от основы *nipa* «земля»: чапл. д. *nipa* + *a* = = *nipa-ŋ-a* > *nipaŋa* ~ гренл. *ni-*

na + *a* = *nunaa* > *nunā* «его земля»; *nu-na* + *i* = *nuna-ŋ-i* > *nunaŋi* ~ *nuna* + + *i* = *nunai* «его земли».

Удвоение гласного, фиксируемое Й. Ришелом в корневых морфемах типа *ataasiq* «один» (где *ata* корень слова со значением «главный; отец», а *-siq* — орудийный суффикс), является обычным ударением на втором слоге (в азиатских диалектах с кратким силовым ударением *atásiq*, в западногренландском, возможно, *atāsiq*), но только не гемината. Автор явление геминаты видит в изменении тона гласных в слове: повышение — понижение — повышение (atāāsīq).

Если даже и меняется качество тона гласного от повышения к понижению (*āā* в слове *atāāsīq*) или от понижения к повышению (*āā* в слове *akīvāā*, стр. 80), что фиксируется экспериментом [1], то это не дает слога и даже моры, а образует особую в каждом отдельном случае звуковую конфигурацию неделимого гласного.

Базовая типовая модель (повышение — понижение — повышение трех конечных гласных), устанавливаемая Й. Ришелом, применяется им к любым глагольным формам с конечным гласным, а также и к именным формам в вопросительном употреблении (*ataāsīīq*? «Вам один?»). В азиатских диалектах модель слова с чередующимися типами ударения не выявляется столь стандартно и четко. Долгота или силовое ударение могут быть постоянными на первых слогах, и тогда конечные гласные оказываются редуцированными (ср. *pámă* «насос»., *agívāqă* «бранит-его»). Но эти же слова в вопросительном употреблении совершенно изменяют тоновую модель (*pămā* «насос-ли?», *agívăqā* «бранит-ли-его?»), т. е. модели «повышение — редукция», «повышение — понижение — редукция» меняются на модели «редукция — повышение», «повышение — редукция — повышение», при этом качество высоких тонов также оказывается различным (′,—). В то же время в азиатских диалектах наблюдается и тоновая модель «повышение — понижение — повышение» при отсчете гласных с конца слова (ср.: *avúṛăqā* «собирает что-л.», *imgûtăqā* «наматывает что-л.»), однако ее нельзя назвать «базовой», поскольку она охватывает лишь незначительное число глагольных слов. Думается, что и для гренландского языка тоновая модель типа «повышение — понижение — повышение» с отсчетом трех гласных от конца слова не является универсальной. При решении проблем тональности и геминаты для гренландского языка следует, по-видимому, учитывать различные модуляции звуков в тесной связи с лексико-грамматическими значениями слова, с особенностями его сложной фономорфологической структуры и диахронными изменениями, происшедшими в разных диалектах.

Вывод Й. Ришела о том, что «последовательности типа [i + i] и [iCi] с опущением промежуточного согласного соединяются фонетически в одну долгую гласную, хотя они и эквивалентны двум гласным морам» (стр. 88), представляется нам верным, как и вывод об увуляризации, влияющей на образование односегментных долгих гласных. Эти важные выводы автора подтверждаются сходными фонетическими закономерностями в языке азиатских эскимосов, ср.: 1) последовательность гласных: *táḷiq* «рука» > *táḷi* (*q*) + + *i* = *taḷī* «его ру́ки»; 2) выпадение согласного: чапл. д. *qáguk* «лоб» > имакл. д. *qāûk*; 3) долгота гласного в результате стяжения двух разных гласных при выпадении согласного: чапл. д. *kíwīk* «река» > имакл. д. *kūk*; чапл. д. *juk* «человек» > *júgīt* «люди» > *júīt* > наук. д. *jūt* (*-ū* от стяжения *-ugī*); 4) долгота под влиянием увуляризации в финале слова: чапл. д. *aŋilvē* «большой» (но *āŋilvīt* «большие») и т. д.

В азиатских диалектах долгие гласные [ā], [ū], [ī] выявляются в результате тонального ударения и имеют общий интонационный контур, что согласуется с мнением Пайла относительно невозможного сосредоточения длительности или силы ударения на второй части гласного сегмента (стр. 89—90).

Й. Ришел справедливо отмечает, что проблема ударения в гренландском языке не получила убедительного теоретического решения. Можно добавить, что эта проблема не решена сколько-нибудь адекватно и для других частей общеэскимосского языка, и предстоит еще тщательно изучить ряд просодических параметров (интонацию, понятие слогового веса, лексико-семантическую дифференциацию одноструктурных морфем и т. д.), прежде чем прийти к определенным выводам.

Вопрос о последовательности трех одинаковых гласных, поставленный Й. Ришелом (§ 2. 4.2), представляется излишним, поскольку автор сам признает (стр. 98), что долгие гласные не составляют интонационно раздельной последовательности двух гласных, хотя по образованию в ряде комбинаций и могут восходить к их слиянию (*pā* + *a* = *pā* «его-ответ», но не *paa* + *a*, как предполагает Й. Ришел). В азиатских диалектах в подобных фономорфологических комбинациях между гласными становится соединительный согласный [ŋ] (*pana* + *a* = = *pana-ŋ-a* «его копье», *siku* + *a* = *si-kú-ŋ-a* «его лед») или [g] (*qajáq* «каяк» > > *qajā* «его каяк» > *gaja* + *uq* = *qajá-g-uq* «это-есть-каяк»). В гренландском, как видно из приводимых Й. Ришелом примеров (стр. 101), к основам с финальным

[1] H. Mase, A study of the role of syllable and mora for the tonal manifestation in West Greenlandic, «Annual report of the Institute of phonetics. University of Copengagen», 1973.

долгим гласным последующий (второй, а не третий.— *Г.М.*) гласный присоединяется через соединительные согласные [j] и [v], поэтому постановка вопроса о последовательности трех гласных в гренландском (типа *paa* + *a*) представляется неправомерной.

Вывод Й. Ришела о тенденции звонких фрикативных согласных [j], [v] произноситься слабо в позиции между двумя фонетически идентичными гласными, с которыми у них есть общие артикуляционные признаки, представляется правильным и может быть распространен на все подразделения общеэскимосского языка, учитывая, что в диалектах йугыт такими соединительными согласными выступают [ɣ] и [g].

Вопрос о редукции финальных сегментов слова (I, § 2.7) имеет серьезное значение при характеристике ключевого категориально-грамматического статуса той или иной группы слов. Усечение финальных сегментов происходит не только в индивидуальной речи, что затрудняет идентификацию парадигм, но, как нами прослежено в науканском диалекте, может быть постоянным и входить в определенные грамматические парадигмы. Так, в языке науканских эскимосов суффикс 1-го лица ед. числа субъектных глаголов *-ya* сохранился только в формах прошедшего времени, а во всех других временных формах произошла редукция этого финального компонента за счет долготы конечного гласного [u], ср.: *aglúmaiya* «работал-я», но *aglúgaqδ* «работаю-я» (суффикс *-qu/-qo* — показатель изъявит. наклонения субъектных глаголов настоящего и будущих времен) [2]. Такого усечения не произошло в других эскимосских диалектах [3].

Заслуживает внимания мнение Й. Ришела о том, что маркированные границы между словами и внутри слова могут существенным образом влиять на установление фонологических правил. В этом отношении интересны наблюдения о появлении в определенных фонологических условиях гортанного смыка (ʔ) в гренландском языке (I, § 2.7, стр. 146—147). Его появление на границах морфем нами было отмечено также в языке сиреникских эскимосов и имаклинском диалекте. Зафиксировано, что этот просодический сегмент появляется на границах между гласными, между согласным и гласным и между согласными, если второй из них [j] (ср. сирен. *sipʔjïχ* «таз»).

Гортанный смык чаще всего появляется в результате выпадения согласного, что обнаруживается при сравнении одних и тех же слов из разных эскимосских диалектов и языков, ср.:

	чапл.д.	сирен. яз.	имакл.д.	гренл.яз.	
„собака"	*qɬhmiq*	*qɬpïnïχ*	*qiʔmiq*	*qimmiq*	
„таз"	*sïpsaq*	*sipiʔjïχ*	*sïpʔjak*	—	
„слюна"	*nüvak*	—	*nüʔâk*	*nüak*	
„выйдя-он"	*ānjami*	*ānijâmi*	*ānïʔâmi*		— и т.д.

Гортанный смык, появляющийся в отмеченных Й. Ришелом позициях гренландского слова и на границах между словами, несомненно, имеет просодический характер, и связанные с ним явления должны рассматриваться на фономорфологическом уровне.

Й. Ришел обобщает установленные ранее в работах ряда других авторов правила чередования звуков [k] ~ [g] ~ [ŋ], [q] ~ [χ] ~ [ʁ], [s] ~ [j] ~ [ɕ] ~ [t], [g] ~ [w] и др., которые являются общими не только для западногренландского диалекта общеэскимосского языка, но в той или иной степени для всех диалектов групп «инуит» и «йугыт». Столь же ценны его замечания о чередовании гласных.

В работе Й. Ришела имеется много и других полезных для эскимосской фонологии наблюдений, к которым относятся вопросы звуковых изменений на границах сочетающихся слов и на стыках морфем, фарингализации гласных в сочетании с увулярными согласными, дифтонгизации гласных, сокращения форм слов в результате утраты (выпадения) отдельных звуков и слогов, вопросы сегментации и ряд других проблем гренландской фонологии.

Вместе с тем в этой работе имеется ряд спорных положений.

Й. Ришел и некоторые другие исследователи языка гренландцев, а также отдельных эскимосских диалектов Канады и Аляски, традиционно выделяют только три гласные фонемы — [a], [u], [i] и их аллофоны. Это верно в диахронном плане: алеутский язык и, возможно, некоторые эскимосские диалекты «инуит» и в настоящее время сохраняют эти гласные. Вместе с тем во всех современных диалектах группы «йугыт» совершенно определенно фиксируется четвертая фонема [ï] (по транскрипции Л. В. Щербы — [ɘ], по русской транскрипции — [ы]), которая занимает особое место в системе эскимосского вокализма.

Фонематичность гласного [ï] характеризуется не только его артикуляционными, но и смыслоразличительными приз

---

[2] Г. А. Меновщиков, Язык науканских эскимосов, Л., 1975, стр. 228.

[3] Г. А. Меновщиков, Грамматика языка азиатских эскимосов, ч. II, Л., 1967, стр. 94—97; его же, Язык сиреникских эскимосов, М.—Л., 1964, стр. 19; его же, Язык эскимосов Берингова пролива (рукопись).

наками в слове, что видно из сопоставлений разнозначных слов и разных грамматических форм одного и того же слова, ср. чапл. д.: *ávnaq* «женщина» и *ávnĭq* «день» (но нет слова *ávniq*); *júgĭt* «люди», но *júgit* «их люди». Гласный [ĭ] по диалектам в финале слова чередуется не с [i], как следовало бы ожидать, а с редуцированным [â], ср.: чапл. д. *túmă* ~ наук. д. *túmĭ* «дорога; след.»; *tĭpă* ~ *tĭpĭ* «запах» и т. д. Таким образом, влияние гласного [ĭ] на лексическую и грамматическую дифференциацию слов представляется достаточно убедительным аргументом его фонематичности. Кроме того, гласный [ĭ] не может быть заменен никаким другим гласным в качестве соединительного между согласными в процессе словообразования и словоизменения.

Необоснованной представляется фиксация двух однородных согласных в любой позиции слова в гренландских диалектах. Ни одна из таких согласных геминат (как *-pp*, *-tt*, *-qq*, *-ll*, *-ss* и др.) не произносится отрывно (двухвершинно). В гренландских и других диалектах группы «инуит» наблюдается, по-видимому, особая силовая артикуляция согласных, что создает акустическое впечатление их геминации. Это обстоятельство не дает, однако, оснований для удвоения согласных в практической транскрипции. При этом не учитывается одно из основных фонологических правил общеэскимосского языка, по которому невозможно стечение двух однородных или трех разнородных согласных (за редким исключением) в любой позиции слова. Представляется очевидным, что такие, например, общеэскимосские форманты, как *-vik/-fik* (суффикс места), *-siq* (суффикс орудийности), известные инуитские глагольные суффиксы *-vu/-pu*, *-va/-pa*, общеэскимосский личный суффикс *-ga/-ka* («мой») и ряд других по своей природе не могут получать удвоения согласных в их глухом варианте типа *-ffik*, *-ssiq*, *-ppu*, *-ppa*, *-kka*, если даже им и предшествует глухой согласный. Такой тип геминации согласных в работе Й. Ришела остается научно не обоснованным, поскольку исконная общеэскимосская структура отмеченных формантов с начальным глухим согласным артикуляционно остается идентичной этим же формантам с начальным звонким согласным, исключая различие в глухости—звонкости.

Совершенно необоснованными фонологически представляются удвоения согласных в таких общих для всех эскимосских диалектов словах, как *iɣniq* (*iɣnniq*) «сын», *utuqaq* (*utuqqaq*) «старый», *niɣivik* или азиат. *nĭɣvik* (*niɣɣivik*) «стол; место еды», а также в словах типа *tána* (*taanna*) «этот», *arturnarpuq* (*artturnnarpuq*) «затрудняться», *napaqut* (*nappaqqut*) «столбы» и т. д. И совсем уже непонятным представляется удвоение согласных в основе слова при образовании формы мн. числа, когда эта форма имеет присущий ей показатель числа *-t*, ср.: *nanuq* «белый медведь» > *nannut* мн. ч., *ukáliq* «заяц» > *ukállit* мн. ч. и др. В данном случае удвоение согласного основы слова никакого отношения не имеет к форме мн. числа, да и фонологически здесь не происходит количественного изменения звука! (так обстоит дело, например, в азиатских диалектах).

Более убедительные обоснования требуются также для выводов о «частом чередовании» гласных [a], [i] в финале основы. В приведенных для доказательств такого чередования гласных примерах [mamaqisuq] > [mamaqaaq], [ini-] > [inirssuwaq] > [inai] — в первом случае к основе [mamaq] «вкусный» присоединяются совершенно независимые деривативные форманты [-aaq] и [-isuq], поэтому ни о каком чередовании гласных [a], [i] здесь не может быть и речи; во втором случае в производных словах от основы [inĭ] «место, жилище» гласный [a] в слове [inai] получает чередование не с [i], а с редуцированным [ĭ] ([inĭ]), который не отмечается в гренландских диалектах в качестве независимого от [i] звука. Конечный же [i] в слове [inai] является показателем принадлежности предмета 3-му лицу мн. числа обладателя («их комната», а совсем не «его комната», как у Й. Ришела, II, § 2.2, стр. 237).

При установлении чередования гласных в процессе образования производных слов и их грамматических форм следует прежде всего учитывать фоноструктурный состав присоединяемых к производящей основе формантов, а в этом случае необходимо всестороннее знание грамматического строя языка. Это обстоятельство не всегда учитывается в работах фонологического типа.

В целом исследование Й. Ришела «Topics in West Greenlandic phonology» представляет собою обобщение важнейших фонологических правил западногренландского диалекта, на основе которых в дальнейшем может быть осуществлено сравнительное изучение фонологии общеэскимосского языка, понимаемого нами как гипотетическая основа всех современных эскимосско-алеутских языков и диалектов. Будем надеяться, что Й. Ришел в своих последующих исследованиях эскимосской фонологии выйдет за рамки западногренландского диалекта и обратится к данным других диалектов эскимосских подразделений inuit и jugĭt.

Г. А. Меновщиков

H. Berger. **Das Yasin-Burushaski (Werchikwar). Grammatik, Texte, Wörterbuch.** — Wiesbaden, 1974. XI + 228 стр.

Бурушаски — бесписьменный язык, на котором говорят около 40 тыс. человек в небольшом горном регионе в отрогах Каракорума на крайнем севере Индостана, давно привлекает к себе внимание лингвистов.

В структурно-типологическом плане он интересен прежде всего четырехклассной системой разбиения субстантивов, притяжательными префиксами лица и класса у имен органической принадлежности, префиксально-суффиксальным спряжением глагола (двухличным для переходного), эргативным построением предложений с переходными глаголами, вигезимальным словообразованием числительных и изменением их по классам и т. п. В фонологии обращает на себя внимание сложная консонантная система языка при сравнительно простом вокализме.

По некоторым характеристикам — фонологическим, морфолого-синтаксическим и лексическим — бурушаски можно отнести к так называемому гималайскому языковому союзу, включающему ряд смежных восточноиранских, дардских и индоарийских языков, а также отдельные языки тибетской группы и один дравидийский — брагуи.

Особый интерес исследователей вызывает неясность генетической принадлежности бурушаски. Предпринимались неоднократные попытки установления его связей с кавказскими, дравидийскими, мунда, баскским, нубийским и другими языками,— попытки, как правило, сводившиеся к сопоставлениям структурного и лексического характера. В последние годы появился ряд работ, сопоставляющих его с енисейскими языками, в частности с кетским [1]. Определение генетической принадлежности бурушаски в немалой степени затрудняется отсутствием письменных памятников, фиксирующих его более старое состояние, а также относительной близостью обоих его диалектов — собственно бурушаски и вершиквар,— ограничивающей глубину сравнительно-исторической реконструкции. Возможно, решению этой задачи в какой-то мере будут способствовать предпринимаемые в настоящее время отдельные попытки установления исконного облика непроизводных слов методом внутренней реконструкции.

Изучение этого интересного языка осложняется отсутствием достаточного объема самого языкового материала. Труднодоступность небольшой области его распространения привела к тому, что вот уже на протяжении нескольких десятилетий источником сведений о нем оставались лишь описания (с текстами и словарями) Д. Лоримера [2] и в меньшей степени (пропорционально объему материала) — И. И. Зарубина [3], базировавшиеся на собственных сборах авторов в 20 и 30-е годы.

Рецензируемая работа Г. Бергера — первая после многих лет перерыва, созданная на новом материале, который был собран автором в Ясине — месте распространения диалекта вершиквар. Она оказывается и первым большим монографическим описанием этого диалекта, поскольку работа И. И. Зарубина, при всей четкости дескриптивного анализа, основывалась на фрагментарном материале.

Во введении к книге даны краткие сведения о языке бурушаски и история изучения его диалектов (причем автор останавливается только на работах, содержавших новый материал). Здесь же указываются основные различия между диалектами вершиквар и бурушаски.

Раздел «Фонетика» (стр. 7—12) выдержан в фонологическом плане, в отличие от предыдущих трудов, где фонологический подход не мог быть последовательно осуществлен уже в силу недостаточности материала по диалекту вершиквар. Особое место автор уделяет месту ударения, имеющему фонологическую значимость, и вопросу о фонологичности долготы гласных. Он усматривает значимую долготу лишь в заимствованиях и на морфемных швах, где отмечаются «двойные гласные». В остальных случаях долгота рассматривается как фонологически нерелевантная. Детально рассмотрены в этом разделе и позиционная вариативность звучания гласных и случаи их свободного варьирования.

Консонантная система вершиквар анализируется последовательно по локальным рядам и способу артикуляции. Здесь устанавливается, в частности, отсутствие оппозиции смычных/щелевых (среди звонких) и функционирование оппозиции аспирированности/неаспирированности глухих не во всех рядах (аффрикаты *č*, *ć*, *ç* и увулярный *q* этой оппозиции не имеют: им противостоят щелевые *s*, *ś*, *ş* и *x* соответственно). Отдельно излагаются прави-

[1] Из последних работ см., например: А. П. Дульзон, Кетский язык, Томск, 1968, стр. 582—583; V. N. Toporov, Burushaski and Yenisian languages: some parallels, «Travaux linguistiques de Prague», 4, 1971.

[2] Основные труды: D. L. R. Lorimer, The Burushaski language, I — Introduction and grammar, with preface by G. Morgenstierne, Oslo, 1935; II — Texts and translations, Oslo, 1935; III — Vocabularies and index, Oslo, 1938; его же, Werchikwar-English vocabulary, Oslo, 1962.

[3] И. И. Зарубин, Вершикское наречие канджутского языка, «Записки Коллегии востоковедов», II, 2, Л., 1927.

ла сочетаемости фонем, их наиболее ярко выраженные позиционные варианты и т. п.

Все это описание, построенное по принципу — от представления фонологической системы к ее конкретным фонетическим репрезентантам — выгодно отличает работу Г. Бергера от обильного материалом, но слабо систематизированного описания диалекта бурушаски Д. Лоримера.

Раздел «Морфология» (стр. 13—51) рассматривает последовательно имена (с относящимися к ним служебными элементами) и глагол.

Отметив в самом начале отсутствие формального противопоставления между прилагательным и существительным, автор объединяет соответствующие лексемы в единую категорию имени. Далее здесь анализируется четырехклассная система имен: I класс — мужчин, II — женщин, III — всех животных, субстанций в форме кусков или исчисляемых единичных предметов, камней, кусков дерева (и отсюда — изготовленных из них предметов), IV класс — жидкостей, сыпучих тел, рогов, огня, абстрактных понятий и нематериальных явлений и процессов, таких, как речь, сон и т. п. Вслед за Д. Лоримером Г. Бергер обозначает эти классы соответственно символами hm, hf, x, y, а также выделяет V класс — z, объединяющий только числительные абстрактного (т. е. не связанного с именами какого-либо из четырех классов) ряда, употребляемого при назывании словарной формы числительных или при абстрактном счете. Здесь же четко сформулировано положение о том, что классная принадлежность каждого имени не получает формального выражения в его основе. Она выявляется по его оформлению определенными показателями мн. числа и по его соотнесенности с соответствующими формами глагола, местоимения и числительного, несущими классные показатели.

Следует заметить в связи с этим, что правомерность вычленения числительных абстрактного ряда в особый V, или z-класс очень спорна. Числительные по семантическому признаку не могут быть поставлены в один ряд с именами-субстантивами, составляющими первые четыре класса. С формальной точки зрения абстрактный ряд числительных является не особой классной группой имен, а лишь одним из компонентов словоизменительной (по классам) парадигмы числительных, а именно — исходным, или «нулевым» компонентом, в отличие от их других рядов, несущих показатели классной принадлежности, точно так же, как, скажем, не выделяются в отдельный z-класс неизменяемые по классам имена субстанций и качеств в отличие от других, имеющих классные показатели (типа *čiki* «маленький» в отличие от *-nyĭ* «большой» или *doro* работа, дело» в отличие от *-duru* то же, «*ũmal* «ухо » в отличие от *-ltũmal* то же). Кроме того, классная принадлежность числительных абстрактного ряда не выявляется, как у имен, из сочетаемости с морфологическими показателями множественности и из соотнесенности с соответствующими классными показателями в глаголе или местоимениях. Следовательно, уместнее было бы говорить о числительных абстрактного ряда как о z-компоненте словоизменительной парадигмы числительных, но не как об особом семантическом z-классе.

Далее в работе приводится перечень большой совокупности показателей мн. числа и вскрывается принадлежность каждого из них определенной (обычно — семантически единой) группе субстантивов.

Следует остановиться на авторской интерпретации передачи синтаксических отношений имен служебными элементами. И в опубликованных до книги Г. Бергера трудах трактовка этого материала была весьма различной. Наличие в языке большого количества постпозитивных показателей — ударных, сохраняющих в большей или меньшей степени первоначальное (чаще всего пространственное) значение, и безударных, имеющих довольно широкий круг значений,— создает возможность их рааличной морфологической интерпретации, что при неодинаковом субъективном подходе исследователей реализовалось в виде различных систем. В одних работах синтаксические отношения имен описывались как выражаемые двухпадежной (для II класса — трехпадежной) парадигмой склонения, дополняемой большим количеством послелогов двух категорий («ближней», т. е. безударной с широким кругом значений, и «дальней» — ударной с конкретными значениями). В других эта система представлялась как многопадежная с большим количеством разных падежей локативной семантики. Г. Бергер избирает компромиссный путь: безударные показатели он относит к падежным формантам, ударные — к послелогам. С одной стороны, это дало возможность четко разграничить показатели разного типа. С другой стороны, это вызвало определенные неудобства в трактовке словоизменения имени. Во-первых, при довольно значительном числе таких «падежей» (показателей «ближнего» ряда насчитывается более десятка) бросается в глаза отсутствие четкого разграничения функций между ними: например, одно и то же значение «генитива» (в терминологии Г. Бергера) может быть выражено именем как без показателей, так и с суффиксом *-e*. Во-вторых, эти показатели могут сочетаться друг с другом (например, *-či* + *-um*, *-ule* + *-um*, *-če* + *-a*, *-če* + *-um*, *-yate* + *-a*), что еще больше усложняет парадигму. В-третьих, не все имена могут принимать тот или иной показатель, что делает парадигму многих из них дефектной. Очевидно, понимая эти недостатки предложенной им схемы, ав-

тор нигде не приводит парадигмы именного склонения, а излагает материал, отталкиваясь от показателей, постоянно приводя их с пояснениями типа: «*-a* (после согласных), *-ya* (после гласных) соответствует дативу европейских языков» (стр. 21) или «*-ит* обозначает общий аблатив...» (там же), «*-iya* означает „вместе с"» (стр. 22) и т. д.

Описание послелогов строится таким же методом перечисления, лишь с указанием наречий и имен, с которыми они связаны этимологически.

Анализируя в разделе «Местоимения» систему личных и классных префиксов, являющихся показателями принадлежности в именах и субъекта (для непереходных) и объекта (для переходных) в глаголах, Г. Бергер вычленяет в них два ряда. Этим предложенная им схема выгодно отличается от схемы Д. Лоримера, в которой при постулации единой серии префиксов основа некоторых имен и глаголов как бы сохраняла более старую форму с начальным *-ʌ-*, и от схемы И. И. Зарубина, где, хотя различаются два вида префиксов, они приводятся как варианты, без сформулированного правила их употребления.

Анализ глагольной системы дан Г. Бергером очень детально и ясно. Четко определены функции элементов, образующих глагольные формы, наглядно представлена система финитных форм и перифрастических образований, распределение между ними значений. Раздел завершают хорошо подобранные глагольные парадигмы (стр. 45—51). Единственное замечание, которое можно сделать по этому разделу, носит терминологический характер: в начале раздела автор выделяет в глаголе шесть лиц, имея в виду по три лица в ед. и мн. числе (стр. 28). Это едва ли корректно, поскольку личные формы (в отличие от классных, на которые в свою очередь делятся формы 3-го лица) подразумевают соотнесение действия с говорящим (или группой, в которую он входит), собеседником (или его группой) и тем, что к этим двум категориям не относится. Поскольку категория числа не меняет этой соотнесенности, и для вершиквар следует говорить о трех лицах в обоих числах.

Последние параграфы грамматического описания посвящены словообразованию имени и глагола, а также кратким сведениям о синтаксисе.

Далее следуют тексты с переводом и примечаниями (стр. 57—123) — первое в таком объеме собрание текстов на вершиквар; словарь (стр. 125—189) и индекс к словарю (стр. 191—228). В словаре, помимо переводов, сообщаются основные грамматические сведения (указание на класс и показатели мн. числа у имен, тип местоименных префиксов и основы у глаголов, а также другие пометы). Для заимствований здесь же указывается язык-источник. В целом такие пометы этимологического характера особенно интересны для бурушаски, контактирующего со столь различными языками, как кховар и шина (дардские), ваханский (иранский) и урду (индоарийский). Однако такая система помет обязывает автора, во избежание ошибки в определении источника заимствования, к всестороннему учету фонетического облика, круга значений и времени, когда слово могло войти в язык. К сожалению, автору это не всегда удается.

Известно, что язык урду, вобравший в себя большие пласты иранской и арабской лексики, начал воздействовать на бурушаски сравнительно недавно и в основном через официальные и культурные каналы (до образования Пакистана это влияние, если существовало, то было минимальным). В то же время древние контакты бурушаски, и прежде всего диалекта вершиквар, с языками кховар и особенно ваханским, а также экономические связи, существовавшие между Ясином, Хунзой и Южным Памиром, способствовали проникновению в бурушаски широкого фонда слов не только из дардских и памирских языков, но и — через последние и непосредственно — из таджикского (в его бадахшанской разновидности), который издавна играл на Памире роль lingua franca. Через него же проникала на Памир и далее на юг и арабская лексика, связанная с исламом и его культурой. Таким образом, сходные лексемы — персидские, таджикские и арабские — могли проникать в бурушаски и с севера, и с юга, и для определения пути заимствования необходим очень осторожный и тщательный анализ.

Г. Бергер снабжает пометой и. «урду» практически почти все слова, имеющие персидский или таджикский облик (в том числе и заимствованные из арабского), в то время как многие явно происходят с севера, из памирского региона, например, из таджикского (в ряде случаев через посредничество памирских языков). К ним относятся, например, отличные от урду по звучанию *draxt* «дерево» (урду *daraxt* [4]) с характерным для памирских языков факультативным употреблением вставных *i*, *ə* в древней группе *dr-*; *γarbel* (у Лоримера также *γalbēr*) «сито», ср. тадж. *γalber*, вошедшее практически во все памирские языки, при *γirbāl* в урду (ср. легенду бурушаски о затоплении селения, где фигурирует сито старушки, известную и на Памире); *xismát* «служба, служение», ср. тадж. (из араб.) *xizmot* при урду *xidmat*; *sail* «прогулка», ср. употребительное в памирских языках и

[4] Здесь и далее материал языка урду приводится в соответствии с «Урду-русским словарем» (составители: С. В. Бирюлев, Ю. Н. Виноградов, А. В. Ефимова, Б. И. Клюев), под ред. Зоэ Ансари, М., 1964.

таджикских говорах Бадахшана *sayl* при урду *sêir* (из араб.). Источник некоторых лексем, не всегда различимых в таджикском и урду (из персидского) фонетически, определяется по семантике. Так, *aiždahár* «дракон» (в которого, по поверью, может превратиться змея) соответствует слову аналогичного значения и сходного звучания практически по всему Памиру, в то время как в урду *ažđar* и *ažđahā* обычно означает «удав, питон»; *jandar* в значении «вещь» (в отличие от *janwar* «животное, зверь», оба из таджикского) не характерно для урду, но встречается в памирских языках; *qašqá* «белое пятно на лбу лошади» (дано с пометой «кховар < урду») употребляется с этим значением в таджикском и памирских, в урду обычно — «религиозный знак на лбу у индусов».

Те же замечания можно высказать и в адрес некоторых других помет. Так, *qurút* «катышки вываренного и высушенного пахтанья» связывается с монгольским *xurut*, однако именно фонетический облик *qurut* (из тюркских) характерен для таджикского и памирских языков.

Из слов, данных в словаре без пометы, некоторые также оказываются заимствованиями, например, из таджикского (возможно, через посредников): *ćaká* «продукт из кислого молока» (ср. тадж. *ćakka* «густое откинутое кислое молоко»), *miraxor* «конюх», *zayerí* «масляный» (ср. тадж. *zayír* «лен», который широко использовался прежде как масличная культура, откуда *rawγáni zayír* «льняное масло») и др., из арабского (через посредников): *manzil* «пристанище, гостиница», *wasíta* «родство».

Отдельные лексемы, в основном культурного фонда, имеют более сложную историю, чем та, которую можно представить себе на основании помет в словаре. Так, *γupás* «хлопок» (с пометой «~ кховар, перс., тюрк. и т. д.») является старым заимствованием (возможно, через посредников) из какого-то среднеиндийского языка (ср. пали *kappāsa* < др.-инд. *karpāsa-*) и распространено во многих языках (вплоть до яванского), в том числе и в памирских (ср. язг. *ḱəbes*, шугн. *čipōs*, вах. *kəbos*), и в индоарийских (ср. маратхи *kāpūs*, непали *kapās*); *tak* «застежка на платье» (с пометой «шина, кховар») имеет широкий ареал бытования и, по-видимому, означало первоначально «шнуровка-завязка у воротника одежды старинного покроя» (ср. язг. *tak°* «завязка у ворота женского платья старого покроя», шугн. *tāk* «завязка на халате; воротник; лацкан», сар. *tok* «пуговица, кнопка», вах. *tak* то же, тадж. *yak-tak* «рубашка старинного покроя», курд. *tog* «бечевка»).

Все эти замечания, однако, относятся к этимологическим пометам, которые для работы чисто синхронного направления не являются существенными.

В целом работа Г. Бергера является несомненным шагом вперед в изучении языка бурушаски. Опираясь на большой новый материал, собранный на месте распространения языка, и используя достижения своих предшественников, автор построил весьма полное и достаточно современное описание этого языка.

Д. И. Эдельман

К. З. Чокаев. **Морфология чеченского языка. Словообразование частей речи.** ч. I — Словосложение. — Грозный, Чечено-ингушск. книжн. изд-во, 1968. 228 стр.; ч. II — Аффиксация, 1970. 150 стр.

В нахскую подгруппу иберийско-кавказских языков принято относить бацбийский, чеченский и ингушский языки, первый из которых бесписьменный, а последние — младописьменные. Чеченский литературный язык сформировался в Советскую эпоху. В настоящее время он изучается как предмет в национальных школах, на нем издается художественная (оригинальная и переводная), общественно-политическая, научно-популярная литература, выходят газеты, ведутся радио- и телепередачи, он — язык национального театра.

В связи с растущей потребностью в нормировании чеченского литературного языка разработка вопросов теоретической грамматики приобретает в настоящее время особую актуальность. Отдельными вопросами словообразования в чеченском языке занимались многие исследователи [1] Эта проблема в высшей степени трудоемкая и содержит в себе целый комплекс взаимосвязанных вопросов структуры не только словообразовательной системы чеченского литературного языка, но и ее морфологического типа в целом.

Рецензируемая работа написана на основе лингвистического анализа языкового материала произведений оригинальной чеченской художественной литературы и фольклора. Лишь некоторый топонимический материал представлен в местном произношении (с указанием диалекта или говора чеченского языка). Вместе с тем автор широко привлекает данные родст-

[1] См. библиографию в кояце I (стр. 223—225) и II (стр. 148—151) частей рецензируемой монографии.

венных языков (например, бацбийского и ингушского). Следует отметить, что богатейший и редкий языковой материал, впервые введенный автором работы в научный оборот, и сам по себе представляет большую ценность.

Монография К. З. Чокаева издана в двух книгах, представляющих собой две равноправные ее части, которые автор выделяет, исходя из основных способов чеченского словообразования: «Словосложение» (ч. I); «Аффиксация» (ч. II). Обе части объединены общим названием — «Морфология чеченского языка. Словообразование частей речи». Такое объединение логично и обусловлено самим подходом автора к рассматриваемой проблеме: «... мы вполне разделяем господствующее в советском языкознании мнение, согласно которому словообразование рассматривается в морфологии по соответствующим частям речи» (ч. I, стр. 3). И далее автор уточняет, что «форма словопроизводства, являясь носителем лексического значения, служит для пополнения словарного фонда языка, тогда как формы словоизменения, являясь средством выражения грамматических отношений между словами, включаются в сферу грамматики» (ч. II, стр. 6).

Рецензируемая работа изложена в 17 главах, 12 из которых даются в первой книге, а 5 — во второй. Первая книга содержит два больших раздела: первый — «Некоторые вопросы словосложения в нахских языках» — состоит из двух глав (I, II) и семи параграфов (1—7); второй — «Фонетико-грамматическая структура слова и словообразование» — из десяти глав (III—XII) и тридцати параграфов (8—37).

Первая часть (первая книга) монографии К. З. Чокаева посвящена рассмотрению словосложения в частях речи чеченского языка.

«Правописание сложных слов, как отмечал Ю. Д. Дешериев, наиболее слабый раздел орфографии чеченского и ингушского языков. Отсутствие научно установленных критериев для различения сложных слов и соответствующих синтаксических словосочетаний, с одной стороны, фразеологизмов и сложных слов, с другой,— вот основные причины разнобоя в орфографии сложных слов. Особенно часты ошибки в написании композитов, компоненты которых не подверглись фонетической деформации. Проблема правописания чечено-ингушских сложений почти всегда является предметом бурных дискуссий на совещаниях, посвященных вопросам орфографии, но удовлетворительного разрешения этот вопрос еще не получил, да и не мог получить, поскольку раздел словосложения нахских языков не был научно разработан» (ч. I, стр. 16—17).

Научная разработка актуальных вопросов словосложения чеченского (и ингушского) литературного языка имеет не только практическое, но и теоретическое значение. Известно, что одной из нерешенных проблем языкознания является вопрос соотношения словосочетания и сложного слова. К решению этого вопроса исследователи подходят по-разному, в зависимости от специфики и грамматической структуры языка. В. В. Виноградов, А. И. Смирницкий и др. считали основным признаком сложного слова во всех языках «его внешнюю фонетико-морфологическую цельнооформленность при разнооформленности словосочетания» (там же, стр. 18). Развивая эти идеи, автор, однако, отмечает, что к решению вопроса о цельнооформленности композитов надо подходить дифференцированно. Так, например, в нахских, «как и в других иберийско-кавказских языках, с их аморфным характером, проявляющимся в некоторых типах словосочетания, вопрос о цельнооформленности решить гораздо труднее» (там же).

Правильная методологическая постановка проблемы позволила автору решить стоявшие перед ним задачи на высоком научном уровне. В данной работе впервые обстоятельно рассмотрены проблемы: 1) установление критериев разграничения композитов от соответствующих словосочетаний разных типов с учетом специфики структуры нахских языков; 2) выявление структуры и словообразовательной системы, отношения между их компонентами, особенностей композитов, их распространенности и продуктивности и 3) научное обоснование правописания композитов. Не менее удачно поставлены и решены и более частные вопросы, органически связанные с перечисленными выше.

Исходя из общепринятой в лингвистической литературе классификации сложных слов по синтаксическим признакам, автор выделяет два основных типа сложных слов в современных нахских языках: подчинительные (определительные) и сочинительные сложные слова. К первым относятся сложные слова подчинительного типа: *къора* «глухой», *кхокха* «голубь»—*къор(а)-кхокха* «горлинка» («глухой голубь»), ко вторым — сложные слова сочинительного типа: *уьстагI-газа* «мелкий рогатый скот» («овца-коза»).

Основным критерием, отличающим сложное слово от соответствующего словосочетания, автор считает цельнооформленность первого при разнооформленности второго. Цельнооформленность сложного слова выражается семантически — монолитностью значения, фонетически — одним ударением, морфологически — наличием одного материального показателя в исходе его компонента, синтаксически — его вступлением в синтаксическую связь с другими словами как одно целое слово (член предложения и т. п.).

Словосочетание, в отличие от сложного

слова (композита), этими свойствами не обладает: оно не монолитно семантически (его составляющие отличаются самостоятельными значениями), фонетически имеет два ударения, его составляющие обладают двумя морфологическими показателями, каждый его составляющий вступает в синтаксическую связь с другими словами (членами предложения и т. п.).

Например: *Iаьржхьач* «чернослив» («черная слива») —*Iаьржа котам* «черная курица»; *мерзчIара* «налим» («сладкая рыба») — *мерза Iаж* «сладкое яблоко».

В работе приведены также критерии разграничения устойчивого словосочетания и композита. Отмечены также и другие отличительные признаки устойчивого словосочетания и фразеологизмов от композита (экспрессивная направленность, многокомпонентность и др.), ср.: *цергков* «щербина на месте выпавшего зуба» — *цергийн лор* «зубной врач», *цIекхаба* «соблюдать табу на имя» («держать имя») — *цIе йожа кху белхан* «Да пропади она пропадом» [«имя упади у этой работы (дела)»].

При этом отмечаются случаи, когда трудно определить отнесенность той или иной языковой единицы к композиту или к устойчивому сочетанию.

Как положительное явление следует отметить, что при определении критериев разграничения композитов и словосочетаний на фонетическом уровне автором были использованы результаты исследований, проведенных им в лаборатории экспериментальной фонетики Института языкознания АН ГрузССР.

Рамки журнальной рецензии не позволяют подробно раскрыть всю новизну полной оригинальных выводов и тонких наблюдений монографии К. З. Чокаева, которую было бы целесообразно переиздать одной книгой (правда, с некоторой перестройкой в композиции: с разделением диахронного и синхронного анализа и с углублением первого). Приведем некоторые из этих выводов. Так, например, слово *дуог* «сердце» может сочетаться как с именем (существительным, прилагательным), так и с глаголом. Ср.: *дегайовхо* «надежда» («сердца тепло»), *йовхо* «тепло»; *догIаьржа* «завистливый, злопамятный» («сердце черное»), *Iаьржа* «черный (-ое, -ая)» (ср. *также догцIека* «чистосердечный»); *догдаха* «надеяться» («сердце говорить»); *догкхиа* «понять сердцем («сердце успеть») и др. Наибольшую продуктивность слово *дуог* проявляет в образовании сложных глаголов. Это преимущественно глаголы со значением «чувственного восприятия». То же самое можно сказать и в отношении слова *са* «душа», которое сочетается как с именами (прилагательным и существительным), так и с глаголами, образуя сложные глаголы со значением «чувственного восприятия»: *сада'з* «надоедать» («душа есть»), *сатоха* «стерпеть» («душа ударить») и т. д. Слово *ка* «рука; хватка» служит в основном первым компонентом сложных глаголов с переходным значением; ср.: *катоха* «ударить рукой» (кого, что-нибудь), «схватить». Таким образом, одни и те же имена существительные служат первыми компонентами как имен, так и глаголов. Однако глагольная основа в чистом виде не выступает компонентом сложного имени. Основы числительных и местоимений служат в основном компонентами (как первыми, так и вторыми) сложных числительных и местоимений; ср.: *шийтта* «двенадцать» (от *шиъ* «два», *итт* «десять»); *хIара-ша* «этот-сам» (*хIара* «этот», *ша* «сам») и др.

Сфера употребления аффиксов также разграничена. Так, например, приставки (превербы) употребляются лишь в сфере глагола: *тIетоха* «ударить на...», *кIелтаса* «бросить под...». Суффиксы лиц *-хуо*, *-ча*, *-луо*, *-руо*, *-уо* функционируют в сфере имени существительного, образуя названия лиц в основном от основ имени существительного, редко — от основы прилагательного и глагола. Ср.: названия лиц от основ имен существительных: *юрт* «село» — *юьртахуо* «сельский житель»; *пондар* «гармонь» — *пондарча* «гармонист»; *дош* «слово» — *дешалуо* «оратор»; *лам* «гора» — *ламаруо* «горец»; *Эрсана* (назв. села) — *эрсануо* «эрсановец» и т. д.; ср. также образования от основ глагола и прилагательного: *вахар* «житие» — *вахархуо* «житель», *майра* «смелый» — *майрахуо* «смельчак» и т. д. Таким образом, каждая группа композитов входит в определенную семантическую группу слов, с которой связаны специализированные словообразовательные аффиксы.

Вторая часть (вторая книга) монографии К. З. Чокаева посвящена аффиксации в знаменательных частях речи (существительных, прилагательных, числительных, глаголах и наречиях) в чеченском литературном языке, систематически (где это возможно) приводятся параллели из ингушского и бацбийского языков.

Наряду с другими вопросами для современных нахских языков важным является вопрос о продуктивности словообразовательных форм. «Продуктивность,— пишет автор,— понятие историческое, и с этой точки зрения очень важно отметить существенное различие между понятиями продуктивности и распространенности словообразовательных форм. Под продуктивностью мы понимаем способность аффиксов производить новые слова» (ч. II, стр. 11). Однако, как отмечает автор, большое распространение аффикса не тождественно продуктивности, а указывает на его былую продуктивность. В зависимости от разных факторов в разные эпохи развития языка один и тот же аффиксальный элемент

может выступать по-разному. Например, «наличие многочисленных опрощенных форм с суффиксом *уо-//-ов* указывает на былую продуктивность последнего. Вот эти формы: *белгIат-уо* „белгатоевец" от *БелгIата* (село), *эрсан-уо* „эрсаноевец" от *Эрсана* (село), *шуот-уо* „шатоевец" от *Шуьйта* (село) и др. В настоящее время суффикс этот непродуктивен и новых слов не производит. То же можно сказать и о суффиксах *-луо*, *-руо* и некоторых других... Одним из важных внешних факторов, которые влияют на продуктивность аффикса, является практическая жизнь носителей языка, вызывающая потребность в производстве слов того или иного типа» (там же, стр. 11).

В I главе — «Суффиксальное словообразование имен существительных» — представлено подробное описание каждого суффикса с указанием степени его продуктивности или непродуктивности. Дается первая и удачная классификация словообразовательных суффиксов, исходящая из значений, которые эти суффиксы вместе с производящими основами образуют в производных словах. Приведем примеры.

1. Названия лиц. Суфф.- *хуо*: 1) по профессии и роду занятий: *никъ* «путь», *некъа + хуо* «путник»; *кхиел* «приговор», *кхиэла+хуо* «судья»; 2) по родству и свойству: *да* «отец», *де+хуо* «родственник» (по отцовской линии), *нана* «мать», *нена+хуо* «родственник» (по материнской линии); *дуоьзал* (*диэзал*) «семья», *дуоьзал* (*диэзал*)+*хуо* «член семьи, дитя»; 3) по социальному положению: *хьал* «богатство», *хьола+хуо* «богач»; *къиэ* «бедный», *къиэ+хуо* «бедняк»; 4) по качеству характера: *жигара* «активный», *жигар+хуо* «активист»; 5) по физическому состоянию: *дар* «открытая рана», *дар+хуо* «раненый»; *лазар* «боль», *лазар +хуо* «больной»; 6) по месту жительства: *лам* «гора», *лам-ан+хуо* «горец»; *Шела* «Шали», *шела+хуо* «шалинец»; 7) по национальности: *ЖIай* «Авария», *жIай+хуо* «аварец»; 8) по роду занятий: суфф. *-луо*: *тIуом* «война», *тIема+луо* «воин»; *гIаш* «шаги», *гIаш+луо* «пехотинец» и т. д.; 9) по совокупности: суфф.-*гIар*: *Якъуб* «Якуб», *Якъуб+гIар* «Якубовы с родственниками; Якуб со своими родственниками».

2. Названия абстрактных понятий и предметов. 1) названия качества и цвета: суфф. *-лла*: *кIай* «белый», *кIай+лла* «белизна»; *стаг* «мужчина», *стага + лла* «мужество» и т. д.; 2) названия, обозначающие пространство или время: суфф. *-иэ*: *лакх* «верх» *лакх+иэ* «высота»; *аьхка* «лето», *аьхк +иэ* «летом» и т. д.; 3) отглагольные имена возможности действия: суфф. *-ла*: *дуоьшу* «читать», *дуоьший+ла* «возможность читать»; 4) масдарные существительные: суфф. *-р*: *ха'а!* «знай!», *ха'а+р* «знание» и т. д.; 5) отглагольные существительные: суфф. *-м*: *ха'а!* «знай!», *ха'а+м* «сообщение»; *ла'а!* «желай!», *ла'а+м* «желание» и т. д.; 6) существительные с предметно-вещественным значением: суфф.-*гIа*: *сискал* «кукурузный чурек», *сискал+гIа* «кукурузная мука»; *даьтта* «масло», *даьтта +гIа* «смесь толокна со шкварками» и т. д.

3. Образование слов с эмоциональной окраской. 1) названия предметов с уменьшительным и пренебрежительным значением: суфф. *-г*: *цIа* «дом», *цIели+г* «домик»; *сара* «прут», *сара+г* «прутик»; *чкъуор* «кора», *чкъуьйри+г* «корочка» и т. д.; 2) названия лиц и животных с оттенком ласкательности: суфф.- *ши*: *Хьава* «Хава», *Хьава+ши*; суфф. *-и*, *-ни*: *Хьасан* «Хасан», *Хьасан+и*; *Iали* «Али», *Iали + ни* и т. д.; суфф. *-ша/-ча* (инг. *-аш*, *-ча*): *бекъа* (инг. *бекъ*) «жеребенок», *бокъа+ша* (инг. *бокъ+аш*); *йиэтт* (инг. *йиэтт*) «корова», *йит+ша* (инг. *йи+ча*) и т. д. Автор отмечает продуктивность суффиксов «ласкательности» в ингушском языке и их непродуктивность в чеченском.

Следующие четыре главы второй части монографии посвящены изучению словообразовательной структуры имен прилагательных, числительных, наречий и глаголов посредством аффиксов.

Во II главе — «Суффиксальное словообразование имен прилагательных» — автором приводятся суффиксы, подробно описывается их словообразовательная функция, показывается степень продуктивности и структура тех или иных словообразовательных моделей. Отмечается, что как качественные, так и относительные прилагательные производны, главным образом, от основ имен существительных; ср. чечен. *мас* «волос» — *месала* «волосатый»; *мах* «цена» — *мехала* «ценный» и др. Лишь некоторые разряды относительных прилагательных образуются от наречий: чечен. *кхана* «завтра» — *кханалера* «завтрашний»; *тахана* «сегодня» — *таханалера* «сегодняшний» и др. Примечательной особенностью данной главы является критерий разграничения имени существительного и относительного прилагательного.

В III главе — «Суффиксальное словообразование имен числительных» — автор показал образование различными способами разных форм числительных. При помощи суфф. *-лгIа* (ср. чеб. *-лагIа*, шат. *-логIа*), *-злагIа* от основ количественных числительных образуются порядковые, кратные и кратно-порядковые числительные, например: чечен. *шиъ* «два» — *шолгIа* (ср. шат. *шологIа*) «второй»; *диъ* «четыре» — *доъалгIа* «четырежды» и т. д.

IV глава — «Суффиксальное словообразование наречий» — отличается новизной диалектного материала, особенно по словопроизводству наречий суффиксальным способом (наречия места, цели, образа) от основ местоимений и имен су-

ществительных: например, чечен. *хар* «след» — *хорах* «следом (идти)»; *хIуьттарие* «зло» — *хIуьттаренна* «назло» и др.

В V главе — «Аффиксальное словообразование глаголов» — дан анализ образования глаголов при помощи превербов и сделана попытка решить такие вопросы, которые имеют как научное, так и практическое значение: 1) соотношение превербов и суффиксов, с одной стороны; превербов и первых компонентов сложных глаголов — с другой, и 2) классификация превербов по их значению.

Большой удачей следует считать факт установления автором четкой сферы использования превербов, а именно: (исключительно) в производстве глаголов. В то же время суффиксация, свойственная именам, не имеет сколько-нибудь значительного распространения в сфере глагольного словообразования. По мнению автора, превербы, присоединяясь к глагольной основе, не производят новые лексические единицы, а придают значению действия, заключенному в производящей основе, значение того или иного направления (откуда? куда?) или же указания на место (где?), поэтому вопрос о широте терминов «словообразовательный суффикс», «словообразовательный префикс» (или «преверб»), на наш взгляд, нуждается в уточнении. Ср. *дIатоха* «ударить туда», но *схьатоха* «ударить сюда» и т. п. Достоинством этой главы является широкое привлечение материала ингушского языка и сопоставление его с чеченским.

Критические замечания и пожелания, возникшие при чтении книги, немногочисленны: следует отметить, что в работе встречаются некоторые повторы (ч. I, стр. 17, 50 и др.), разнобой в употреблении отдельных терминов (ч. I, стр. 30, 71, 85) и стилистические шероховатости.

Заканчивая рецензию на интересную и полезную работу К. З. Чокаева, хочется еще раз подчеркнуть, что монография написана на высоком научном уровне и является большим достижением в нахском языкознании. Рецензируемая монография несомненно представит интерес для специалистов как иберийско-кавказских языков, так и общего языкознания.

Я. Г. Сулейманов

«Адыгейско-русский словарь», сост. Х. Д. Водождоков, У. С. Зекох, К. Х. Меретуков, Ю. А. Мухамеджанов, Ю. А. Ткаркахо, Т. Ц. Хагундокова, под ред. Ж. А. Шаова. — Майкоп, 1975. 440 стр.

За последние десятилетия адыгейская лексикографическая наука достигла значительных успехов. Вышел в свет ряд лексикографических работ, явившихся заметным вкладом в адыгейское языкознание [1].

Вместе с тем в области адыгейской лексикографии предстоит еще сделать многое. К очередным и актуальным задачам адыгейской лексикографии относятся создание новых типов словарей (отраслевых, топонимических, сравнительных, исторических и т. д.) и, что главное, разработка теоретических вопросов адыгейской лексикографии, имеющих важное значение для ее дальнейшего развития. Не является секретом то, что многие теоретические вопросы адыгской (адыгейской и кабардинской) лексикографии до сих пор остаются не решенными. Многие же из них в существующих адыгейских и кабардинских лексикографических трудах решаются по-разному, иногда весьма условно, противоречиво и непоследовательно. Это касается прежде всего вопроса о том, что включать или не включать в тот или иной тип словаря. Этот важный вопрос в силу определенных обстоятельств в адыгской лексикографии до сих пор не решен. Исключительное своеобразие глагольной словоформы, неопределенность ее толкования в литературе, неясность и условность в разграничении так называемых словарных и несловарных форм адыгского глагола (и не только глагола) отрицательно сказываются на практике лексикографической работы. Остается не решенной в адыгской теоретической лексикографии и проблема слова, его критериев и признаков, отграничивающих его от смежных языковых единиц, что также во многом порождает непоследовательность при составлении словарей. Указанные (и многие неуказанные) трудности обусловлены состоянием адыгской теоретической лексикографии (шире — лингвистики). Здесь (в лексикографии) успехи в практической работе (в собирании и систематизации материалов) значительно опережают теоретическую работу. Справедливости ради, однако, заметим, что некоторые узловые вопросы, связанные с практикой составления разных типов словарей (например, разграничение слова и словосочетания, выбор словарной единицы и др.)

[1] «Русско-адыгейский словарь», М., 1960; «Толковый словарь адыгейского языка», сост. А. А. Хатановым и З. И. Керашевой, Майкоп, 1960; «Адыгейский орфографический словарь», сост. У. Зекохом, Ю. Мухамеджановым, Х. Водождоковым, Майкоп, 1968; Ю. Ткаркахо, Краткий словарь адыгейских синонимов, Майкоп, 1969.

не получили еще однозначного решения в советском языкознании.

При создании новых словарей адыгских языков необходимо обратить больше внимания на устранение непоследовательностей и явных ошибок не только в подаче материала, но и в определении самой единицы для разных типов словарей.

Приступая к характеристике рецензируемого словаря, следует сразу же подчеркнуть, что он является новым шагом в адыгейской лексикографии. На данном этапе развития молодой адыгейской лексикографической науки словарь отвечает требованиям, предъявляемым к подобным двуязычным словарям, где ведущим материалом является один из младописьменных языков народов СССР.

Составители словаря проделали большую работу: они собрали и обработали богатый и разнообразный лексический материал, стремясь «по возможности полнее охватить активный словарный состав адыгейского языка. Словарь содержит около 20 тыс. слов» (стр. 8). Составители стоят на объективной точке зрения: лексика литературного языка не ограничивается лексикой опорного диалекта, а непрерывно обогащается за счет элементов разговорной речи и различных диалектизмов.

Словарь включает значительное количество иллюстративного материала в виде отдельных словосочетаний, предложений, фразеологических единиц, а также пословиц и поговорок, отражающих специфику и богатство адыгейского языка. Значение слова раскрывается во многих случаях в словосочетании или предложении, что дает возможность воспринимать его (слово) «в действии», т. е. в речи, в контексте.

Необходимость систематизации большого лексического материала поставила перед лексикографами ряд вопросов теоретического порядка. Некоторые из них были ими успешно решены. Так, в словаре проведено разграничение переходных и непереходных глаголов, решен принцип подачи различных частей речи, собирательных, мосдарных форм и т. д.

В целом рецензируемый словарь явится весьма полезным пособием для широкого круга читателей — учителей, учащихся, работников культуры, для всех, кто интересуется живым словом родного языка.

Вместе с тем «Адыгейско-русский словарь» не лишен недостатков и упущений. Недостатки словаря могут быть разделены на две группы. К первой группе относятся недостатки, связанные с состоянием разработки теоретических основ адыгейской лексикографии. Например, какие явления и категориальные формы должны быть рассмотрены как самостоятельные единицы или слова, подлежащие включению в словарь? Какие двухкомпонентные (или многокомпонентные) именные образования являются сложными словами и словарными единицами, а какие — словосочетаниями (несловарными единицами, т. е. синтаксическими явлениями)? Эти (и многие другие) вопросы, имеющие прямое отношение к практике лексикографической работы, остаются пока в стороне при составлении словарей в Адыгее и Кабарде. Не все эти вопросы решены и в рецензируемом словаре. Ко второй группе относятся недостатки более конкретного характера.

Среди специалистов давно вызывает споры и разногласия вопрос о словарной форме многосложных слов типа *уан(э)* «седло», *джан(э)* «рубашка», *мацI(э)* «саранча», *мыл(ы)* «след», *дыд(ы)* «шило», *цIыф(ы)* «человек» и т. д. Однако в этом вопросе еще нет ясности. В словарях рассматриваемый вопрос решается непоследовательно. Не является исключением и рецензируемый словарь. В отличие от кабардинского языка в адыгейском языке конечный гласный в словах указанного типа является чисто позиционным. Эти слова (а их очень много) не во всех позициях сохраняют конечный гласный и не во всех позициях его утрачивают. Отсюда, естественно, возникает вопрос: какая позиция дает словарную форму? Точнее — какую позицию считать словарной (начальной) формой?

Г. В. Рогава в специальной статье рассматривал вопрос о словарной форме слов с конечным *э*[2]. Мы разделяем его мнение, что слова типа *уан(э)*, *джан(э)*, *мацI(э)* в словаре следует давать в позиции подлежащего, т. е. с конечным гласным *э*. Предикативная форма (*уан*, *джан*, *мацI*) лингвистически не может быть принята в качестве словарной формы. В разбираемом словаре слова указанного типа даются в предикативной форме, хотя нередко встречаются и формы непредикативные. Несколько иначе обстоит дело со словами с конечным гласным *ы*. В словарях (в том числе и рецензируемом) эти слова даются с конечным гласным *ы* (*цIыфы*, *мылы*, *дыды* и т. д.). Между тем элемент *ы* в этих словах является в синхронном плане не фонетическим явлением, а фономорфологическим, т. е. показателем предиката. Элемент *ы* в одних позициях служит показателем предиката, а в других — показателем эргативного падежа, ср. грамматические оппозиции *цIыфы — цIыф*, *Мураты — Мурат*. Иными словами, относя формы типа *цIыфы*, *мылы*, *дыды* к словарным единицам, мы тем самым отождествляем словарную форму с грамматической формой предиката. Кроме того, очень многие слова, выступающие в позиции преди-

[2] Г. В. Рогава, К словарной форме имен в адыгейском языке, «Уч. зап. Адыгейск. НИИ», II, Майкоп, 1963.

ката с морфологическим элементом ы, в данном словаре (как и в других) даются в нулевой форме, т. е. без элемента ы, что нарушает принятое авторским коллективом положение, согласно которому предикативная форма считается словарной. Не подлежит сомнению тот факт, что рано или поздно придется признать необходимость в устранении указанных противоречий и непоследовательностей при подаче материала в словарях. Ведь формы типа *цIыфы*, как и формы типа *уан*, являются не формами подлежащего, а формами предиката. В обоих случаях наличие или отсутствие конечного вокалического элемента приобретает грамматическое значение, т. е. чередование гласных с нулем (*цIыф — цIыфы*, *уан — уанэ*) имеют качественный (морфологический) характер. Зачем же давать в словаре имена в форме сказуемого (предиката), когда они имеют форму подлежащего? Лингвистически невозможно обосновать подачу в словаре имени в форме предиката. Между адыгейским и кабардинским языками в этом отношении нет различий: в обоих языках форма отдельного слова (а не словосочетания) в позиции подлежащего, т. е. нулевой форме им. падежа является словарной формой. Если же в этой позиции имена удерживают гласные ы, э, то следует их сохранять (в этом случае они носят чисто фонетический характер), если же в этой позиции имя выступает без конечного вокалического элемента, то в словаре следует его давать в этой форме. Заметим, что в русском языке, как и в кабардинском и адыгейском языках, словарной формой имени является форма им. падежа. Выравнивание принципа подачи имени в словаре в соответствии с формой им. падежа связано с морфонологическими особенностями структуры слова, поскольку речь идет не только о чисто фонетических явлениях конца слова (наличие или отсутствие конечного вокалического элемента). Решение вопроса о принципе подачи материала устранило бы один из существенных недостатков лексикографических трудов по адыгейскому языку.

В разделе «О построении словаря» отмечается, что адыгейские переходные и непереходные глаголы даются в форме настоящего времени (стр. 14). В соответствии с этим положением в словарь включены формы *малъфэ* «рожает», *малъэ* «прыгает», *маплъэ* «смотрит», *мапцIэ* «скисает» и др. (всего 22 непереходные глагольные формы в 3-м лице настоящего времени на *ма-*). Непонятно, во-первых, почему даются только 22 глагольные формы этого типа, во-вторых, почему даются именно эти 22 формы, а не другие. Вошедшие в число этих 22 форм (такие как *мапцIэ* «скисает», *матхъо* «седеет», *мапкэ* «кашляет» и др.) не имеют каких-либо преимуществ перед такими формами, как *мабля* «горит», *машхэ* «есть», *мазы* «плачет» и другими употребительными формами, которые не включены в словарь.

Сказанное относится также к другим личным глагольным формам настоящего времени. Так, в словарь включены формы настоящего времени *тырегъэшыкъэ* «заставляет влюбиться (в кого-л.)», *тырегъэцуахъо* «надвигает», *тырегъэутысэ* «трусит (на что-л.)», *тырегъэтэкъу* «рушит» и многие подобные формы, но не включены формы *егъасэ* «воспитывает», *егъэпсы* «строит; создает», *егъажъо* «варит», *егъажъэ* «жарит», *егъэхъазыры* «готовит» и многие другие формы.

В одних случаях производные формы (с локальными и пространственными превербами, с каузативным и другими аффиксами) даются в большом количестве, а в других — за пределами словаря остаются весьма важные, продуктивные формы не только производных, но и непроизводных, простых. Между тем решение этого вопроса имеет первостепенное значение для составления словаря. К сожалению, отсутствие общего для всего авторского коллектива мнения по данному вопросу привело в ряде случаев к произвольному выбору глагольных форм для словаря.

Обращает на себя внимание неравномерность распределения иллюстративного материала. В отдельных случаях значение слова достаточно полно раскрывается в контексте. Однако в целом иллюстративный и фразеологический материал явно нуждается в пополнении. Так, значение слова *бзыгъ(э)* «лист» раскрывается в предложении *Ащ къэнджалэу зы бзыгъэ щыфыгъ* «Он купил один лист кровельного железа», а к слову *бзыгъ(э)* дан лишь русский эквивалент «ломоть». Языковой материал, иллюстрирующий значение слова, не всегда оказывается достаточным. Так, для раскрытия значения слова *тебзэ* «материал, нашитый наверх» приводятся следующие словосочетания: *чхыIэн тебзэ* «материал, нашитый поверх одеяла»; *джэдыгу тебзэ* «материал, нашитый поверх шубы»; *шъхьэнтэ тебзэ* «наволочка», *ошэкур тебзэ* «матрасный чехол». Ни в одном из этих словосочетаний слово *тебзэ* не выступает в своей основной, словарной форме. Следовало бы в контексте показать и форму *тебзэ* наряду с формой *тебз*. Подобное объяснение значения слова (когда ни один из примеров не иллюстрирует значения словарной формы слова) не может не вызвать возражений. Если в словарной статье приводится материал для раскрытия значения слова, то в этом материале должен быть хотя бы один пример, иллюстрирующий значение слова в его словарной форме.

Не всегда четко разграничиваются многозначные и омонимичные формы. Так, в одном словарном гнезде дается форма *мапкIэ* со значениями: 1) «по́лет»,

2) «прыгает». Между тем *мапкIэ* «по́лет» (от глагола *пкIэн* «полоть») и *мапкIэ* «прыгает» (от глагола *пкIэн* «прыгать») — типичные омонимичные формы, образованные от разных глаголов, о чем свидетельствуют их кабардинские эквиваленты: *пшIэн* «полоть», *пкIэн* «прыгать».

Словарь по своему объему является наиболее полным и в этом отношении он превосходит все другие лексикографические работы по адыгейскому языку (в том числе «Толковый словарь адыгейского языка»). Однако не все слова вошли в этот словарь. В каждом разделе можно найти упущения. Так, в разделе на букву *гу* отсутствуют такие слова, как *гугъу* «тоска; горе», *гуэ* «злой; злонравный», *гущ* межд. «о! ой!», *гущтэ* «испуг» и др., встречающиеся как в разговорной, так и в письменной речи.

Указанные недостатки не снижают того общего положительного значения, которое имеет рецензируемый словарь. Часть указанных выше недостатков связана с общим состоянием разработки теоретических вопросов адыгской (да и не только адыгской) лексикографии. Выход в свет «Адыгейско-русского словаря» является важным событием в культурной и научной жизни адыгов (адыгейцев, кабардинцев, черкесов) и будет встречен с большим интересом многочисленными специалистами по западнокавказским (абхазо-адыгским) языкам в нашей стране и за рубежом.

М. А. Кумахов

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1976

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

С 13 по 16 мая 1975 г. в МГПИИЯ им. М. Тореза проходила Всесоюзная научная конференция «Теория перевода и научные основы подготовки переводчиков», организованная Министерством высшего и среднего специального образования СССР. Помимо советских ученых, в работе конференции приняли активное участие языковеды ГДР (А. Нойберт, О. Каде, Г. Егер, Р. Ружичка, Г. Вотьяк, Р. Эккерт, Х. Шмидт, К. Картельери, Э. Флейшманн), Болгарии (С. Влахов, С. Флорин) и Венгрии (К. Клауди, Д. Ференци).

Открывая конференцию, проректор МГПИИЯ им. М. Тореза, Г. В. Колшанский отметил, что проблемы перевода непосредственно связаны с важнейшими аспектами языка как средства коммуникации. Внутренний механизм перевода определяется закономерностями, которые отражают универсальные свойства, лежащие в основе структуры и функционирования любого национального языка.

На конференции было прослушано 149 докладов и сообщений по различным аспектам научного анализа переводческой деятельности. Особое внимание уделялось методологическим основам переводоведения, что характерно для нынешнего этапа становления теории перевода с его стремлением объединить различные направления лингвопереводческих исследований в рамках широких общетеоретических концепций.

Л. С. Бархударов (Москва) в докладе «Теория перевода как сопоставительная лингвистика текста» высказал убеждение, что, поскольку в процессе перевода переводчик имеет дело не с единицами языка, а с конкретными текстами, теория перевода также должна строиться на основе учета всех компонентов речеобразовательного процесса и считать текст основной единицей перевода.

В. Г. Гак (Москва), выступивший с докладом «Межъязыковая асимметрия и прогнозирование переводческих трансформаций», предложил различать при описании процесса перевода межъязыковые системные эквиваленты (СЭ) и переводческие эквиваленты.

В докладе А. Д. Швейцера (Москва) «Перевод и социолингвистика» рассматривалась небходимость учитывать в переводе вариативность языковых знаков как стратификационную, так и обусловленную социальной ситуацией (социальным статусом коммуникантов, обстановкой, ролевыми отношениями) и культурно-этнографическими факторами. Социолингвистическим аспектам теории перевода был посвящен и доклад А. Нойберта (ГДР) «Переводоведение с точки зрения социологии», в котором анализировались социально обусловленные факторы, создающие вариабельность в системе языка перевода и определяющие правила выбора варианта перевода.

На конференции широко обсуждался вопрос о предмете теории перевода. В некоторых докладах (Р. К. Миньяр-Белоручева, Г. В. Шаткова, П. И. Копанева и др.) теория перевода рассматривалась как междисциплинарная наука. В других (О. Каде, Г. Егер, З. М. Шалыгина и др.) — как лингвистическая дисциплина, которую можно было бы именовать «трансляционной лингвистикой».

В докладе В. Н. Комиссарова (Москва) «О двояком подходе к изучению переводческой деятельности» указывалось, что проблематика переводческих исследований во многом зависит от того, рассматривается ли перевод как «деятельность переводчика» или как особый вид языкового общения, при котором коммуниканты (источник оригинала и рецептор перевода) пользуются неодинаковыми языковыми системами, но в котором можно обнаружить много общего с процессом «одноязычной» коммуникации: В. Т. Ковальчук (Алма-Ата) в сообщении «Перевод как особый вид коммуникативной деятельности» предложил различать понятия речевой деятельности (создающей текст) и коммуникативной деятельности (процесс обмена продуктами речевой деятельности), особым видом которой и является перевод.

Ю. В. Ванников (Москва) в докладе «К обоснованию общей модели перевода» говорил о том, что всякий перевод есть преобразование «текст — текст», в связи с чем теория перевода не может включать какие-либо «ситуативные» модели. Иная точка зрения была высказана в докладе М. П. Брандес (Москва) «Информативно-регулятивная модель перевода», где утверждалось, что нелингвистические факторы, влияющие на адекватность перевода, функционируют в определенной лингвистической оформленности и должны учитываться лингвистической теорией.

Вопросы использования переводов в качестве лингвистического источника нашли отражение в докладах Г. Я. Туровера (Москва) «Интерференция и перевод», Г. Н. Савельевой (Москва) «Перевод и некоторые синтаксические проблемы (на материале французских номинализаций)», Ю. С. Мартемьяновa (Москва) «Эквивалентность в порождающей грамматике», Р. Ружички (ГДР) «Грамматико-теоретические аспекты лингвистических сопоставлений» и др.

Проблемам усовершенствования существующих двуязычных словарей и составления словарей нового типа, соответствующих запросам переводчика, были посвящены доклады: А. В. Федорова, Г. В. Крыловой, Г. А. Лилич, О. И. Трофимкиной (Ленинград) «Переводной объяснительный словарь языка писателя (место в лексикографии и в методике преподавания перевода)»; Я. И. Рецкера (Москва) «Лексикографические помощники переводчика (о фразеологии в словарях)»; К. Клауди (ВНР) «Составление специального словаря для переводчиков»; И. Г. Ольшанского (Москва) «Перевод и проблемы двуязычной лексикографии». А. Амбрасас (Вильнюс) говорил о необходимости разработать научные основы библиографической классификации работ по теории перевода.

Сообщения на секциях общей и частной теории перевода охватывали большой круг грамматико-переводческих (доклады Г. Вотьяка, С. И. Канонич, Л. А. Черняховской, М. Б. Коробовой, К. М. Сухенко и др.) и лексико-переводческих проблем (доклады Т. Б. Алисовой, Е. Н. Ермаковой и И. М. Меркиной, Р. Эккерта, В. Г. Вариной и др.).

В ряде сообщений рассматривались фразеологические аспекты перевода (доклады М. И. Умарходжаева, А. Е. Мосьякова, Н. Л. Шадрина и др.).

Особое внимание исследователей привлекают жанрово-стилистические факторы, влияющие на выбор варианта перевода. Этим вопросам посвящены доклады Э. С. Азнауровой (Ташкент) «Функционально-стилистическая доминанта высказывания и перевод лексических единиц», Ю. А. Волкова (Москва) «К методологии исследования языка и стиля художественного произведения и его перевода», Т. Р. Левицкой и А. М. Фитерман (Москва) «Актуализация и перевод», С. А. Фридрих (Орехово-Зуево) «Стилистика, контекст, перевод». Ю. А. Денисенко (Москва) «О некоторых приемах „обусловленной" компрессии при переводе с русского языка на английский».

Проблемам верности перевода стилистическим особенностям оригинала и требованиям отдельных жанров были также посвящены сообщения И. Ф. Борисовой (Ташкент) «Передача функции „эффект очуждения"», А. Л. Пумпянского (Москва) «Данные билингвистического исследования функционального стиля научной и технической литературы о переводимости», Х. Шмидта (ГДР) «Проблемы сопоставительного описания ограничений при стилистическом выборе» и др.

В некоторых выступлениях проблемы перевода рассматривались с позиций психолингвистики (доклады И. А. Зимней, В. Л. Зильман, Г. Я. Узилевского).

Психолингвистический подход преобладал и в сообщениях, посвященных проблемам синхронного перевода (доклады Г. В. Чернова, К. Картельери, А. Ф. Ширяева, Е. Н. Сладковской и др.).

Оживленный обмен мнениями состоялся на секции художественного перевода. В. Н. Ярхо (Москва) в докладе «Адриан Пиотровский — переводчик Аристофана» охарактеризовал проблематику современного перевода античных авторов. Доклад М. Л. Гаспарова (Москва) «Подстрочник и меры точности» был посвящен возможности использования подстрочника для изучения процесса перевода путем анализа соответствий между подстрочником и окончательным текстом перевода. В сообщении М. Д. Литвиновой (Москва) «К проблеме языка художественной литературы» рассматривалась задача анализа лингвистических особенностей переводов, отличающих их от оригинальных произведений на том же языке, с учетом как позитивного, так и негативного влияния ИЯ на ПЯ. Обсуждались также проблемы поэтического перевода (доклады М. Г. Тарлинской, С. Ф. Гончаренко, С. Флорина и др.).

На секции «Методика подготовки переводчиков» рассматривались как проблемы преподавания перевода (доклады М. Я. Цвиллинга, Д. Ференци, Е. М. Сазоновой и др.), так и задачи других дисциплин в процессе обучения будущих переводчиков.

Подводя итоги работы конференции, Г. В. Колшанский указал, что они свидетельствуют о значительном качественном и количественном росте теоретических исследований переводческой деятельности в Советском Союзе и братских социалистических странах.

В. Н. Комиссаров (Москва)

С 25 по 29 августа 1975 г. в Берне (Швейцария) проходил XII Международный ономастический конгресс. В нем приняло участие 283 человека из 33 стран, и в том числе восемь человек из Советского Союза. Основная тема конгресса «Собственные имена в контактах» продиктована спецификой Швейцарии как принимающей страны, на территории которой функционируют четыре живых языка и в складывании ономастических систем которой прослеживаются элементы ряда других, живых и мертвых языков. Рабочими языками конгресса были немецкий, французский, итальянский, английский, испанский, русский. Было прочитано 157 секционных докладов, из них 62% топонимических. Остальные доклады посвящались антропонимии, зоонимии, теонимии, товарным знакам и общим вопросам ономастики. Кроме того, было четыре пленарных доклада: П. Цинсли (Берн) «Следы контактов различных языков в топонимах немецко-швейцарских альпийских долин», А. Гитер (Франция, Перпиньян) «Ономастика и языковые контакты: пример пиренейско-средиземноморских границ». Э. Эйхлер (Лейпциг) «Языковые контакты в свете ономастики (славяно-германские контакты)», У.-Ф.-Х. Николайсен (Нью-Йорк) «Слова в роли имен».

Основная работа конгресса проходила по следующим секциям: 1) языковые границы и многоименность; 2) имя и человек; номинация с социологической, психологической и философской точек зрения; 3) ономастика и лингвистика; имя собственное в системе языка; синхронические взаимоотношения в системе имен; взаимосвязи отдельных типов имен; 4) контакты имен в связи с историей заселения территории, правовыми и социально-историческими связями и проявлениями; 5) картография и ономастика; 6) имена собственные в литературных произведениях.

Наиболее многочисленными были доклады, прочитанные на 1, 3 и 4-й секциях, несколько меньше — на 2-й, мало на 5 и 6-й. На 1 и 4-й секциях были представлены наиболее конкретные доклады, анализирующие имена отдельных двуязычных и многоязычных территорий с различными условиями языковых контактов (субстрат, адстрат, бытовое повседневное двуязычие, «вкрапления» одних этнических групп на территориях, заселенных другими и т. д.), причем и сам факт контактирования, и его результаты рассматривались как в синхронном, так и в историческом плане. Особенно многочисленными по этой тематике были доклады австрийской, венгерской, швейцарской, обеих германских и скандинавских делегаций, посвященные славяно-германским, славяно-романским, германо-романским, германско-финноугорским контактам. Отдельные докладчики обращались к славяно-греческим, албано-греческим, фракийско-дакийским и даже романо-арабским контактам, т. е. к материалу территорий, составляющих периферию центрально-европейского региона, привлекшего максимальное количество исследователей. Особое внимание уделялось образованию топонимических калек и гибридных топонимов, переводу имен и многоименности объектов как следствию многоязычия населения изучаемых регионов. Лишь отдельные доклады строились на материале языков Африки, Восточной Азии, иранских и тюркских языков, а также на материале английского языка.

Критическому анализу исторических источников ономастических исследований (средневековые книги с различного рода записями, списки) посвятили свои доклады несколько ученых из ФРГ. В докладах ряда ученых из ФРГ, Финляндии и Лихтенштейна рассматривались товарные знаки. В частности, отмечалось, что в качестве товарных знаков нередко используются хорошо известные собственные имена (личные, географические и др.), при этом подразумевается, что должна быть некоторая (возможно весьма косвенная) связь у известной группы носителей языка между образом, вызываемым этим именем, и представлением об именуемом товаре. Например, отдельные модели теннисных туфель обозначаются именами знаменитых теннисистов, различного рода косметические товары — модными мужскими именами, модели дамских босоножек — модными женскими именами, изделия из фарфора и стекла — именами городов и т. д., при этом нельзя назвать товар именем, вышедшим из моды, иначе модель может быть принята за устаревшую.

Месту зоонимов в ономастике посвятил свой доклад П. Зволиньский (Варшава). В. Георгиев (София) рассмотрел 160 имен фракийских божеств, показав различного рода преобразования, которым они подвергаются в греческих источниках. От Советского Союза в работе 1-й секции приняла участие В. Д. Беленькая (Москва), выступившая с докладом «Сопоставительное изучение топонимов англоязычных стран», а в работе 4-й секции — Т. Н. Пахалина (Москва) с докладом «К реконструкции древних макротопонимов Памира».

Как уже отмечалось, большинство докладов 1 и 4-й секций представляло результаты конкретных исследований, что определялось основной темой конгресса. По этой же причине теоретических докладов, поднимающих общие вопросы ономастики, было немного. Они ставились главным образом на 3-й секции и посвящались таким проблемам, как разграничение собственных и нарицательных имен, функциональному месту собственных имен в системе языка, межъязыковым омонимам на двуязычных территориях, специфике

функционирования ономастических систем в условиях двуязычия и т. п. П. Глаттхард (Берн) на материале ономастического ландшафта Западной Швейцарии ставит вопрос о том, всегда ли заимствованное имя воспринимается как имя новым населением от предшествовавшего ему на данной территории населения (и в связи с этим может служить территориальным и временным показателем при изучении заселения края) или оно может быть образовано в языке данном от имеющегося в нем заимствованного апеллятива (и, следовательно, не отражает истории проникновения какого-либо народа на территорию с населением, говорящим на другом языке). В этой связи автор призывает изучать собственные имена, омонимичные заимствованным словам.

От Советского Союза в работе 3-й секции приняли участие Н. А. Баскаков (Москва) с докладом «Структурные и смысловые модели тюркских этнонимов и их типологическая классификация», Л. Г. Гулиева (Баку) «Функционирование топонимов в иноязычной среде», Р. Ш. Джарылгасинова (Москва) «Эволюция антропонимической модели древнекорейских правителей».

На 2-й секции преобладала антропонимическая тематика, ставились вопросы о номинации и имядателе, об имени и самосознании, о различных аспектах моды на имена и об изменении оценок определенных имен у членов известных социумов. В топонимических докладах этой секции ставились вопросы об именах присвоенных и отмененных, о мотивах, положенных в основу имен, и причинах, вызвавших к жизни определенные типы имен, а также об отношении детей к ономастическим системам и отдельным именам. В связи с этим указывалось на необходимость при полевом сборе материала чаще обращаться к детям и прислушиваться к их оценкам существующих вокруг них имен. От Советского Союза в работе секции приняла участие А. В. Суперанская (Москва) с докладом «Новые русские имена».

На 5-й секции, как и на предыдущем, XI Конгрессе (София, 1972) ставился вопрос о стандартизации географических названий, при этом одни исследователи исходили из необходимости стандартизировать системы их транслитерации, а другие — из необходимости установить единое и незыблемое написание для названий каждого объекта (поскольку топонимы — это знаки индивидуальных объектов), независимо от того, вполне ли согласуются эти написания с принятыми стандартами орфографии и транслитерации. Особую проблему составляют экзонимы — топонимы других стран, употребляющиеся в языке данной страны в традиционных формах (*Рим*, *Париж* для русского языка), эндонимы — топонимы, созданные на территории с преобладанием одного языка носителями другого языка, где они образуют замкнутые ареалы, а также имена с двойной языковой принадлежностью и имена на исторических картах. Каждый докладчик понимал, что ряд местных национальных особенностей препятствует полной стандартизации, однако изыскивал возможности для максимального сокращения списка названий, не поддающихся стандартизации.

В связи с проблемой стандартизации с новой остротой был поднят вопрос о латинской транслитерации текстов, написанных на языках с нелатинскими системами письма (русской, индийской, арабской, китайской и др.). В связи с этим о положении дел с транслитерацией русских текстов следует сказать особо.

Поскольку общепризнанной в Советском Союзе системы транслитерации нет, не имеют ее и зарубежные фирмы, печатающие различные пособия, содержащие русские собственные имена (справочники, географические карты, прейскуранты). Принятая в настоящее время в качестве государственного стандарта система ВНИИКИ, ориентированная на англо-американские системы транслитерации, хороша для машинной передачи текстов определенного характера на расстояние, для некоторых машинных перекодирований, но не годится для филологических работ, поскольку допускает значительную утечку специальной, языковой информации. Добавим, что на международном телеграфе пользуются не ею, а иной системой, во многом определяющейся конструкцией телеграфного аппарата. Принятая Академией наук СССР в 1956 г. система, удовлетворяющая филологов, ориентирована на славянскую (чешскую, словацкую, хорватскую) латиницу. В соответствии с этой системой осуществлено второе издание Советского атласа мира для зарубежных стран (М., 1967).

По единодушному признанию австрийских и американских коллег, система транслитерации АН СССР (1956) воспринимается ими как вторая, латинская, орфография для русских текстов, при этом — орфография более удачная, чем общепринятая русская. Однако эта вторая орфография в ряде случаев (передача *ё*) не согласуется с русской, что смущает лиц, ею пользующихся. Ряд европейских стран (Румыния, ГДР, ФРГ) пользуются системой транслитерации ИСО (ISO — Международной организации стандартов), которая, подобно системе АН СССР (1956), ориентирована на славянскую латиницу, однако, подобно системе ВНИИКИ, допускает в ряде случаев утечку необходимой для филологов информации, в частности игнорирует фонему *j*, наличие или отсутствие которой в слове меняет его структуру, парадигму, тип склонения и т. д. От Советского Союза в работе 5-й секции приняла участие Г. П. Бондарук (Москва) с докладом «Прикладная

ономастика (на материале русской топонимии)».

На 6-й секции было только четыре доклада, посвященных роли имен в литературных произведениях, в частности, роли имен собственных для взаимопонимания писателя и читателя, различию между фондами имен, существующих в устном употреблении у определенного языкового коллектива и усваивающихся в школе или в процессе профессиональной деятельности.

На заседании Международного ономастического комитета, состоявшемся во время работы Конгресса, было принято решение о том, что следующий, XIII Международный ономастический конгресс состоится в Кракове (Польша) в августе 1978 г. Его генеральным секретарем назначен М. Карась, председатель Ономастической комиссии Международного комитета славистов. Основная тема следующего конгресса «Имена собственные — имена нарицательные (Nomina propria — nomina appellativa)».

На заключительном заседании Конгресса были подведены итоги и приняты три резолюции: 1) обращение ко всем университетам и академиям с призывом создать исследовательские центры по ономастике там, где они еще не созданы; 2) обращение к греческому правительству с просьбой опубликовать серию карт или атлас по территории Греции, пригодные для использования в топонимических исследованиях (пока что удовлетворительных карт современной Греции не имеется); 3) обращение к правительствам всех стран с просьбой, чтобы при издании материалов, предназначенных для зарубежного читателя, использовалась общепринятая и общепризнанная система транслитерации для языков с графикой не на латинской основе. Там, где общепризнанная система отсутствует, приложить максимум усилий для ее наиболее скорого создания и утверждения.

А. В. Суперанская (*Москва*)

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1976

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ «ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ» В 1976 г. (№№ 1—6)

ПЕРЕДОВАЯ

Некоторые задачи советского языкознания 2

СТАТЬИ

Климов Г. А.— О некоторых задачах историко-типологических исследований 5
Кононов А. Н.— О природе тюркской агглютинации 4
Копечный Фр.— О новых этимологических словарях славянских языков 1
Панфилов В. З.— Типология грамматической категории числа и некоторые вопросы ее исторического развития 4
Панфилов В. З.— Категории мышления и языка. Становление и развитие категории качества 6
Филин Ф. П., Сороколетов Ф. П., Горбачевич К. С.— О новом издании «Словаря современного русского литературного языка» (в семнадцати томах) 3
Ярцева В. Н.— Типология языков и проблема универсалий 2

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Абаев В. И.— О термине «естественный язык» 4
Акуленко В. В.— Лексические интернационализмы и методы их изучения 6
Андреев Н. Д.— Квазилингвистика Хомского 5
Арутюнова Н. Д.— Референция имени и структура предложения 2
Бархударов Л. С.— Проблема предложения в трактовке различных грамматических направлений 3
Брагина А. А.— Синонимы или quasi-синонимы? 1
Варбот Ж. Ж.— Вариантность суффиксальной структуры в однокоренных славянских именах и реконструкция праславянского лексического фонда . . . 6
Вашек А.— Лингвистическая карпатология 2
Гигинейшвили Б. К.— Падежная система общедагестанского языка в свете общей теории эргативности 1
Головин Б. Н.— Лингвистические термины и лингвистические идеи . . . 3
Даниленко В. П.— О месте научной терминологии в лексической системе языка 4
Десницкая А. В.— О некоторых вопросах балканистики в связи с изучением карпатского лингвистического ареала 3
Дешериева Т. И.— К проблеме соотношения глагольных категорий вида и времени 4
Иванова И. П.— Структура слова и морфологические категории 1
Котов Р. Г.— Лингвистика и современное состояние машинного перевода в стране 5
Крылова О. А.— Детерминанты в аспекте коммуникативного синтаксиса . 2
Кумахов М. А.— Теория генеалогического древа и вопросы дифференциации западнокавказских языков 3
Львов А. С.— Праславянский слой старославянской лексики 2
Маковский М. М.— Соотношение индивидуальных и социальных факторов в языке 1
Матвеев А. К.— Этимологизация субстратных топонимов и моделирование компонентов топонимических систем 3
Мельничук А. С.— Философские корни глоссематики 6
Никитевич В. М.— О деривационной системности и предмете деривационной грамматики 2

Пазухин Р. В.—«Кибернетические» модели в лингвистике 5
Распопов И. П.— Что же такое структурная схема предложения? 2
Рословец Я. И. — О второстепенных членах предложения и их синтаксических функциях 3
Солнцев В. М.— Относительно концепции «глубинной структуры» 5
Суник О. П.— К актуальным проблемам алтаистики 1
Торсуева И. Г.— Теория высказывания и интонация 2
Трубачев О. Н.— О синдах и их языке 4
Чхаидзе М. П.— Еще раз о мифах и правде машинного перевода 5

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Абдуллаев З. Г.— Соотношение категориальных свойств даргинского глагола 6
Алпатов В. М.— О соотношениях исконных и заимствованных элементов в системе японского языка 6
Боголюбов М. Н.— Арамейская надпись из Таксилы 6
Вейлерт А. А.— О зависимости количественных показателей единиц языка от пола говорящего лица 5
Дешериева Т. И.— К проблеме определения категории глагольного вида 1
Джамантаева С. Ш.— Морфологическая характеристика глагольной словоформы в казахском языке 2
Димри Дж. П.— Принципы морфологического анализа в «Восьмикнижии» Панини 5
Журавский А. И.— Из истории активных причастий настоящего времени в белорусском языке 5
Златкин В. З.— Взаимодействие лексических значений в сочетании «глагол—предлог — имя» 4
Иванов В. И.— Соотношение размеров предложения и абзаца 1
Корлэтяну Н. Г.— Молдавская научно-техническая терминология на современном этапе 5
Логачев К. И.— О языке и тексте оригиналов древнейших славянских переводов 2
Мазаньке И. Ф.— Заметки об образовании наречий в древнерусском языке 5
Мешков О. Д.— Заметки о композитной омонимии 3
Михайловская Н. Г.— Лексическая норма в ее отношении к древнерусскому литературному языку 5
Мурясов Р. З.— О словообразовательном значении и семантическом моделировании частей речи 5
Мыркин В. Я.— Текст, подтекст и контекст 2
Отаина Г. А.— Слова со значением качества в нивхском языке 3
Пейсахович М. А.— Астрофический стих и его формы 1
Попова З. Д.— К вопросу о греческом влиянии на падежную и предложно-падежную систему старославянского и древнерусского языков 2
Симулик М. В.— Семантико-синтаксические признаки предикативных единиц и структура сложного полипредикативного предложения в славянских языках 4
Талибов Б. Б.— Редукция согласных в лезгинских языках 6
Тенишев Э. Р.— О языке калмыков Иссык-Куля 1
Тот И. Х.— О сочетаниях редуцированных перед плавными между согласными в древнерусских рукописях XI в. 4
Царенко Е. И.— Некоторые фонетические особенности языка кечуа 4
Чайкина Ю. И.— Из истории диалектных границ в связи с заселением Северной Руси 2
Шустер-Шевц Х.— Язык лужицких сербов и его место в семье славянских языков 6
Юлдашев А. А.— Об одном специфическом типе лексического значения . . 4

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Гельгардт Р. Р.— Некоторые общелингвистические идеи и фольклористические интересы акад. Н. Я. Марра в освещении научной критики 3

ИЗ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ

Карцевский С. О.— Сравнение 1

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Граудина Л. К., Сталтмане В. Э.— Русско-латышские языковые связи . . . 1
Миронов С. А.— Немецкая диалектография за сто лет . . . 4
Эрвин-Трипп С.— Социолингвистика в США . . . 1

Рецензии

Ахманова О. С., Шишкина Т. Н.— *Э. Бенвенист.* Общая лингвистика 1
Ахманова О. С.— *Н. Parret.* Discussing language . . . 3
Ахманова О. С.— *Ф. М. Березин.* История лингвистических учений . . . 4
Ахриева Р. И., Хасанов Б.—«Социализм и нации» . . . 4
Березин Ф. М.— По страницам новых журналов . . . 2
Бородина М. А.—«Атласул лингвистик молдовенеск» . . . 1
Воронцова В. Л.—«Суффиксальное словообразование существительных в восточнославянских языках XV—XVII вв.» . . . 2
Гак В. Г.— *О. И. Москальская.* Проблема системного описания синтаксиса . . 1
Дондуков У.-Ж. Ш., Шагдаров Л. Д.— *Т. А. Бертагаев.* Лексика современных монгольских литературных языков . . . 2
Дондуков У.-Ж. Ш., Дугаров Н. Б.— *Л. Д. Шагдаров.* Функционально-стилистическая дифференциация бурятского литературного языка 4
Журавский А. И.— *А. Ф. Манаенкова.* Лексика русских говоров в Белоруссии . . . 1
Князькова Г. П., Кузнецова О. Д.— *А. Граннес.* Просторечные и и диалектные элементы в языке русской комедии XVIII в. . . . 2
Костомаров В. Г.— *И. Ф. Протченко.* Лексика и словообразование русского языка советской эпохи (социолингвистический аспект) . . . 1
Кумахов М. А.—«Адыгейско-русский словарь» . . . 6
Курышжанов А. К.—«Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі» . . . 2
Маковский М. М.— *Г. С. Шур.* Теории поля в лингвистике . . . 2
Маковский М. М.— *Th. Lewandowski.* Linguistisches Wörterbuch . . . 5
Маслов Ю. С.—S.-G. Andersson. Aktionalität im Deutschen . . . 2
Меновщиков Г. А.— J. Rischel. Topics in west Greenlandic Phonology . . 6
Насилов Д. М.—«Орфография тюркских литературных языков СССР» . . . 3
Откупщиков Ю. В.— А. Н. *Савченко.* Сравнительная грамматика индоевропейских языков . . . 5
Панфилов Е. Д., Федоров А. В. «Вопросы испанской филологии» . 5
Протченко И. Ф.—«Сопоставительное исследование русского и украинского языков» . . . 5
Сабанеева М. К., Щерба Т. М.— *Н. А. Шигаревская.* История французского языка . . . 2
Скворцов Л. И.— *В. Д. Бондалетов.* Условные языки русских ремесленников и торговцев . . . 1
Скребнев Ю. М.—«Русская разговорная речь» . . . 3
Сороколетов Ф. П.— *В. И. Максимов.* Суффиксальное словообразование имен существительных в русском языке . . . 5
Сулейманов Я. Г.— *В. З. Чокаев.* Морфология чеченского языка . . . 6
Удлер Р. Я.— *Г. П. Кленикова.* Славянская пастушеская терминология . . . 5
Цейтлин Р. М.— *Г. П. Князькова.* Русское просторечие второй половины XVIII в. . . . 1
Шамелашвили Р. М.— *К. Д. Дондуа.* Статьи по общему и кавказскому языкознанию . . . 4
Швейцер А. Д.—«Новое в лингвистике» . . . 4
Эдельман Д. И.— *Н. Berger.* Das Yasin-Burushaski (Werchikwar) . . . 6

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Швейцер А. Д.— По поводу одной рецензии . . . 3
Хроникальные заметки . . . 1—6

CONTENTS

Articles: V. Z. P a n f i l o v (Moscow). Categories of thought and language. Formation and development of the category of quality; **Discussions**: A. S. M e l n i č u k (Kiev). Philosophic origins of the glossematic theory; J. J. V a r b o t (Moscow). Variability of suffixal structure of common-root Slavonic nouns and reconstruction of the Proto-Slavonic word-stock; V. V. A k u l e n k o (Kharkov). Lexical internationalisms and methods of their study; **Materials and notes**: M. N. B o g o l i u b o v (Leningrad). An Aramaic inscription from Taxila; H. S c h u s t e r - Š e w c (Leipzig). The Sorb language and its place in the Slavonic family of languages; V. M. A l p a t o v (Moscow). Interrelation of autochtonous and loan elements in the system of the Japanese language; Z. G. A b d u l l a e v (Makhačkala). Correlation of categorial properties of the Dharghinian verb; B. B. T a l i b o v (Makhačkala). Reduction of consonants in the Lezghinian languages; **Reviews**; **Scientific life.**

SOMMAIRE

Articles: V. Z. P a n f i l o v (Moscou). Les catégories de la pensée et de la langue. Formation et développement de la catégorie de la qualité; **Discussions**: A. S. M e l n i č u k (Kiev). Origines philosophiques de la théorie glossématique; J. J. V a r b o t (Moscou). La variation de la structure suffixale dans les noms slaves aux racines communes et la reconstruction du vocabulaire protoslave; V. V. A k u l e n k o (Khakrov). Internationalismes lexicaux et méthodes de leur étude; **Matériaux et notices**: M. N. B o g o l u b o v (Léningrad). Une inscription araméenne de Taxila; H. S c h u s t e r - S e w c (Leipzig). La langue sorbe et sa place dans la famille des langues slaves; V. M. A l p a t o v (Moscou). Rapports des éléments autochtones et empruntés dans le système de la langue japonaise; Z. G. A b d u l l a e v (Makhatchkala). Corrélations des propriétés catégorielles du verbe dharghinien; B. B. T a l i b o v (Makhatchkala). Réduction des consonnes dans les langues lezguiniennes; **Comptes-rendus; Vie scientifique.**

Исправление: В № 4 на стр. 12 в сноске 73 следует читать З. Б. Чадамба.

The Editorial Board of the journal «Voprosy Jazykoznanija» expresses its appreciation to the Publishers who send us their books for review. The Editorial Board regrets that it cannot guarantee the reviewing of all the books received due to space limitations. Two offprints of each review will be sent to the Publishers. Books received are not returned.

*

Le Comité de rédaction de «Voprosy Jazykoznanija» tient à exprimer sa profonde reconnaissance à toutes les Maisons d'édition qui lui font parvenir leurs nouvelles parutions pour critique. Le Comité de rédaction ne peut pas garantir la publication d'un compte-rendu pour chaque livre reçu à la rédaction. Les comptes-rendus seront publiés selon les possibilités de la rédaction. Deux tirages-à-part seront envoyés en ce cas aux Maisons d'édition respectives. Les livres reçus à la rédaction ne sont pas rendus aux éditeurs.

*

Die Redaktion der Zeitschrift «Voprosy Jazykoznanija» spricht allen Verlagen, die uns Rezensionsexemplare zukommen lassen, ihren aufrichtigen Dank aus. Die Redaktion gibt bekannt, daß leider nicht alle bei uns einlaufenden Bücher besprochen werden können. Die Rezensionen werden den Möglichkeiten unserer Zeitschrift entsprechend veröffentlicht. Der Verlag erhält zwei Sonderabdrucke. Die von der Redaktion erhaltenen Bücher werden nicht an den Herausgeber zurückgesandt.

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Ахманова, Р. А. Будагов, А. В. Десницкая, Ю. Д. Дешериев, Г. А. Климов (отв. секретарь редакции), *В. З. Панфилов* (зам. главного редактора), *Б. А. Серебренников, В. М. Солнцев* (зам. главного редактора), *О. Н. Трубачев, Ф. П. Филин* (главный редактор), *В. Н. Ярцева*

Адрес редакции: 103031 Москва, К-31, Кузнецкий мост, д. 9/10. Тел. 228-75-55

Зав. редакцией *И. В. Соболева*

Технический редактор *Т. Н. Сепченко*

Сдано в набор 30/VIII-1976 г. Т-16579 Подписано к печати 16/XI-1976 г. Тираж 7040 экз.
Зак. 1099 Формат бумаги 70×108¹/₁₆. Усл. печ. л. 12,6 Бум. л. 4¹/₂ Уч.-изд. л. 14,2

2-я типография издательства «Наука». Москва, Шубинский пер., 10